

Ю. ВЛАСОВ

Юрий ВЛАСОВ

СОЛЕННЫЕ РАДОСТИ

СОЛЕННЫЕ
РАДОСТИ



Юрий ВЛАСОВ

СОЛЕННЫЕ
РАДОСТИ

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1976

Власов Ю. П.

B58 Соленые радости. М., «Сов. Россия», 1976.
352 с.

Книга «Соленые радости» написана известным советским спортсменом, неоднократным чемпионом мира Юрием Петровичем Власовым.

Герой произведения — тоже атлет — задался благородной целью изучить природные закономерности силы. В последнем, самом сложном эксперименте, поставленном на самом себе, герой допускает ряд просчетов, которые серьезно отражаются на его физическом состоянии.

Преодолению трудностей, возникших в результате экспериментальных просчетов, и победе, прежде всего над самим собой, посвящается это художественное произведение.

60902—061
В М—105(03)76 БЗ—41—1976—10

P2 + 7A3

ГЛАВА I

Первым подходом в толчковом упражнении я обеспечил себе победу на чемпионате Москвы. У меня в запасе оставались две зачетные и одна незачетная попытки.

Поречьев прибавил к штанге семь с половиной килограммов — это был новый всесоюзный рекорд. У меня никогда не было рекордов.

Флаги теребил сквозняк. Помост пугал одиночеством и белизной.

Я не чувствовал веса и от волнения перетащил штангу. Она ударила меня сверху, когда я уже был в «седе».

Я буквально вылетел с весом на прямые ноги. Я очень суетился. И лишь избыток силы спас меня от срыва. Я работал резко и неточно, но сила исправляла погрешности.

Не приняв устойчивого положения, я послал штангу наверх. Я работал неряшливо, но отчаянно. Штанга легла на прямые руки. Все произошло мгновенно. Рекорд был мой!

Не успел я шагнуть с помоста, как кто-то схватил меня за руку. Сначала я не понял, что нужно этому человеку. Но он дергал меня за руку и кричал: «Иди на мировой!»

Я почувствовал растерянность своей улыбки. Этот мировой рекорд был рекордом самого Торнтона! Он превышал мое лучшее достижение на двенадцать с половиной килограммов! В любом случае нужно несколько лет, чтобы пройти это расстояние. Этот рекорд был моей мечтой. Только мечтой.

Я не прикасался к грифу, а чувствовал тот вес. И как он прессует. И как я задыхаюсь в «седе». И как он может разбить суставы, если опоздать с подворотом локтей. Я уже повреждал запястья. Это движение следует выполнять мгновенно и без сомнений. Надо успеть с движением за ничтожное время. Надо успеть обойти гриф в подрыве и принять его на грудь. Если замешкаешь, штанга погонит локти вниз и они упрутся в бедра. И я сжался в предчувствии боли.

«Иди на мировой!» — твердили уже все.

Я оглянулся. Поречьев должен был выручить. Поречьев невозмутимо смотрел на меня.

Я выдавил: «Ставьте рекорд».

Публика отшатнулась. По залу зашелестели мои слова. Все торопливо кинулись на свои места.

Я не стал уходить за кулисы. Я стоял и смотрел, как собирают штангу. Я все время чувствовал огромность будущего «железа». Я улыбался, но улыбка была жалкой. Кто-то поправлял лямки моего трико. Кто-то насыпал канифоль и заставил меня растереть ее штангетками. Это было необходимо для «ножниц» в посыле. Ноги стспорятся липкостью канифоли. Кто-то заставлял меня вдыхать нашатырный спирт.

Поречьев выдрал из-под трико полурукавку и натирал растиркой спину. И уже совсем ни к чему кто-то заставил меня пожевать лимон.

И все твердили: «Давай мировой!»

Я смотрел на штангу и не смел думать о победе.

По стеклам сыпался снежок. Белой пылью срывался с оконных переплетов.

Я терял себя и не знал, что делать.

Судья назвал мое имя. Зал встрепенулся и замер. И я остался совсем один.

Штанга была чужой. И я не знал, как приладиться к ней. Я был обречен. Я чувствовал себя обреченным. Но я должен был пройти через обреченность. Теперь уже поздно — я должен был войти под «железо».

Это был просторный спортивный зал, в центре которого стоял помост. В крашеном коричневом полу отражалось ненастное небо. Места за судейскими пультами занимали новые судьи.

Пот пощипывал кожу. Я промокнул лицо полотенцем. Подошел к помосту. Высушил руки и грудь магниезией. Это был не порошок, а цельный кусок магниезии. Я натер им грудь. Потом стряхнул с груди крошку и втер в ладони.

Я не знал, как быть, и отодвигал время встречи с «железом».

Я очень медленно вышел на помост. Захрустела канифоль. Я раздавил ее и еще раз натер ботинки.

Я казался себе нелепым и ненужным.

Я опустил руки на гриф, не зная, как приладиться к этому «железу». Гриф был тяжел и глух надетыми дисками. Я наметил взглядом линию ступней, опробовал равновесие.

Не было привычных чувств. Я не знал, как вести себя.

Я принял старт. Когда боишься веса, всегда сгибаешь руки. Мои руки были согнуты.

Я присел, как для толчковой тяги. Я поймал себя на том, что готовлюсь к толчковой тяге, а не собираюсь брать вес. И я, как в предельной тяге, замедленно потянул вес ногами. Уже почти со старта руки подхватили вес на «крючки» — даже толчковую тягу я выполнял неверно. Страх навязывал ошибки.

Я ощутил согнутость рук — вес дернул их и распрямил, но я грубо нарушил очередность включения мышц и потерял в скорости. Тяжесть отозвалась в пояснице. Спина противоестественно и больно подалась вперед.

И я снова нарушил очередность усилий — опять согнул руки. Я попытался разогнать вес руками. Но это было невозможно. Сначала инерцию веса преодолевают самые мощные мышцы. Я опередил включение мышц спины, сократив время их приложения.

Вес завис у колен.

Я подхватил его спиной, потом снова руками и уже в самом последнем усилии ударил его мышцами голеностопов.

Вес натянул мышцы.

Я пошел в «сед». Я уже знал, что не возьму вес.

Штанга была впереди и не освобождала мышцы. Я не был готов для ухода. Вес давил меня, не отпускал. И, упираясь в него, я пошел вниз.

Руки провернули гриф. Я отметил, что вес впереди, но высоко. Невероятно замедленной тягой я все же сумел вытащить его достаточно высоко. И так достаточно, что, если бы я захотел, он стал бы моим. Однако я уже со старта исключал эту возможность.

Я сразу расправил мышцы и попытался вернуть штангу на свою траекторию.

Вес упал на грудь. Я даже вздрогнул от неожиданности! Я не мог допустить и мысли, что подниму его.

И я потащил вес наверх. Я чувствовал, что вынужден буду выпустить его и не мог расстаться с ним.

Зал застонал.

Но никто, кроме меня, не понимал, что вес впереди. Я уже почти встал. Рекордное «железо» уже почти было моим!

Я продирался наверх. Центр тяжести штанги отваливался от меня. На какое-то время я еще мог удержать штангу сопротивлением мышц спины. Но штанга отклонялась, и я уступал этому движению.

Я выронил штангу.

Вес мог быть моим — я задохнулся от этого чувства!

Жестом я показал судьбе-фиксатору, что использую третью попытку.

Опять я не пошел в раздевалку. Я расхаживал перед помостом, восстанавливая дыхание.

Я слышал чужие руки — сразу несколько человек встряхивали мои мышцы. Потом меня заставили сесть. Я обмяк на стуле и закрыл глаза.

Поречьев массировал мне бедра и перечислял мои ошибки. Я открыл глаза. Лицо его было злым и недовольным.

Я посмотрел на штангу.

Я слышал гул зала, но не видел людей. Снег выбелил стекла. Потом стал выбеливать свет в зале.

Меня убеждали не спешить. Еще не истекло время отдыха. Но я вырвался из рук. Этот белый воздух был очень горяч.

Я услышал все свои мышцы. Я нашел себя в этих мышцах. Я узнавал каждое движение. Я становился этим движением. Я выводил нужные мышцы, обозначал расслаблением нужные мышцы.

Я вымерил хват. Насечка вгрызлась в ладони.

Штанга была натуго затянута замками. Она оторвалась от по-моста, не звякнув. Прежние сомнения помимо воли вывели штангу вперед. И тяжесть сразу уперлась в спину. И я почувствовал, что вот-вот не выдержу напора и клюну корпусом.

Но я узнавал напряжения. Я опробовал их всего несколько минут назад. И я стал возвращать «железо» на выгодные рычаги. Мышцы захватывали тяжесть. И я привычно разворачивал усилия, чувствуя, как штанга уступает мне.

И когда я вышел на подрыв, я почти выправил ошибки. Я вынужден был лишь начать подрыв раньше. И когда я услышал штангу в высшей точке подрыва, она совсем мало весила! Я мог ею управлять!

Однако я пошел в «сед», не доверяя этому чувству. Я приготовился к удару, а гриф послушно лег за ключицы. От неожиданности я всхрапнул.

Я был полон движением работающих мышц. Я воспринял рев зала телом. Я ощутил его дрожанием воздуха, пола. И этот гул стал повелевать мной.

Я рванулся вверх из «седа» — и зал застонал. Я опять ощутил этот стон всем телом. Я подчинялся воле зала и взламывал сопротивление воздуха, взламывал...

В ногах таился запас силы — я это вдруг понял! И я начал выпрямляться увереннее, не опасаясь потерять вес.

Я выпрямился — и зал охнул. И сразу стало тихо. Так тихо, что я услышал, как сипит воздух в моих губах.

И окна надвинулись. Я видел, как расширяются эти окна. Сначала я различал переплеты, отблеск стекла, а потом все стало лишь белым свечением. Белый свет заливал зал, всю пустоту зала.

Я коротко присел и послал штангу вверх.

И уже в последний момент, когда было поздно изменить движение, я поймал себя на том, что опять не поверил себе и перестраховался. Я послал штангу вперед так, чтобы было удобнее бросить. Я исключил фиксацию веса из своего действия.

И я услышал штангу там, наверху. И понял: она подчинилась, я держу ее, но сейчас она завалится вперед.

Я подал плечи и рванулся за весом. Он мотал меня по помосту, а я подгонял себя под него. Штанга била меня, а я подставлял себя. Я боролся, испытывая возрастающую уверенность. Я ненавижу это «железо», клял его. В мозгу чеканились бранные слова. Я гасил болтанку и входил, входил под гриф.

И по тому, как ударил меня воздух, я понял: победа! Зал кричал иступленно, протяжно. И в моих мышцах уже не было ни болей, ни чрезмерного напряжения. Вес лежал точно и неподвижно...

1

В номере я включаю настольную лампу и начинаю распаковывать чемодан. Спать не хочу, а спешить мне некуда. Выкладываю на стол бинты, ампулы с глюкозой, растирки и обезболивающие таблетки.

На две чемодана экземпляры «Лайфа», «Пари-матча», «Штерна», афиши, французские и финские газеты с отчетами о моих выступлениях — целая груда бумаг с обещаниями накормить публику рекордами. Против подобной рекламы я беспомощен. Сам я никогда ничего не обещаю. Всегда лучше держать язык за зубами, если даже в хорошей форме.

Но это турне! Через день выступления на рекордных весах. Работаю один. Никто не прикрывает. Паузы между подходами ничтожны. Разве публика будет ждать? Разминка перед рывком полчаса, разминка перед толчком еще полчаса — меня освилят. Я вынужден работать без разминок. Получу травму — загублю тренировки или вовсе потеряю спорт. А на таких весах и в моем состоянии, да еще без разминок получить травму проще простого.

Расстилаю афиши по полу. Какой же я здесь откормленный, самодовольный, гладкий!..

2

За лето, осень, зиму и весну я вместил в себя бешеные килограммы. Что за тренировки!

Мои запястья окольцевали незаживающие ссадины. Лопнули сосуды на бицепсах, навечно исполосовав их синевато-розовыми шрамами. Кожу на ладонях съели мозоли. Именно поэтому в тягах я работаю в обрезанных перчатках. Пальцы голые, ладонь прикрываю. Я весь из

узлов воспаленных мышц — в этих метках усталости, надежд, терпения. Массажист выбивался из сил, обрабатывая мои забитые усталостью мышцы. Пять-шесть часов работы в зале и после два-три часа массажа — с кушетки я вставал пьяный. Я неловко и тяжело нес свое тело домой. Я не мог ни с кем ни о чем разговаривать. И не хотел...

Несколько лет я подбирался к этим нагрузкам. Следовало еще войти в такую форму, чтобы суметь вынести их. В нескончаемых повторениях упражнений я стремился нащупать природные закономерности, а после погнать организмы к силе математически кратчайшим путем.

Я уже опробовал ряд приемов. Они обеспечили мне преимущество на чемпионатах. Однако слишком много приблизительного и примитивного было в тренировках. Постепенно главным стал для меня эксперимент. Я открывал новые и новые закономерности поведения организма под нагрузками — самыми различными нагрузками. Я должен был четко представить себе этапы тренировок, задачи этапов, научиться переливать объемные тренировки в интенсивные и еще многому чему научиться...

В этих тренировках я познал физическое измождение. Но я не ведал, что грубая мускульная работа истощает нервную систему. Я смело вошел в мир усталостей и болей. Да и чем я рисковал? Всего лишь усталостью, не больше...

Я методично искал новые данные для тренировок. Пробовал нагрузки, пробовал... Я должен был испытать все на себе, а опыт подвел меня! Я оказался в мире совершенно новых измерений, продолжая все рассчитывать старыми мерками. В этом вся беда — я к новому прикладывал старые представления. Усталости взбесились во мне. Жесточайшее нервное истощение потрясло меня. Болезнь без температуры, без опухолей, ран, переломов — лишь нарастающая душевная боль!

Теперь одна мысль занимает. Самая важная мысль: «Излечимо ли все, что происходит со мной?»

3

Смотрю в окно. Вот эта булыжная улочка в холодной дымке и есть Хельсинки — конечный пункт моего турне. Завтра последнее выступление.

Мне действительно ничего не остается, как только

пробовать рекорд. Я включился в игру, где я лишь символ. Здесь действуют такие понятия, как честь, мужество, престиж, слава, долг... Остается только работать. Подавить все чувства и работать, работать...

Открываю шкаф. Развешиваю на плечиках рубашки, пиджак, плащ. В гостинице ночной покой...

У всех гостиниц одинаковый запах: будь она в Париже или за Полярным кругом, как в Оулу. Лишь однажды в Норвегии я заночевал в маленьком пансионате, пропитанном запахом рыбьего жира...

Турне — как я обрадовался этому предложению французской и финской федераций тяжелой атлетики! К тому времени болезнь, как парша, въелась в меня. Тренер уверял, будто я отдохну в турне. Выступить в Париже, Лионе, Тампере, Оулу, Хельсинки! Сколько впечатлений! А со штангой побалуемся — только и всего.

Эта «разрядка» обернулась мощными прикидками в каждом городе. Лишние сутки отдыха означали для организаторов расходы — никто на это не соглашался. Реклама и афиши поставили меня в безвыходное положение. Везде ждали только рекорд, требовали рекорд, платили за рекорд. Я все всем был должен: репортерам — ответы на любые вопросы, публике — рекорды, кинокамерам — улыбки, организаторам — сборы. Вообще с программой можно было справиться без приключений. Но если только ты совершенно здоров и с тобой выступают еще ребята — в этом вся загвоздка. А я обманул себя. И потом я до конца не понимал, что интересен людям не я, а мои рекорды. В большом спорте усталость не принимается в расчет. Ничего не принимается в расчет, кроме победы.

4

Не засну, бесполезно и пробовать. Я усаживаюсь удобнее. Стараюсь развлечь себя журналами.

В мышцах перенапряжения четырех соревнований. Еще восемь часов назад в Оулу я три раза пытался накрыть рекорд в толчке. Штанга растянула все связки, намозолила все мышцы...

В белой ночной мгле растворяются часы моего ожидания. Еще одна бессонная ночь. Теперь в Хельсинки. Белая бессонная ночь...

Старательно расслабляю мышцы. Пусть нет сна, но они хоть немного откиснут. Завтра из них выжму все! Завтра конец турне!

Неужели я сломлен? Навсегда сломлен?! Все попытки взять рекорд неудачны. Это ли не доказательства?..

Лежу в белых сумерках. Брошен в эти сумерки.

Зачем я стал атлетом? Что я искал? Где я?!.

Время равнодушно сматывает свои минуты.

Приступ отчаяния сдвигает стены — зрячие стены! Раскаленные живые узоры обоев. Ядовитые узоры...

Перед собой беззащитен: мысли и чувства стирают меня. Разве можно выстоять?

Ударяют в стекла капли, скатываются тусклым серебром. Подвывает ветер...

Мир, заставленный городами. Речь людей, толпы людей — тени! Лишенные смысла тени! Где та жизнь, которой я жил?! Где?!

Разве можно быть спокойным? Иметь память и оставаться спокойным? Как другие умеют так?! Почему все утратило свой привычный смысл? Где моя жизнь?..

Я лежу в постели, рядом на стуле сидит мой тренер.

— ...перед отъездом я консультировался с нашим терапевтом, — говорит тренер. — Ничего серьезного — он убежден. Месяц — другой шадящих нагрузок — и позабудешь о всех неприятностях с печенью, желудком, почками. Ему можно верить — знает тебя...

Все эти месяцы стараюсь ничем не выдать свое настроение. Видимо, не всегда удается. Особенно в последние недели. Не хочу, чтобы кто-то догадывался о моем состоянии, пусть даже Поречьев. С ним я выступал на десяти чемпионатах мира и не проиграл ни одного.

— Развеялись, конечно, мы славно, — говорю я, выщипывая пальцами мышцы на бедрах, — сказочное турне.

— Брось хандру! — Поречьев сжимает кулак. — Наш спорт для настоящих мужчин! Ну, перехватили с нагрузками... Отойдешь...

От недосыпаний и усталости меня поташнивает. Мышцы под пальцами жилистые, комковатые. Как я зацеплю рекорд, если мах — главное в толчковом движении? Раз-

дольный мах, за которым резкий уход в «сед». Я должен быть раскрепощен и чуток к усилию. Предельно чуток и собран.

— Завтра последнее выступление,— говорит Поречьев.— И отдыхай на здоровье.

«Он прав,— думаю я.— Через два дня буду дома. Там станет легче...»

— Узкоплечие ребята лучше работают в темповых упражнениях,— Поречьев листает журнал. Я вижу, он старается развлечь меня. Он и вернулся для этого.

— Если у них крепкие ноги.

— У тебя лапы будь здоров,— позевывая, говорит Поречьев.— Восемьдесят пять сантиметров в окружности бедро! Да с такими ногами плевал бы я на все рекорды!— Поречьев показывает на фотографию Ложье в журнале.— Смотри, какие плечи! Конечно, не пустят под гриф. Надо разрабатывать суставы.— Долго смотрит на меня.— Конечно, мы ошибались, но зато какую силу набрали! Все будут заканчивать выступление, а ты навешивать на штангу еще килограммов тридцать-сорок и выходить на первую попытку. Пойми, мы этого уже добились! Результаты в тебе! Все твое! Ты начинен новой силой. За год-полтора эти тренировки окупятся новыми мускулами, новым качеством мускулов. Никто не посмеет конкурировать с тобой. Ложье, Пирсон, Альварардо! Эти огузки станут посмешищем публики. Какие рекорды впереди! Теперь следует беречь себя. И выкинь мусор из головы! Отдыхай, ешь, веселись! У нас ключи к силе. Мы хозяева всех помостов! Уйдем из спорта, а они будут ломать и ломать зубы о наши результаты. От одной этой мысли я заправил бы завтра рекорд...

Жадно ловлю слова тренера. Конечно, все нужно позабыть, отбросить все тревоги! Суметь все позабыть! Дело сделано...

— Как позвоночник?— спрашивает Поречьев.

— В порядке.

— В последнем подходе выбил поясницу. Встал со штангой — не горячись, составь ступни и шуруй ее наверх. Сама выскочит...

— Руки закачены. Вот и посыл куцый.

— Спину следует беречь.— Поречьев поднимается, подходит к окну.— Дома пересмотрим тренировку. Будем работать на весах, которые не станут осаживать позвонок. Я прикинул упражнения...

- От больших весов не уйдешь.
- Как часто с ними работать.
- Мышцы забиты, — говорю я. — Могу повредить.
- Давай-ка спать: три часа ночи. И спи, пока не выспишься. Что за девица сидела впереди нас в самолете! Плечи узкие, а бедра...

7

За шторами майская белая ночь. Прозрачные спокойные сумерки. Мечтательные сумерки поэтов, любви, надежд...

Прикидываю свои шансы. Конечно, в толчковом упражнении этот шанс есть. Лишь в этом упражнении. Жим любит тренировку и не прощает частых прикидок. Мышца должна быть мягкой, без узлов. Уже две недели мне не до тренировок, я только выкладываюсь и выкладываюсь. Для рывка я чересчур заезжен. За одиннадцать дней семнадцать раз пробовал рекорды. И вообще рывок не ладился последние месяцы. Этому движению нужны свежесть, скорость и точность, а именно эти качества страдают при силовых нагрузках. Рывок капризен, его следует выхаживать, настраивать, холить...

У меня мощные ноги — значит, в толчковом упражнении сохраняется шанс на рекорд. Главное — не бояться загнать себя под вес. Технические погрешности покрою избытком силы. Ноги потянут.

Правда, я измучен. Почти две недели прикидок выбьют из формы кого угодно. Вчера в Оулу спина совсем не держала вес...

Беру с тумбочки лионскую газету. Вот, рекорд почти мой! Чуть-чуть не доработала рука...

А лица! Какие лица на фотографии! Публику заманили обещаниями рекордов. Билеты распродали, когда я еще был в Москве. На каждой афише саженные буквы: «Вечер рекордов!» И публика жаждет их, требует! Швыряю газету на пол.

Поречьев прав: я не болен. В Лионе почти взял рекорд — значит, не болен. Ведь рекорд почти состоялся! И здесь в Хельсинки я докажу — себе докажу: со мной ничего, я здоров! Я совершенно здоров! При поражении нервной системы организм не способен на тонкую координацию и длительный волевой контроль в соревнованиях. Я докажу это рекордом. Докажу! Нет доказательства убедительнее — и я докажу!

Прошлое моих тренировок...

В своих тренировках я неожиданно пришел к выводу, что нагрузки, близкие к пределу физических возможностей, так называемые экстремальные нагрузки, если в них не переступать порог допустимого, вызывают чрезвычайно активные приспособительные процессы. Происходит сдвиг обменных процессов. Организм осваивает новый энергетический уровень всех процессов, которым свойственна и совершенно новая скорость.

Новая скорость приспособительных процессов! Это же самое ценное, что может быть!

Сомнений быть не могло: умело обращаясь со сверхнагрузками, можно в непривычно быстром темпе наращивать силу. Следовательно, нужно отрабатывать принципиально новый метод тренировки. А это возможно только в эксперименте. И я начал искать новую силу в экстремальных тренировках, то есть в тренировках, основанных на использовании принципа комплекса экстремальных факторов.

Я не мог знать объем околопредельных нагрузок и все время переступал границу допустимого. А как уберечься, если этого никто не знает? Даже в научных журналах я нашел лишь самые общие рассуждения. Практическая ценность их была равна нулю, как и консультации у ведущих спортивных специалистов.

Спутник экстремальных нагрузок — физическое перенапряжение. К этому я был готов и на это шел сознательно. О том, что экстремальные нагрузки сверхактивно воздействуют и на нервную систему, я узнал потом.

Знакомство с научной литературой убедило, что ей недостает фактов. Возможно, не подоспело время. Возможно, опыт ставить не решились. Прежде всего это означало опыт на человеке. И опыт суровый, если не сказать больше. Впрочем, в риске ли дело? К тому же объем подобного эксперимента для одного подопытного чрезмерен — вскоре я тоже в этом убедился. Да и имел ли кто право на такой опыт?

Опыт на самом себе — других путей исследования положительного эффекта комплекса экстремальных факторов пока не существовало. И я погрузился в испытания экстремальных тренировок...

Просыпаюсь неожиданно. Лежу и разглядываю комнату. Еще одна гостиница. Что ждет здесь?..

Поречьев не звонил. Значит, спит. Намаялся за эти дни. Из Оулу прилетели двенадцать часов назад. Маленький двухмоторный «Метрополитен» протащил нас с севера на юг почти через всю Финляндию. В самолет попали прямо из спортивного зала, едва смыв в душевой пот.

Поворачиваюсь к окну. Опять грядет серый денек...

Раздумываю о Поречьеве. Меня задевает его непреклонность. Самые суровые решения принимает без тени сомнений. Впрочем, что ему до меня? Мы, атлеты, приходим и уходим. Каждый из нас — всего лишь ступень в освоении результатов, новая сумма килограммов в таблице рекордов.

Я вижу, как раскачиваются верхушки деревьев и ветер высеивает мелкие брызги на стекла. Тучи держат в осаде небо. Во Франции и здесь — дожди, дожди...

Вчера на взвешивании я потянул сто двадцать пять килограммов. В Москве даже в экстремальных тренировках мне удавалось держать вес под сто сорок килограммов — выручал режим. А сейчас? Вместо сна — приемы, интервью, переезды, новые гостиницы, толчея, случайное питание. Рекорд просто невозможен в таком состоянии. И все выступления это доказывают. Избился в попытках взять вес.

10

Я в сквере. Минут десять назад тренер уехал с организаторами турне в зал, где нам предстоит выступить, потом заедет в посольство. В общем, до ужина я один. У нашего переводчика Цорна выходной.

Влажно разноцветен гравий. Возле клумб кучи торфа. Жирно разливаются коричнево-черные лужи. В Финляндии мы догнали весну. Снова деревья в зеленых побегах. И земля в робости первых трав. И на липах напряженно туги почки.

В этом турне я выжал из себя все. После двух-трех попыток отходишь неделю, другую, а тут их семнадцать! И, конечно, не в одной публике дело. Азарт тоже лишает

трезвости расчета. Честолюбие всю жизнь мешает мне быть самим собой.

Разглядываю дома, прохожих. Песок под ногами крупчато желт и вязок. В лужах белизна неба. Автомобили закручивают за собой шлейфы водяной пыли.

И все же реклама и афиши здорово подгадили. Азарт уже приходил потом, а сначала была необходимость взять рекорд. Каждый раз все начиналось с насилия над собой. На последних выступлениях думал, развалюсь от усталости. Холостые попытки.

Я кручу головой. Смотрю на дома, людей, землю — и не узнаю. Мир замазывает смоль отчаяния. Где и в чем исцеление?! И сколько ждать? Полгода, год, годы?! И кто согласится ждать? Нужен ли я большому спорту без поединков? И вообще, что я значу без рекордного «железа»?..

Торопливо выхожу из сквера. Движение умиряет тревогу. Идти, надо идти... С неприязнью смотрю на светофор. Когда же остановит машины? Тоскливо сжимается сердце. Я совсем одинок среди людей. Потерял себя.

Я иду быстро. Очень быстро. Памятью шагов отзываются во мне свидания со всеми городами. Глупая боль отчаяния. Боль всегда мнится мне черным вороном.

11

Я не хочу поступиться своими целями. Все дело в этом: не всякое будущее устраивает меня. Я знаю, уверен: я давно чувствовал бы себя вполне здоровым, если бы отказался от своего направления в жизни. В любой момент я бы мог выйти из игры и заняться только собой. Но я не могу уступить свое будущее. Никогда не соглашусь. И потому болезнь тоже не отступает.

Я раздражаю Поречьева привычкой все подвергать анализу. Чувства большого спортсмена должны быть сплочены целью. «Чем меньше эмоций, тем длиннее список побед», — любит повторять мой тренер. И в определении свой резон: уметь разыгрывать в своем воображении варианты поединков, гореть в своих чувствах, изнашивать свои чувства в накале тренировок — это уже дополнительный расход нервной энергии, потеря в силе.

Но я верю в созидательность чувств! Жизнь уступает лишь страстным желаниям. Разум бесплоден без веры чувств.

Чужие лица. Непонятный говор. Все отгородились зонтами. Спрятались под зонтами. Вытолкнули меня зонтами из жизни. Чужой всем.

Твержу: «Это усталость! Причуды усталости!» С обреченностью вглядываюсь в свои мысли.

Я очень тороплюсь. Я должен обогнать свои чувства. Уйти от них. Жадно ищу в подробностях улиц смысл прежних дней, теплоту прежних ощущений — все, что я потерял.

Я обгоню свою беду. Иначе зачем мне мускулы? Зачем, если мне все время плохо? Я весь в этой силе превосходства. Сила ради доказательств и во имя доказательств. Превосходительная сила. Сколько же я доказывал! И куда теперь тащат эти доказательства?!

Я весь из обилия мускулов. Но они не защищают. Я исхожу чрезмерностью силы — и я беззащитен. Выхоженность услужливых мускулов. Назначение этих мускулов...

Напористый ветер замешан на запахах кофе, сигарет, сырости и моего отчаяния. Я останавливаюсь, незаметно поглаживаю холодноватый ствол тополя. Мокро сверкают его ветки: сорят капелью, пьют капель набухшими сосцами-почками, лащаются к небу...

Истово верую в целительность дней, недель, месяцев! Хочу верить! Должен верить! Буду верить! Время вернет уверенность. И я жду покорно, терпеливо, благодарно.

Туман в конце улочки смазывает силуэты деревьев, домов, людей. Темные пятна плывут навстречу, превращаясь в элегантные, сверкающие автомобили...

Но где мое небо?! Где?!

Оставить тренировки, забыть спорт? Многолетний эксперимент насмарку?.. Я сижу в кресле. Холл гостиницы наполнен голосами, ароматами табака, стуком моего сердца — интересно, сколько у него в запасе ударов?.. Наплывает сизоватый дым. Осторожно шелкают двери лифта...

Серьезные нагрузки теперь невозможны. Любое переутомление будет оживлять вот эти чувства. А может быть, привыкну?..

Но зачем привыкать? Зачем?! Найди другую жизнь. Найди себя. Слышишь, останови бег! Не пропусти жизнь!

Плеск врывается через двери. Искаженный мир белых струй и машинного чада. В холле сумрачно, но уютно. Я страшусь одиночества номера...

До исследования тренировки методом экстремальных факторов я работал в союзе со специалистами. Правда, этот союз носил временный характер и в зависимости от целей эксперимента моими товарищами каждый раз оказывались новые люди, но мы работали азартно.

Знания теоретиков физической культуры и спорта вывели меня на обобщения закономерностей тренировок и ее циклов. Однако в практике я оказался впереди обобщений и рекомендаций спортивной науки. О том, что я делаю, я не могу нигде прочесть или спросить. Каждый подход к штанге был опробыванием нового. Я ничего не знал определенно. Я искал подтверждений догадкам. Мои выводы складывала практика.

Нужны спортивные врачи качественно другой подготовленности. Я вынужден был полагаться на самочувствие и примитивные данные взвешивания, кровяного давления, пульса. Подобный контроль не способен уловить изменения задолго. Он лишь отмечает ошибки, отнюдь не предупреждая. Впрочем, и эти наблюдения носят эпизодический характер. Обычные тренировки они удовлетворяют, но не мои. Ждать других условий я не могу.

Я должен спешить. Мое время в спорте ограничено. Время любого ограничено, а я еще очень многое хочу успеть.

После чемпионатов в Москве и Софии я изменил свое отношение к экспериментам. Я повел настоящие исследования. И теперь я ищу не слабость соперников, а причины силы...

Прислушиваюсь к себе. В этом подлость болезни — все время слушаю себя, страшусь потерять волю. Мозг накручивает новые и новые доводы обреченности любого сопротивления, методично подводит меня к безволию, потере контроля над собой. Я не могу не думать об этом. Я не властен над своими чувствами. Каждая мысль вбивает в меня свои доказательства отчаяния.

Дыхание сушит губы. Я сплетаю руки. Ладони влажны.

Усталость засела в моем мозгу и лжет. Она присвои-

ла мое имя и травит меня. Это она подличает, только она! Обыкновенная большая усталость, выверты этой усталости. Эта странная болезнь опекает меня. Нет минуты, когда бы она оставила меня. Липкая смоль отчаяния...

Откидываюсь к спинке кресла и вытягиваю ноги. Мысленно проверяю, расслаблены ли мышцы. Если они не отойдут, завтра действительно нечего делать. Я должен рекордом рассчитаться с этой лихорадкой. Мне нужны свежие мышцы. Пусть кровь размочит усталость, восстанавливает силу. Уверенность должен обрести в победе — это единственное лекарство. Поречьев прав: рекорд способен установить лишь человек, у которого в порядке нервы. И я проведу это доказательство силой.

Стараюсь отвлечься, наблюдая за людьми. Старик в синем костюме. Аккуратно подбрита щеточка седых усов. На руке плащ. На ходу заглядывает в свою записную книжку. Портье несет чемодан за высокой худой женщиной. Она небрежно стряхивает капли с плаща. Постукивают каблуки, когда она сходит с ковра.

Усаживаюсь поглубже и подпираю рукой щеку. И вдруг дурею от сонливости.

Улица отбрасывает на окна вялые тени. В струйках воды на стеклах отсветы реклам. В баре позванивают рюмки. Я изнурен бессонницами, но если подняться в номер, не засну. Там караулят подлые мысли. Там горячка, там фокусы чрезмерной усталости.

И я засыпаю на несколько минут тут же в кресле. И черную пелену сна раздергивают вспышки рекламы. Длинной голубой рекламы над фронтоном гостиницы. Я даже слышу в дремоте, как трещит электричество в стеклянных трубках...

Сплю три-четыре минуты, не больше. Я слышу все и в то же время сплю...

14

Автобус взмывает фонтаны брызг... За стеклами бледные размазанные лица. Пахнет мокрым камнем, бензином и талой землей.

Я поднимаю воротник плаща, застегиваю верхнюю пуговицу. Озираюсь. Мне кажется, что в подъездах и нишах ворот притаились мои несчастья. Они ждут меня везде, где тихо и сумрачно.

Лион, Париж, Тампере, Оулу... А теперь и этот город будет опутан моими шагами. Разглядываю улицы.

В витринах мой двойник. Там, в отражениях, я благо-
чинно скучен. Изнурили эти приливы отчаяния. Опасливо
вглядываюсь в хлюпающую мглу, прохожих. Не верю
в жизнь! Ей нужны чугунные мускулы и нервы! Чугун-
ные души!..

И чувства, и слух, и зрение — все до чрезвычайности
обострила нервная лихорадка. Я поневоле вижу, слышу,
понимаю то, что прежде было скрыто от меня. Мир жгуч,
ярок и беспощаден. На каждой мысли отпечаток душев-
ной боли, каждая мысль ранит. Не могу уклониться ни
от одной мысли.

Понимание причин моего состояния не избавляет от
страданий. Это не прихоть воображения. Болезнь мате-
риальна. Ее нельзя заговорить. Нервная система истоще-
на экстремальными тренировками. Приступы отчаяния
не поддаются волевому контролю. Но это не та усталость,
которая стирается тремя-четырьмя неделями отдыха.
Я знаю, что должен выйти из игры не менее, чем на пол-
года. Но это исключено. У спортивной борьбы свои за-
коны, особенно в моем возрасте. Я не могу позволить се-
бе растренировываться на такой срок.

Турне — это ошибка! И какая! Непрерывные выступ-
ления и дорожный распорядок резко усугубили состоя-
ние. Я заставляю мозг выполнять непосильную работу,
и он отплачивает все более частыми и жесткими присту-
пами лихорадки. Это все равно что сутками колоть дро-
ва с глубоким воспалением легких. Жар новых и новых
приступов сжигает меня. Мозг истощен, перегружен. Он
не может верно отзываться на внешние раздражители.
Однако осознание этого состояния и самые веские дово-
ды не могут изменить его реакции. Боль так же реальна,
как боль от перелома или ранения. Нарушено равновесие
психических процессов.

У меня нет выхода: все смыслы и доказательства схо-
дятся сейчас на победу, требуют победу, исключают срыв.
Я гоню красного коня своей воли по всем испытаниям.
Рядом корчится моя боль. Я обгоняю эту боль. Я застав-
ляю своего красного коня быть выносливее болей, обго-
нять все боли. Я рассчитываю, что он вынесет меня. Я ве-
рю, вынесет. Я заставлю его вынести меня...

Поречьев без колебаний согласился на эксперимент. В конце концов я нащупал объем и интенсивность экстремальных тренировок, взаимосвязь между объемом и интенсивностью.

Затем я испытал себя на серии околоредельных нагрузок. Следовало установить количество нагрузок, которое способен переварить организм. Я должен был исследовать поведение организма в годовом цикле. Самым важным было определение длительности пауз между ударными нагрузками и их сериями. Поречьев назвал околоредельную нагрузку «пиковой», или просто «пиком».

Как часто можно повторять «пики»? Через неделю, две или месяц? Необходимо определить паузу с точностью до суток. Значит, искать, пробовать...

Я научился устранять последствия сверхнагрузок не пассивным отдыхом, а чередованием средних и малых по объему тренировок. Нашел систему чередования этих тренировок. Это стимулировало восстановительные процессы. В итоге я добился сокращения времени отдыха — золотой мечты настоящего атлета.

Центр города я знаю уже наизусть, даже наименования тупиков и закоулков. Ручьи смывают окурки, грязь, расцветивают асфальт радужными масляными пятнами. Над буровато-зеленым газоном жиденький пар. За грохотом машин улавливаю резвую дробь дождя. Она отзывается воспоминаниями детства. Там, в воспоминаниях, желтые листья осени греет спокойное солнце. Дымы костров несут сладкую горечь листвы. И печально ласковы сумерки...

Разве у меня был другой выход? Как иначе я мог узнать расчеты новых тренировок? Кто бы стал рисковать вместо меня? И согласился бы я, если кто-то рисковал вместо меня?..

Но как теперь примирить разум и силу? Огромную силу и воспаленный мозг? И стоит ли вообще примирять? Хватит ли меня на ту жизнь, которой я живу и вне которой для меня нет судьбы. Стоит ли жить, если я не смогу быть самим собой?..

Я вдруг замечаю, что стою посреди тротуара и прохожие аккуратно обходят меня... Вежливость прохожих. Смотрю на людей, будто впервые вижу. Лицо мое мокро от дождя.

17

Воспоминания. Я заморожен. Вижу прошлое четко, ясно.

Я снова в деревне. В той самой, куда после войны на лето привозил меня отец. И в избе потрескивает печь. И я на железной складной кровати читаю приключения Тома Сойера. На исходе август, темнеет рано, особенно в дождь.

Я слышу смех и вижу, как на пороге появляется Варька. Она из Смехушек — деревеньки в тридцати километрах от нас. На сапогах и юбке ошметья грязи.

Варька моя двоюродная сестра. Ей двадцать лет. Дядю Лешу я не знал, он погиб на фронте. На стене рядом с картинками, вырезанными из «Огонька», его фотография. Тетка жалеет Варьку. Каждый день я слышу разговоры, что деревни пусты, и, видно, не одной Варьке оставаться в девках после войны, и правильной всего ей податься в город на льнокомбинат...

Варька целует меня, шекочет и сует ржаной корж. Она пахнет лесом, дождем, парным молоком, и щеки у нее горячие.

В печку подкладываются дрова. Этот жар открытой печи сушит мне лицо.

Поленья лопаются. Угольки разлетаются — красные, дымные. Гаснут на железном листе. Тетка хлопочет. Гремит таз. Занавешиваются окна...

Погодя достают самые большие чугуны — пар наполняет избу, слезится на окнах. Пахнет мыльной пеной и мочалой.

Они мне мешают читать, шушукуются. Когда уж очень шумно, я недовольно поглядываю на них.

На веревке сохнут Варькины ситцевые одежды, шерстяной платок, ватник, лифчик, трусы в синий горошек. Сапожищи кирзовые, расхлябанные тут же на печи. Размер мужицкий, хоть и нога у Варьки маленькая.

Буквы расплываются. За паром меркнет свет единственной лампочки. Я откладываю книгу, лежу и жду, когда стирку кончат, дверь отворят и проветрят.

Поднимаюсь, чтобы запить молоком корж. У тетки рукава засучены, лицо красное, по впалым вискам седые завитки. Из ковша Варьке на голову отвар ромашковый сливает. А та фыркает, смеется. В тазу переступает.

И не знаю, что со мной! Глаз оторвать не могу! Режет ее белизна! Вся белая, только ноги до колен черны загаром, шея и руки тоже... А меня не замечают. Для них какая забота: малец я. Я только и читать читаю второй год. Прежде в баню ходил с теткой и ее соседками — скучно было. Судачат, сплетничают, а ребята ждут меня. На запруде вечером такой клев!

Отвар кисловатый, коричневый в ведре. Ладони шлепают мокро. Варькины волосы в один хвост склеились. И такой длинный — ниже пояса!

Сижу — и голова кругом. Сам не свой. Обо всем забыл. Плечи у Варьки будто заглажены, узкие, покатые, с розовыми полосами от лифчика. Бедра с боков разбегаются, но не круто. Бедра толстые, красноватые от мочалки...

Волосы отжимает. Грудь за руками вздернулись. Тугие, вздутые, в светлых каплях. Под кожей голубоватый рисунок.

Лицо смуглое, обветренное, в белой улыбке. Глаза смешливые, бесцветные. И мокрая она, вся лоснится. Волосы ворохами распадаются, завешивают лицо. В полутьме стоит, а спит меня, спит...

18

Тренировки следовали одна за другой — я сопоставлял, пробовал, находил. Прекращать тренировки после неизбежных в таких случаях срывов я не мог — эксперимент требовал непрерывности работы. Только непрерывность могла обеспечить необходимыми данными. Следовало сносить любые потрясения. Это был сверхмарафон на изнурение. В течение всего последнего года я должен был держать себя под сверхнагрузками. Я тасовал нагрузки и нащупывал границы дозволенного.

Испытания экстремальными нагрузками манили меня. Я брел по кромке небытия, по черте уничтожения жизни, изменения привычных представлений о ней, по великой черте начала отсчета жизни, изменения знака величин. Черте собственной жизни... Я работал в режиме саморазрушения, чтобы найти самую полнокровную жизнь.

И я ничего не знал. Я даже не знал, что будет со мной завтра. Я лишь яростно разрушал себя в надежде на новую жизнь. Превосходства этой новой жизни. Пленительность этой жизни.

Экстремальные нагрузки обволакивали меня дурманом переутомления. Я терял ощущение реальности. Я все наращивал и наращивал нагрузки. Я терял меру в работе и не замечал. Я жаждал узнать больше и больше. Узнать было можно только через эксперимент. И я торопился узнать...

Беспощадная усталость лишала памяти. Я увлеченно работал. Я верил только в эксперимент, в данные всех испытаний и в свое будущее. Жуткая и глумливая рожа безволия ближе и ближе подступала ко мне. А я ничего не замечал, кроме графиков и выкладок. Кривые можно было описать формулами. Нагрузки становились функциями многих переменных. Тренировка превращалась в строгий математический процесс. Я мог взвинчивать силу и рекорды на какой угодно уровень. Я смотрел на графики и видел, что нынешние результаты чемпионов — это даже не детство, а младенчество спорта. Я видел, какие качества определяют эту новую, настоящую силу. Чемпионы-атлеты казались мне беспомощными.

Я твердо знал, какие мышцы и в какой работе нуждаются. Я знал, какие нагрузки обеспечат тот или иной уровень результатов. Четкий мир расчетов определял победы. Случайности практически исключались. Все ложилось в формулы и частности формул.

Но в одну ночь я потерял власть над собой. Огромная, запредельная усталость разом изменила знаки величин. И теперь топчет, топчет меня!..

Мозг в лихорадке перевозбуждения. Он спутал все команды, лжет всем чувствам, не узнает слова. Мозг не подчиняется. Он выхолощен, истощен, болен. И все равно я заставляю его работать и работать бешено! Борьба требует этого наивысшего накала. От выступления к выступлению я взвинчивал ритм работы...

Усталость и отказ исключены. Я продираюсь сквозь боли и сомнения. Мой красный конь воли не загнан. Я еще могу смирять время, свою силу, случайности и подлости благоразумия. Я измеряю время красным конем воли.

Все отдал, все уступаю, от всего отказываюсь, чтобы все расстояния бросить под ноги своего красного коня

воли. Ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь — вижу, перебираю, ласкаю травы моей юности. Самая чистая кровь в моих мускулах. Дни ложатся ковром светлых листьев. Белые облака стерегут мое небо. И в глазах моих бред самых чистых солнц...

19

Поворачиваю к гостинице. Там покой, там все иначе...

В газетах, развешанных в киоске, узнаю себя. Таким я был два года назад на Олимпийских играх. Шея мускулиста. Зубы белы. На трапецевидных мышцах узенькие лямки трико...

Там на газетных страницах я совсем другой. Жвачка славы у меня во рту. В этих печатных столбцах «железо» нагло присваивает мое имя, мою честь, жизнь. Прикусываю губу до крови. Что знают обо мне столбцы этих строчек? Множеством газетных ликов взираю на себя.

20

Возвращаюсь долго. Всю дорогу занимает одна мысль: вдруг все, что со мной, необратимо? Это не мысль — это насилие, это приговор!..

«Исследовать бы графически мое состояние, — думаю я. — Куда пошли бы хвосты кривой? Возможно, я уже обречен. И на графике это уже ясно. Я уже загнал себя, истощил мозг до необратимых изменений. И с каждым часом теряю власть над собой. Рассудок погружается в хаос».

Туманное небо. Небо, размазанное туманами. Ночь, которая почему-то именуется днем. Седое, промозглое ненастье...

21

Пицца вызывает отвращение. Заказываю две рюмки коньяка. Никогда этого не позволял себе перед соревнованиями. Выпиваю коньяк и приказываю себе есть. Вес буду держать любыми средствами. Я атлет. И мое назначение борьба. Любая слабость мне отвратительна. Слабость могу простить другим, но не себе.

За соседний стол садится молодая женщина. Украдкой слежу за ней. Женщины для меня то же, что солнце. Яркое и чудесное обещание жизни.

Боль копошится во мне смутно и назойливо. Теплый воздух ресторана напоминает о спортивных залах. Руки непроизвольно ищут насечку грифа...

Женщине лет тридцать. У нее хрупкая длинная шея, энергичные руки и светлые прозрачные глаза. Тугой свитер мнет низкую полноватую грудь. На запястье у женщины нитка искусственного жемчуга. Запястье узкое, белое. Она наклоняет голову, когда разговаривает с кельнером. Голос у нее хрипловатый, но приятный.

22

Небо тонет в дождевом исходе. Лаково поблескивают стволы деревьев, плащи прохожих, крыши домов...

«Завтра выступать», — эта мысль снова приколачивает меня к доске самоистязаний.

В рекорде моя попытка и мое спасение. Неудача — последнее и самое веское доказательство неотвратимости потери власти над собой. Я уже никому и ничему не поверю. Разве рецептами лечат волю?..

Мозг четко запоминает эту посылку. Он мусолит ее, подсовывает, подкрепляя новыми доводами.

Завтра я сам докопаюсь до истины. Кесарево сечение собственного мозга. Диагноз поставлю сам. Нечего тянуть время и избегать развязки. Следует все поставить на свои места. Еще одно небольшое познание...

Я похудел на десять килограммов — это очень много. Я утомлен, измотан, не сплю. Никто не выступал в таком состоянии. Все, что со мной, исключает возможность установления рекорда. Впрочем, все это ерунда! Мне надо забыть обо всем! Завтра доказательство силой. Завтра я должен накрыть рекорд.

Соревнование. Всех развлекаю. Только вот самому не интересно...

23

Я должен беречь мышцы. Беречь последнюю силу мышц. Через каждые полчаса ходьбы ищу скамейку и заставляю себя отдыхать.

Сворачиваю в сквер. Сажусь. Встряхиваю бедра. Потом отыскиваю уплотнения и разминаю пальцами. Узлы неизменно в одном и том же месте. Всегда перегружена четырехглавая мышца бедра, особенно в креплениях.

Сюртук и голова каменного человека на пьедестале лоснятся влагой. Кажется, он совершает омовение — вода плывет по пьедесталу, скапывает со складок одежды. В каменной крови этого господина нет тревоги. Слепые глаза смотрят твердо и надменно.

«Хорошо, — размышляю я, — завтра выиграю, но ведь дома опять тренировки. И легкими не ограничишься. Наоборот, легких будет мало. И каждый год десятки соревнований и прикидок. И все в предельной мобилизации. Значит, снова под риск нервных срывов...»

Везде и во всем отчаяние — в моих движениях, в линиях домов, в рычании автомобилей, в лохмах низких туч. Я неотделим от отчаяния. Я и есть отчаяние.

Затравленно озираюсь.

Завидую каменному человеку. Камень или кирпич всегда среди себе подобных. Камень выполняет свое назначение и не чувствует ничего. Не страдает от жары, не страдает от холода. Ничто не терзает его. Или только смерть сделала этого человека в камне спокойным и сытым? Где я читал об этом?..

Как жить дальше? Научиться жить без души и просто жевать тренировки?! И тогда быть в согласии с собой...

Разбрасываю руки по спинке скамейки и стараюсь дышать глубоко и ритмично. Ладони моknут.

Все в моей жизни противоречиво. Я вдруг начинаю понимать, что без экспериментов вряд ли задержался бы в спорте. Разве жажда известности погнала меня под экстремальные нагрузки?..

«Ты, газетное чучело, — шепчу я. — Возьми себя в руки! Ты устал. Устал — и ничего больше. Это просто новая усталость. Ты не встречался с настоящей усталостью. Ты растерялся. Что мечешься? Взгляни на себя. Ты, ходячая скорбь!..»

Мой лоб в испарине. Зачем и кому нужна моя боль?..

24

Три ударные, или «пиковые», тренировки в месяц оказались пределом. Больше организм не выдерживал. Я долго и упрямо пробовал. Легковесы, наверное, смогли бы справиться и с пятью «пиками» в месяц. У них восстановительные процессы активнее.

Я входил в зал.

Я вбивал в себя нагрузки. Я забыл иную жизнь, кроме грохота «железа» и команд тренера.

Я испытывал себя на живучесть, но живучесть особенную. Она должна была обернуться необыкновенной силой. Уже первые месяцы доказали мою правоту. В мышцах стала просыпаться эта сила.

Потрясти организм, вызвать небывалые приспособительные процессы, перевести организм на новый энергетический уровень обмена, а в результате перекроить свою природу, обеспечить силу новой общефизической базой! Снова и снова я убеждался в правоте своих расчетов. Опыт складывался мучительно, но плодотворно.

Я думал, опыт на экстремальные нагрузки — это лист с формулами, графики, планы нагрузок и чрезмерная усталость. А меня ждал неведомый мир без конца и начала. И я шагнул в его бесконечность. Я ничего не знал. Я думал, все как прежде — а там были звезды своих миров, там бесконечность, там камень сливался с живой плотью, небытие с бытием.

Там всегда было одно нескончаемое Бытие с его удивительными превращениями, непрерывностью бесконечных превращений. И в себе я носил части этого мира. Он пробуждался во мне своими законами. Скрытыми прежде законами...

Я действительно свихнулся, когда вознамерился руками ощупать границы, где камень перестает быть камнем, где мертвое становится плотью и жизнью. И где вообще нет мертвого. И только мозгом, страхом мозга мы разделяем мир на живое и мертвое. А он единое целое. Он неделим. Со школьной скамьи мы приучаемся мыслить жизнь не в единстве, а в ее раздробленности. Мы ограничиваем себя, делаемся рабами каждого случая и обстоятельства. Но все вне нашего сознания нераздельно. И все вокруг — истинный поток вечно превращающейся материи.

25

Едва приметная зеленоватая опушь аллея. Похрустывает гравий. На газонах топорщится молодая травка. Я должен вернуться и отдохнуть. В тепле и покое мышцы быстрее отходят. Поворачиваю назад.

Кипы тетрадей с расчетами. А что толку? Не поверят ни одной цифре, если уйду без доказательств. После турне должен привести себя в порядок и установить ре-

корды. Рекорды совершенно нового качества. Верят лишь доказательствам. Соглашаются с тем, что утверждает победа. Прав, кто умеет доказывать. Мудр тот, кто сильный...

Я знаю, что со мной. Знаю до каждой цифры все выкладки своей болезни. Слышу и чувствую эти цифры тяжестью чувств. Но знание не освобождает от болезни. Болезнь подчиняется своим законам. У воспаленного мозга своя логика.

Я и предполагать не мог, что грубая мускульная работа столь тесно связана с мозгом. Откуда мне было знать, что она становится ядом, когда выполняется длительное время с наивысшей интенсивностью, на предельных объемах и весах. Я ничего не знал. Когда узнал, оказалось поздно. Отступать уже было поздно. Нельзя отступать. Я уже успел вбить в себя все эти сверхнагрузки...

Случайные причины, незначительное утомление или сильное чувство вызывают приступ нервной лихорадки. Я знаю, что это за болезнь и отчего, но воспрепятствовать экстремной болтанке бессилён. Причина ее совершенно материальна — это истощенная экстремной работой нервная система. Сейчас она не справляется с жизненной нагрузкой и дает сбой. Если идти со сломанной ногой, опираясь на палку, боль все равно будет, и будет мучительная. Но у моей воли даже нет палки, чтобы опереться. Я вынужден отказывать мозгу в отдыхе. Я не могу действовать иначе. Вся моя защита — это выносить боль, ждать, не уступать отчаянию. И эта болезнь вроде загрязненной раны. Она грозит отравить весь организм. Гангрена воспаленного мозга стремится овладеть моим сознанием, моей волей, моим телом. В каждом приступе эта черная боль. Я все понимаю, вижу, но подавить болезнь сразу выше моих возможностей. Нервный потенциал растрочен, сведен к запредельному минимуму и не справляется с управлением. Экстремные приступы — это реакция перераздраженной нервной системы. Боль перемалывает мою силу. Боль посягает на мои цели. Боль навязывает свои законы.

Мне больно, очень больно и будет больно, но это не изменит меня.

Нелеп и глуп мой шаг вечного искателя. Лечь, забиться, дремать. Пить ласку солнца. Узнавать все дни. Быть узанным всеми днями... Что со мной, почему? Топчу жизнь ради каких-то целей. Не замечаю подлоги

и влюблен в призрачное счастье борьбы. Я выдумал своего красного коня воли.

Усталость улиц — трещины-змеи, раскrojившие тротуар. Это морщины города, заботы и беды сотен дней.

«Пирсон, Альварадо, Ложье по своим данным гораздо слабее, — размышляю я. — Однако они уже рядом. Знаю, пользуются моими находками, но теперь посмотрим. Мои новые тренировочные веса задержат любого, если не знать, в чем дело. Отныне все победы в моей власти...»

Я в густом шуме хлынувшего дождя. Пеной вспухают ручьи. Мои шаги упруги и радостны. Если я и разрушал себя, то недаром. Разве я буду драться с Альварадо, Пирсоном, Ложье? Нет, это доказательства для всех. В эксперименте я получил ценные выводы. Они нужны людям. Нужно донести эти выводы. И меня еще хватит на доказательства! Практика есть высшее доказательство! Я всем должен доказать правоту выводов. И это доказательство во мне...

26

Встаю с постели. Зажигаю свет. Тени уныло стерегут меня в углах. Тугой переключатель грохочет выстрелом. Кружится голова. Я прислоняюсь к стене. Я слишком много потерял в весе и устал, очень устал. Потом бреду в ванную. Опять приступ этой болтанки.

«Что такое рекорд сейчас? — думаю я. — На что я рассчитываю? Зачем обманываю себя?..»

Не заявился бы тренер! Никто ни о чем не должен догадываться.

Упираюсь руками о раковину. Долго держу голову под горячей водой.

Разглядываю себя в зеркало, бормочу с издевкой: «Жизнь есть преодоление среды». Мои губы запеклись коркой. Щеки запали. Вода по шее затекает под рубашку. Черноватые тени залегли на моем лице.

27

Отворяю дверь. Поречьев без пиджака растянулся на диване. Воротник рубахи расстегнут, галстук приспущен. На стуле ручка, тетради. Тетради наших тренировок.

Он спит, крепко спит. Закрываю дверь.

Линолиумным блеском сияет коридор. Мертвый се-

зон — туристов почти нет. В одном из номеров звонит телефон. Звонит пронзительно, настойчиво.

Возвращаюсь в свой номер. Каждый предмет здесь напоминает о лихорадке. Исследование о Пушкине — редкая книга 1923 года. Пытался ею занять себя... Интересно, что уцелело с того времени от тиража в четыре тысячи экземпляров?

Вещи вывалены из чемодана на кровать. Утром меня вдруг неприятно поразила расцветка модного парижского галстука. Я искал его, а потом забыл, не нашел. Снова охватывает то же чувство. Нащупываю галстук под афишами на дне чемодана.

В коридоре по-прежнему пусто и тихо. Я сворачиваю галстук и бросаю в корзину. Подхожу к окну. Стою и не шевелюсь. Яркие мелодичные запахи лугов дурманят меня. Все вижу четко, близко и очень подробно...

Никто и ничто не отнимет у меня этих полей, рош, проселка с серыми щелястыми столбами, где на проводах щеглы, коноплянки, жуланы, овсянки, зеленушки, где в хлебах парным и разнеженным полднем бьют перепела и коростели...

Бессвязно бормочу: «Я проиграл в спорте, но ведь я могу жить! Это чудесно — жить!..»

Нет, это не галлюцинации. Прошлая жизнь дразнит своей несбыточностью. Я надеюсь вернуть чувства и краски юности, надеюсь еще раз прочитать те дни. Кто, кроме меня, может быть хозяином тех дней и моей жизни?

28

В холле усаживаюсь возле окна. Я облюбовал это кресло, даже привык. Отрадно узнавать в вещах своих знакомых.

Капризное расквашенное небо. Крыши, навощенные дождями и туманами. Зыбкие контуры домов.

Незаметно потягиваюсь. Я накрепко стянут жгутами-мышцами. В турне ради одного спортсмена массажист обычно не выезжает: лишние расходы.

Листаю журнал. С первых же страниц испытываю беспокойство. Повсюду в словах свой потайной смысл.

Опекает стресс. Заботится.

Нет, я не в мире видений! Но отдаю себе отчет в том, что с каждым часом мне хуже и хуже.

Цепенею в кресле. Руки мои суетливы. Я затравил се-

бя «железом», теперь добиваю сомнениями. Сомнениями, которые выше самых праведных доводов. Милости стресса...

Дождь стушевывает очертания домов. Город отступает, растворяясь. И этот холл, овейный запахом табака, уже и есть весь этот город. Зализанный дождями город...

«Рекорд рассудит,— уговариваю я себя.— Диагноз безошибочный: возьму рекорд — значит, здоров».

Но как провести доказательство силой? В чем надежда, если я переутомлен?

Торопливо крутится вертушка-дверь. Какой-то толстый и бойкий господин бегаёт за своими чемоданами. Шофер такси укладывает их в автомобиль.

— Поздравляю,— говорит портье на ломаном русском.— О вас тут много.— Он встряхивает газетой.

Смотрю с удивлением. Разве это имеет какое-то значение?..

— Скучаешь?— слышу я голос Цорна. Он опускается в соседнее кресло. Вытягивает ногу-протез.

Я молчу.

— Выглядишь не блестяще.— Цорн набивает трубку.— О, да это знаменитый тенор!— Он кивает в сторону бойкого господина.— У нас шутят, что это слон, проглотивший соловья.

Макс Цорн сопровождает нас в турне по Финляндии. Его отец — немец, мать — русская. Он хозяин маленького фотоателье в Хельсинки. Я зову его Максимом.

Цорн сует портье мелочь и отсылает за газетами. Снова листаю журнал. Броские заголовки. Пестрота красок. Улыбки...

Цорн косится на компанию хиппи:

— Не стоит делать из одежды вывеску убеждений.

Портье подает газету. Цорн разворачивает ее:

— Тут кое-что о турне. Перевести?

— Не надо.

Цорн зажимает трубку зубами, быстро проглядывает номер, бормочет: «Что такое мужество? Риск, незаурядная сила, жестокость, мудрость? Разве умирают только когда перестают дышать?..»

«Завтра соревнования или обряд расставания с надеждой выздороветь?» — думаю я. Меня покрывает холодный липкий пот.

Цорн сует газеты в портфель. Портфель набит книгами.

— А эта?— тыкаю я наугад в книжный корешок.

— Артур Мальцан: «Стансы».

«Большой спорт — суровая физическая и моральная тренировка,— успокаиваю я себя.— Это известно каждому, кто участвует в игре. Не знать пощады к себе — вот и вся мудрость. Мне ли ныть...»

Цорн разглядывает фотографию Пирсона: «Беременный мужчина. Ему необходимо лечиться от ожирения».

У Пирсона дряблое лицо с двойным подбородком и надутый живот — гордость его силы, единственная надежда его силы, почти национальное достояние. Этими атлетами сила поставлена в прямую зависимость от собственного веса. Но публика награждает славой любого, лишь бы наклеивался успех. Это противоречит смыслу моих поисков в спорте.

Воздух в трубке Цорна сипит.

— Пирсон ремесленник,— говорю я.— Он далек от настоящих тренировок.

— Ремесленник опаснее. Ремесленник, как военный писарь, копирует примерно и с усердием.

— У нас находки не патентуют. В ближайшие годы методика изменится. Чтение ее будет весьма сложно. Индивидуальность играет существенную роль. У каждого свои восстановительные способности. Даже такой пустяк: тяжеловесу во всех случаях нужен более длительный отдых, частое повторение больших весов ему просто противопоказано. Если слепо копировать, можно сломать шею. И уже ломали...

29

Главная задача эксперимента распалась на множество побочных. Возникновение новых и новых задач выросло в лавину неизвестного.

Опыт на экстремальные нагрузки рисовал свои формулы. Я зачарованно читал их, читал... Великое скрещение бытия и небытия. Вечность материи. Знаки величин, законы мира, у которого нет конца и начала. И все это зашифровано в нашей крови, глазах, желаниях. Я ощущал себя в единстве с этим миром. Искупительность саморазрушения ради познания — я уже соглашался с дурманом усталости...

Я погружался в запредельное утомление. С начала эксперимента я не пропустил ни одной тренировки, ни на

грамм не снизил намеченных нагрузок. Я не сомневался в удаче. Я не допускал мысли, что может быть иначе. Просто здесь на черте жизни и смерти я должен был узнать очень важные вещи...

Я пропускал через себя сотни тонн самых интенсивных нагрузок. Я не знал пощады. Я прилежно заполнял расчетную таблицу.

Через полгода кишечник начал плохо усваивать пищу, скручиваясь в узлы. Это отчетливо засвидетельствовала рентгенограмма. Пища вызывала мучительную боль. Я вынужден был сесть на строжайшую диету. Потом закапризничали печень и почки, стала прыгать температура и пропал сон. Нервный спазм выводил из равновесия одну систему за другой...

Всего лишь несколько месяцев отделяли меня от окончания первой стадии опыта. Я упрямо продолжал делать свое.

После первой стадии опытов я рассчитывал привести себя в порядок и проверить эффективность работы на рекордах. Судя по всему, я должен был основательно их перекрыть... Стоило потерпеть каких-то два-три месяца. Досаждали травмы, но я свыкся с ними и переключался на работу с другими группами мышц. Выручали станки, которые конструировал Поречьев...

30

Тротуар несет меня. Кровь и отравы смешиваются в моем мозгу. Безрадостные километры мыслей.

«Ну ты, загадка силы,—шепчу я себе,— не дури, довольно! Или же готов встать на колени? Так давай на колени! Вправь лик усталости в золото образов. Моли о милости. Лижи лекарства. Что же ты? Ползи!..»

Ворон отчаяния чудится мне в каменном просторе. Крылатый церемонейстер моего отчаяния.

Шепчу: «Отказаться? Уйти, чтобы только крепко спать, безмятежно спать? Что такое покой?..»

Ветер треплет полы плащей и пальто. Вода. Туман. Солнце заблудилось в туманах. Шаг мой размашист, обгоняю всех.

Кому-то надо было измерить еще одну усталость. Большую усталость. Ведь в конце концов усталостями измеряют жизнь. Я вот свою измерил. Измерил ли?..

Необходимость отдыха заставляет возвращаться в номер и ложиться в постель.

Снова копаюсь в журналах. Вот на фотографии мой триумф в Ленинграде. Там я набрал лучшую сумму троеборья. Счастье былых побед не согревает. Кто он — автор репортажа? Сколько слов! Запрыгает в свое счастье. Какое им дело до меня! Им важны свои мысли и чувства.

Боль жиреет моими сомнениями. Ведь я сам себя погнал по всем испытаниям. Никто другой — только я. И это чувство обреченности из-за «экстрема». Он внушает мне, будто я надорвался.

Встаю. Разглядываю себя в зеркало. У меня крупные, чуткие мышцы. Сколько же послушных мышц! Мощные перекаты мышц.

«Не турне, а исповедование души, — усмехаюсь я. — Точнее — ее превращения». Глупо звучит мой смешок в этой комнате. Зачем я здесь? Зачем?..

Чтобы не пустить новую боль, я четко и отдельно повторяю: «Если даже я и способен потерять контроль над собой, то и тогда не скажу: проиграл! Никогда не соглашусь на чью-то власть над собой». Новая боль душит. Зачем выдумываю новое испытание? Рекорд? Зачем? Беги, брось все!..

Стою, как на помосте перед рекордом. Руки расслаблены. Ноги точно по ширине плеч. Равновесие в каждом суставе. Огромные жизни в моих мышцах.

Шепот обжигает губы: «Никто не властен! Мышцы могут проиграть, я — никогда! Не уступлю себя! Не уступлю!» Сбивчивый, жадный шепот...

— Твой тренер не благоволит ко мне, — говорит Цорн. — Ей-богу, я не так испорчен, как он воображает.

Цорн идет за мной. Мы садимся. У меня на коленях плащ, шляпа, мокрые от дождя. У шляпы даже провисли поля. Не успевает просыхать.

— Ничего не надо? — спрашивает Цорн.

— Нет.

— Долг переводчика проявлять заботу.

Зубы тоски желты. Я по-прежнему ощущаю хватку этих зубов.

«Сомнения — результат нервного и физического истощения, — успокаиваю я себя. — Это точно, как дважды два четыре. У этой новой чрезмерной усталости свои причуды».

Цорн ухмыляется:

— Я с кладбища, Сергей. Не угодно ли? Я очень расстрогал патриотически настроенного служителя. Я смиренно возложил гвоздики на могилу нашего почитаемого деятеля. Я сказал: «Лежи! Всегда лежи!» Иногда мне это необходимо. Я давно не был так искренен. Когда я вижу, что зло все-таки смертно, это действует на меня благотворно... Это был очень знаменитый политик. Он вел себя так, будто только ему была известна истина. И эта истина единственная и непогрешимая. Тошнит от непогрешимых истин! Неуважение к закону у меня в крови... вернее, с кровью. С того безусого возраста, когда я уяснил, что законам плевать на меня. — Цорн стучит трубкой по проезду. — Не правда ли, мелодичный звук? Этого достаточно, чтобы испытывать некоторое недоверие к политикам и закону. Господь видит, в этом не моя вина. Но я, разумеется, понимаю: зло и насилие существуют потому, что это необходимо определенной части человечества. К сожалению, всегда более влиятельной. О, подобные политики всегда самые ретивые патриоты! Этих политиков следует почитать за труды на ниве всеобщего оглупления... Кладбищенский цербер расстрогался до насморка. Гвоздики на мрамор надгробия! — Цорн вырывает из газеты лоскуток, скручивает его и старательно вычищает золу из трубки. — Еще мосье Стендаль говорил, что рассказывать правду о своем времени чаще всего означает рассказывать ужасы. Вот наше общество, сэр.

— Ты верующий?

Цорн сворачивает бумагу с золой и прячет в карман, набивает трубку.

— Стихи Хенриксона тебе знакомы?

— Нет.

— Вне закона те, кто не умеет делать деньги! Да здравствует пищеварительный тракт — цель и знамя прогресса! Кто не умеет делать карьеру — к стенке! Кто честен и наивен — к стенке! За бедность и нищету — тоже к стенке!.. — Цорн, прищурясь, разглядывает компанию хиппи. — Они поселились в баре, Сергей?

Пожимаю плечами. Приступ сонливости отупляет.

Цорн усмехается:

— После некоторых уроков жизни я принимаю всерьез лишь выпивку. Коньяк или славное вино всегда проделывают со мной то, что я от них жду. Во всяком случае, для меня в аромате коньяка есть улыбка женщины и хорошие стихи. И это уже не скучно и человечно. Как видишь, в вопросах веры я бескомпромиссен.— Он раскуривает трубку.

— В самолете ты рассказывал о терцинах Локриджа,— говорю я.

— Классическими терцинами написана «Божественная комедия» Данте. Кстати, поэзия «центрального человека мира» оказала влияние и на славянскую поэзию. Тебе нравится Пауэлл?

— Первый раз слышу.

— О, он чувствует цвет! Все-таки цвет — самый чувственный элемент живописи.

— Рисунок скрепляет живопись.

— Но линия не только форма. У Лотрека она не беспристрастно фиксирует формы. Лотрек соединяет линию и цвет в единое. Все его средства — страсть, чувство. Лотрек уничтожил элементы условностей. Он в линии заставляет трепетать чувство... Пойдем, а? Погуляем?..

— Мне нужен отдых. Пока мое место в кресле. Завтра я должен взять рекорд.

— Сентябрит погодка,— говорит Цорн и кивает на девиц-хиппи.— Пошлость в женщине хуже, чем физический недостаток. Это непростительно. К тому же, повторяю, не стоит делать из своих убеждений вывеску... Когда за вами прибыть, сэр?

— Я буду в номере.

— Тренер разве не говорил?

— Что?

— В девять банкет.

— Ладно, заезжай в половине девятого.

Цорн кивает.

Я делаю вид, что мне весело, улыбаюсь и подмигиваю Максиму.

Цорн неуклюже встает. Я тоже встаю. Подаю ему портфель.

— Пойду-ка хлебну пива,— говорит Цорн.— От всех этих высоких устремлений развивается жажда.— Он, улыбаясь, смотрит мне в глаза.— Не думай, будто только тебе не везет. До банкета, милейший!

Мир поразительных возможностей и фактов открывал эксперимент. Разве я мог отступить?..

Незадолго до нервного потрясения я стал испытывать необычное состояние. Я вдруг стал думать о небытии как продолжении жизни. Я ощущал себя в непрерывном потоке вечного превращения. Небытие не казалось мне чем-то ужасным. Лишь другая форма материи. Вот и все...

Это уже приближалось нервное истощение. Я не знал, что оно как дурман. Я был поглощен опытом — все остальное для меня теряло значение. Почему я должен был сделать исключение для каких-то болезненных явлений? Маленьких гномов расчетливости я разглядывал с брезгливостью. Последствия экстремальных тренировок я сносил как нечто само собой разумеющееся. Я должен был узнать — ничто другое не имело цены. Только искусство: музыка, живопись и поэзия по-прежнему увлекали. Я пьянел в порывах скрябинских поэм. Нервная экспрессия и чуткость Бартока были мне необходимы. Разложив измученные руки на поручнях кресла, я слушал новые записи, выпадая из времени. Усталые паруса моей жизни напрягали новые чувства...

Я научился чувствовать краски. Боли и усталость вдруг разом открыли смысл цвета. Это были те же аккорды музыки, застывшие на холстах. Это поразило! Я заново открывал целый мир. Некоторые картины я не мог видеть: они причиняли страдание. Тогда я увидел и понял, сколько боли было в сердце художника, прежде чем он оставил на память эту единственную боль, оправленную изящной музейной рамкой. Странное зрелище: крик и боль в музейном углу на стене перед публикой. Пресноватая музейная чопорность. Люди, скрип половиц...

Последствия экстремальных тренировок преобразовали меня. И в математике я вдруг стал улавливать ту же гармонию, что и в искусстве. Формулы и расчеты могли быть такими же взволнованными и яркими, как музыка...

И я по-прежнему был в восхищении перед женщиной. Я не смел позволить себе соединить свою жизнь с той, к которой начинал привязываться. Жизнь моя замыкалась в спорте и была бесконечным напряжением. Я не позволял другому чувству становиться единственным. Не мог позволить причинять страдания своей неустроенной жизнью. Я уклонялся от любого глубокого чувства к женщине.

— Хоть зимнее пальто надевай.— Поречьев потирает руки.— Чертовщина какая-то, без перчаток мерзну!

Приемник перебирает вальсовые мелодии. Ветер стегает тополя за окном. Они вздрагивают, замирают.

— Искал тебя.— Поречьев сбрасывает плащ и садится рядом на диван. Обнимает меня за плечи.— Что-то нет нашего толмача.

— Обещал заехать в половине девятого.

Обычно вечера Цорн проводит с нами. Поречьев считает, что из-за водки. У меня с собой пять бутылок для угощений и кое-какая закуска. Мне пить нельзя. Поречьев убежденный трезвенник.

Эта тоска каждый раз наведывается в сумерки. Включаю торшер и бра. Иду в ванную комнату, включаю свет.

— Хандришь?

— Ерунда, устал.— Я сажусь на кровать.

Поречьев показывает на фотографию Пирсона:

— Видишь, опаздывает с «уходом».

— Разве?

— Штанга наверху, а он еще в полете. Сверху и придавит. Обязательно мазнет коленом по помосту.— Поречьев кивает на обложку: — Девица — не ущипнешь...

— Мыши копошились за иконой,— говорю я.

— Что?

— В избе, где я ночевал в позапрошлом году на охоте, за иконой скреблись мыши.

— У нас тоже так. В углу тверская богоматерь под полотенцем и в веночке из цветов, а за иконой мышиное гнездо. Я богородице в голод молился. Ночью, чтоб не видели. Хлеба просил.— Поречьев подсаживается ко мне, мнет мускулы.— Ничего, придут в норму. Я ведь еще день выбил. Понимаешь?! Заявил: хотите рекорд — дайте отдохнуть. Согласились...

За окном сумерки. Чужая весна не сулит радости. Вода плывет по стеклам. Ветер замечает дождь, облаком гонит по улице.

— ...Дома поработаем над посылом. В недельку разок будем пробовать толчковые швунги.— Поречьев разминает мне плечи.

— Швунги?

— Швунг наладит толчок... Опустит локти. Вот, ослабились. Не сильно давлю, может, полегче?..

— Нормально.

— В посыле смелее под вес — и рекорд твой,— говорит Поречьев.— А мышцы? Не думай, отойдут... Зачем столько гуляешь? Ноги забьешь...

35

«Настроение одиночества естественно для твоего спорта,— твержу я.— Тренировку и результат — делаешь в одиночку. Но кто назначил меня в атлеты? Честолюбие?..»

Тускло горят лампы в комнате. Там за окном сумерки, как слабый день. Я часто подхожу к окну и подолгу смотрю на эту странную ночь, на этот странный белый город. Здесь осень. Настоящая промозглая осень в мае. Белая осень.

Капаюсь в себе. Снова и снова измеряю себя словами.

Во мне столько же доброты, сколько ее в тротуарах или осенней грязи. Я ведь ни во что не ставил все и всех, кроме цели. Зачем все эти годы? Кто объяснит, зачем?..

Все было моим в спорте. И я это все отнял у себя. Зачем обманываться? Нет больше спорта, не будет!

Ровные белые сумерки за окном — это и есть ночь. Шаги отсчитывают мгновения этой ночи. Мгновения, в которых нет покоя, которые отрешают от покоя...

Ветер гулом прокатывается за окном.

Конечно, кто хочет посягнуть на большое, пусть сначала это совершит в себе. Тогда по справедливости, тогда есть смысл. Я поступил правильно, но я все потерял. Отныне я неудачник. Жалкий неврастеник. Гора мускулов, обреченная на вырождение. Самых крепких мускулов.

И как глупо загубил себя! Опыт не имеет научной ценности. Эксперимент без контроля приборами, медицинских проб — чепуха и вздор! Ради каких-то химер отнял у себя будущее.

Я отнял у себя будущее! Отнял! Отнял!..

36

Тоска тащит на улицу. Бреду в струях дождя, скачущей резкости чужой речи и шуме автомобилей. В рыхлой мути пропадают гребни крыш: серовато-свинцовые, черепичные, железные. Броские пятна журнальных обложек

в синевато-искусственном освещении киосков дробят шествие людей. Траурно правильны заголовки газет — память прожитых дней. Я замедляю шаг и рассматриваю коробки конфет, горки нарядных шариковых ручек. Снуют по стеклу витрин тени, огни автомобилей.

Ставить эксперимент углубленно и обоснованно не позволяла ограниченность собственных возможностей и время. Я должен был возвращаться на помосты чемпионатов, чтобы отстаивать свое право на такую жизнь.

Разве это был эксперимент? Я лишь скользил по поверхности явлений. Я видел наивность своих изысканий, но у меня не было возможностей для обстоятельной работы. Да и кто согласится быть материалом для эксперимента — ведь я расплачивался своим будущим. Кто согласится отнимать у себя победы? А ведь имел смысл эксперимент лишь на уровне моей подготовленности.

Сколько чувств аккуратно разводят улицы и выстраивают светофоры! Люди растравляют тревогу. Улавливаю взволнованность каждого. Все краски в этом городе вкрадчиво-приглушенные. Всматриваюсь в небо. Может быть, там звезды. Тогда завтра солнце. Небо тонет в белом сыром сумраке.

Что моего в жизни? Как я мог быть хозяином себе, если успех другого определял мою жизнь в спорте? Навязывал новые тренировки? Даже чужое мнение постепенно стало для меня очень важным, не мое дело, а чужое мнение, предрассудки подобных мнений. Если кто-то посягал на мою силу, я был готов на все... Когда я подменил свою юношескую страсть к спорту на страсть к успеху, голому успеху?..

37

Аптека — одна, другая... Но рекорд? Рекорд?! Через день я должен быть в форме, должен управлять собой без ошибок и с наивысшей точностью и скоростью. Сила не выносит подлогов. К черту лекачества!

Люди под зонтами mnoжат тоску. Фары автомобилей похожи на фасеточные глаза насекомых. Они гипнотизируют — эти тусклые глаза-фары. В них всегда одно и то же выражение. Иду размашисто, почти бегу...

Хотел быть пророком в спорте... Ложь! Любое пророчество противно.

Кровь разносит отраву слов. Она в моих мышцах, сердце, дыхании. Испытываю мучительное желание

вскрыть свой череп и выжечь яд. Я чувствую — это яд. Да, выжечь — и сразу станет легко.

Грохот автомобилей нестерпим. Шарю по карманам. Там должны быть ватки. В самолете я затыкал уши.

Затыкаю уши ватой — беззвучно шевелятся губы прохожих, беззвучно ступают сотни ног, проносятся автомобили.

Неприкаянность вынужденного одиночества. Теряю себя. Забываю себя. Выброшен из жизни.

38

Где запахи весны? Запахи и краски надежд, восторга и нежности. Кто отравил меня? Кажется, весь вспухаю болями и горечью.

Я затравлен причудами экстремальной усталости. Отвратителен сам себе, но ничего не могу поделать. Мозг подсовывает новые и новые доказательства неизбежности моего падения. Нет предела его изощренности...

Фонарь едва освещает дождевую мглу. Отрешен от мира этот городской тупичок. Жадно вдыхаю холодный сырой воздух. Окна отбрасывают на тротуар едва заметный свет...

В лучах света легко и обильно летят дождевые капли. Этот дождь как снег. Снег в мае...

Неужели сам назначил себе жестокость? Я расчертил жизнь на клетки и все долженствующие проявляться в том или ином случае чувства расписал по клеткам. Когда же потерял себя? Когда совершился этот подлог жизни? Где я? Куда я? Какой я теперь и что со мной? Разве только усталость предала меня? Разве это возможно?..

Даже в непорочности и чистоте идеи эксперимента ложь. Я был заморожен своей мощью. Предвкушал безграничность этой мощи. Отгородился от людей яркими выдумками безразличия. Я был на торге фальшивых чувств. Долженствующих чувств. Назначенных чувств.

Искать победы и доверяться инстинктам? Из инстинктов складывать свои чувства?

Маска притворства срослась с моей плотью. Как же я согласился на эту маску уродца? У меня кровь лжеца. Все мои чувства кем-то умыты, причесаны и подкрашены. И это мой нынешний лик, настоящий лик!..

Что такое рекорды? Я выступал, когда был силен, ког-

да не сомневался в своем превосходстве. Я никогда ничем не рисковал.

И жить я привык: не жил, а привык к жизни. И теперь не могу загородиться дежурными чувствами. Я потерял все вызубренные слова. Не могу вспомнить. Забыл искусство притворства. И мне не по себе.

А я часть этого мира, часть одной большой жизни всех. Я неотделим от всех.

39

Видеть все зори и все солнца. Встать под все будущие ливни и за все расплачиваться полновесным серебром чувств.

Я подтверждаю эксперимент рекордами. Других средств бороться за себя нет. Что даст более точные ответы на все вопросы?

Я придиричиво вымериваю слова. Нельзя оставлять те, которые калечат.

Я высок и могуч. Уверенность до лоска натерла улицы. Наслаждаюсь шагами. Как много силы в нужных словах!

Я опираюсь на свои мускулы. Они несут меня легко и непринужденно. Как совершенны и спокойны мгновения без сомнений!

Опозорь сомнения! Может быть, в этом и высшее мужество — не сворачивать с назначенного пути! Беда поражает тех, кто слишком часто оглядывается...

Пытаюсь в словах поймать жизнь. Словами подменяю жизнь. В словах ищу правду. Заметаю правду. Мусор слов.

«Друг мой, да ты не веришь мне,— вспоминаю я слова Лу Синя.— Что ж, ведь ты человек».

Память подсовывает и другие забытые слова: «...на грани громких песен и буйного жара — холодно; в небе — бездонная пропасть; в глазах — пустота...» Отчего память щедра на такие слова? Отчего двоедушничает?..

40

Истины эксперимента. Чаще всего они оказывались удивительно примитивными. Как только раньше не приходили в голову! Простые до наивности выводы.

Тренируюсь, я все время успокаивал себя: время смо-

ет усталость. Время — единственное лечение прошлых и будущих перегрузок. Так было всегда. Других средств не существовало.

В слепом неведении я загонял свой организм за пределы допустимого. Я навязывал ему существование за чертой возможного. Я заставлял его приспособляться там, где приспособление исключено, где приспособление есть приспособление к самоуничтожению.

Мозг по-своему противился моим командам. Что такое болезни желудка, печени, почек, бессонница? Мозг болезнями пытался остановить меня. Но я упорствовал. Я насиловал организм. Я пренебрегал болезнями. Мозг предупреждал меня, а я гнал организм на все более опасные испытания.

Я был враждебен жизни. Я подлежал уничтожению, как главная угроза существованию организма. У мозга было в запасе последнее средство покончить с моим своеволием: лишить меня воли. Он рассчитывал спасти жизнь организму, отняв у меня волю.

Конечно, все было иначе. Я просто загнал себя. Но за все эти месяцы усталость экстремальных тренировок стала в моем воображении самостоятельным живым существом.

41

— ...Спорт — благодарная возможность увидеть мир, — говорит президент объединенных спортивных клубов, — возможность познать славу и выразить себя с наибольшей полнотой...

У господина президента смуглое обветренное лицо яхтсмена, узкие бакенбарды и голубовато-серые глаза юноши. Он наливает в бокал вермут.

Цорн подытоживает тост короткой фразой: «Господин Юрило предлагает выпить за твои успехи!»

Я встаю, поднимаю стакан и смотрю в глаза господину президенту. Он соболезнующе качает головой. В моем стакане фруктовый сок.

— За рекорд! — подхватывает бывший чемпион-борец. Без перевода узнаю это краткое интернациональное словечко. Рядом с борцом бывший рекордсмен по легкой атлетике — застенчивый щуплый старичок. Он прилежно слушает, отвечает с виноватой поспешностью.

— Все ждут рекорд, — переводит Цорн, — все желают удачи.

— Спасибо, господа.— Я пью тепловатый апельсиновый сок.

Борца зовут Иоахим. Он работал в полутяжелом весе. До войны был чемпионом Европы. У него манеры салонного завсегдатая. Он красив, но красота будто траченная молью.

Старик легкоатлет отставляет бокал. Показывает на бок: печень. Он старательно расправляет на скатерти складки. У него совершенно лысая голова, бесцветные губы и морщинистая шея.

«...Где любовь, как пепел в урнах, спит»,— вдруг вполголоса читает Цорн. Исполдбья смотрит на меня.

В ресторане рыжеватый полумрак. Посетителей мало. Наш банкетный стол у стены вплотную к эстрадке. Я между тренером и Цорном. Иоахим и бывший легкоатлет сидят напротив по левую руку от господина Яурило. Певица на эстрадке всего в нескольких шагах. Вижу накрашенный рот, подведенные глаза и тщательно уложенные локоны. Цорн уже узнал: она датчанка и здесь на весь летний сезон.

С другой стороны от господина Яурило тренер финской сборной Альберт Толь и братья Эвген и Ян Халонены. У Яна сейчас мировой рекорд в рывке для атлетов средней весовой категории. У него покатые плечи. От этого шея кажется очень длинной.

Цорн кивает на Поречьева. Мой тренер не сводит глаз с певицы. Ее живот плотно схвачен блестящей парчой. Он чувственно широк под тканью. Каждое движение очерчивает крутые линии бедер.

— Сергей Владимирович!— зовет Цорн и говорит:— Мое воображение занято нижней частью Ниночки Булгаковой. И в самом деле: что за бедра, талия! Не так ли, Сергей Владимирович?

Поречьев краснеет:

— Что за ересь!

— Ересь?!— Цорн смеется.— А слова-то сии из письмеца Александра Сергеевича Пушкина. Нравится фрейлейн?

— Рыжая,— говорит Поречьев.

Толь вежливо улыбается мне. Он веснушчат, худ и не похож на атлета, хотя лет шесть работал в полутяжелом весе.

— Святая девственница!— Цорн молитвенно складывает руки.

— Кто?— спрашивает Поречьев.

Цорн пожимает плечами:

— Заступница простаков.— Он усмехается.— Или вы полагаете, что заступница простаков не может быть девственницей?

Цорн в костюме от хорошего портного — в этом не ошибешься. Белая рубашка туго накрахмалена. Узел галстука завязан щегольски. На безымянном пальце перстень с черными латинскими буквами. Я выгляжу старомодно в своем черном вечернем костюме.

— А репортеров нет,— говорит мне Поречьев.

— Я битая карта. Зачем им здесь?

Цорн переводит рассказ маленького прилизанного господина: «...На Олимпийских играх в Токио нас пригласил в «Черный лебедь» Синити Огато. Зал вроде небольшой гостиной задрапирован черным шелком, в центре — подиум, в общем, весьма интимная обстановка...»

Господин Яурило выразительно играет породистыми бровями. Иоахим, усмехаясь, разглядывает на свет коньяк в рюмке.

С Огато я выступал на двух чемпионатах мира. Японец работал против Алексея Зуева. Этот Огато отчаянный турнирный рубака.

«Через восемь недель чемпионат страны и через четырнадцать — чемпионат Европы,— раздумываю я.— Ладно, от чемпионата страны откажусь. Но кто из наших сможет конкурировать с Ложье? Значит, ни одной тренировки не пропускать. Вернусь — и на другой день в зал. Опять все, кроме отдыха!..»

— Толь похож на одного нашего деревенского,— говорит Поречьев.— Такой же рыжий и конопатый. Мы его звали Цыпочка...

— Нам необходим рекорд,— шепотом обращается Поречьев к Цорну.— Неудачи сказываются на уверенности.

Я вижу отражения огней в глазах певицы. Она растягивает слова блюза. Кто-то оправил свою печаль в музыку блюза. Табачный дым забавляется язычками свечей. Певица расхаживает с микрофоном. Ударник жонглирует палочками. В пестроте огней за окнами проносятся автомобили.

Я ошибся с тренировками, но неужели я обязан так жестоко расплачиваться?

Чувства мои — стая остервенелых псов. Злые чув-

ства. Обратни-чувства — я должен держать их на расстоянии. Подбираю и выставляю на защиту новые доводы...

Бывший легкоатлет объясняет, что ему пора домой. Я пожимаю руку старику. Седые подусники совсем незаметны на его желтоватом гладко выбритом лице. Певица почти обнажена в своей короткой юбке и прозрачной кофте. Она как резная фигура на носу древнего галеона. Ловлю себя на том, что люблюсь ею.

— Дожили. Поют в пляжных костюмах, — ворчит Поречьев.

— Ты хорошо спишь? — спрашиваю я Цорна.

— Больше четырех часов не выходит.

Певица спускается к нашему столу, в упор разглядывает меня.

— Приглянулся ей, — говорит Цорн.

— Эта пожилая девушка в твоём вкусе? — спрашиваю я.

Цорн усмехается.

— Bravo! — вежливо аплодирует господин Яурило.

Певица выставляет ноги. Они такие длинные и такие белые, будто из снега. Она прищелкивает пальцами и под ритм румбы перебирает ногами. В зале аплодируют. Ян Халонен целует ей руку. Она жеманно поводит плечами и возвращается на эстраду.

Ударник — рослый негр — вскакивает и что-то горланно выкрикивает, отбивая ладонями ритм. Парни из джаза подхватывают вопль. Негр прыгает на площадку и заходится в неистовой чечетке. У него худые и невероятно подвижные ноги. Вихрем развеваются фалды белого пиджака.

— Да ему цены нет! — кричит Иоахим.

Парни спускаются в зал и, обнявшись за плечи, танцуют. На эстрадке один контрабасист. Он вместо ударника отбивает ритм.

Ритм нарастает. Ударник протягивает руки и пост. Певица отбивает ритм на крышке рояля. Все эти парни из оркестра позабыли о публике и колдуют для себя. Они раскаляют публику откровенностью желаний.

Иоахим вскакивает и, смеясь, встает в круг. Ударник прыгает на сцену и рычит в микрофон. На его лице капли пота. Зал отбивает ритм. Поречьев неуверенно улыбается и что-то знаками объясняет Цорну.

Через пять минут оркестр чинно восседает на эстраде

ке. Белые куртки официантов мелькают в зале. Вспыхивают огоньки сигарет.

— За месяц это у нас в третий раз,— объясняет метрдотель.— Найдет на Луиса. Луис — это наш ударник. Никогда не знаешь, когда это случится, но он никого не оставит спокойным.

— Ему цены нет,— Иоахим прерывисто дышит, машет ударнику.

«Итак, первая стадия эксперимента фактически завершена,— думаю я.— В итоге я вне игры. Чтобы воспользоваться выводами, нужна новая жизнь. Я не способен на новые усилия. У меня теперь одна роль — зрителя. Что проку в расчетах?»

Поречьев приспускает узел галстука. Для него галстук — «овечья привязь».

— Опять рекорд! — Цорн барабанил пальцами по столу.— Только рекорд! Как же, разочаруете поклонников.

— Лопаюсь от счастья,— говорю я Цорну.

— И давно?— он откидывается к спинке стула.

Господин Яурило подмигивает мне и кивает на эстрадку. Я улыбаюсь.

— А вот с той минуты, когда увидел эту женщину,— говорю я.

Незаметно ощупываю свое лицо. Мне кажется, судорога перекашивает его. Сцепляю под столом руки. Душно! Невыносимо душно.

— Любите, когда вас обожают?— говорит Цорн тренеру.

Разве они не видят во мне боль? Разве у них нет глаз? Я озираюсь. Я отрешен от смысла чужих слов. Сколько вокруг безмятежных слов, а я глух!

Поречьев заказывает бифштекс. Он подвержен приступам болезненного аппетита — следствие голода военных лет. Он скрывает это, но не может преодолеть жадности. У меня же эта гора закусок, мясных и рыбных блюд вызывает отвращение. Всю жизнь я обязан держать свой вес.

Метрдотель ведет за собой группу пожилых мужчин. У них одинаковые галстуки.

— Тайная вечеря,— говорит Цорн.

«Усталость,— повторяю я про себя.— Та новая усталость. Не слушай ее — лжет! Ты же знаешь — все усталости лгут! Очнись! Не уходи в себя! Говори, смейся, пойми людей, постарайся понять...»

Кельнер просит автограф. Я расписываюсь.

— ...что вы, Макс Вольдемарович!— говорит Поречьев.— Она и кажется странной. Вы понимаете, что я подразумеваю?

— Рита редко трезва,— перебивает Поречьева Цорн.

— Рита?— спрашиваю я.

Цорн выкладывает табакерку, трубку: «Сколько знаю ее, столько она и пьет. А вот напиться стала недавно. Я познакомился с ней в магазине грампластинок Пихлаямки. Она тогда служила у этого сноба...»

— Очень красивая женщина,— говорю я.

— Уже тогда она была неизлечимо больна. Врачи настаивали, чтобы она не смела идти работать, когда кончила гимназию. Но она бедна, и у нее никого.—Цорн уминает табак в трубке. Прикуривает от свечи. Потом счищает ножом воск со скатерти.— Вот и все странности, Сергей Владимирович...

Бреннер перебивает Цорна. Норвежец Уго Бреннер — судья высшей международной квалификации. Колесит со мной по Финляндии. Для регистрации рекорда нужна тройка судей международной категории.

— Уго помнит, как ты в последнем подходе достал Роджерса,— переводит Цорн.— Ты заправил штангу, как бог.— И спрашивает:— Когда это было, Сергей?

— Девять лет назад,— говорю я.— На чемпионате в Гаване. Все решала последняя попытка.

— И выкрутился?

— Не нам проигрывать,— говорит Поречьев.

— Вы сильный,— переводит за Бреннером Цорн.— У вас такой потенциал! Но у вас закачены руки, поэтому здесь не фиксируете вес. Если бы вы...

— Знаем,— перебивает его Поречьев.— Скажи ему. Любой атлет, если загружен, работает в темповых упражнениях на грубую силу. Что объяснять? Мы решили не терять время на отдых и не прерывать тренировочный цикл.

— Послезавтра он добьется своего,— говорит Бреннер.

— Верно,— говорю я,— мне всегда везет. Переведи ему это, Максим.

Бреннер разгорячен выпивкой, говорит сбивчиво. Цорн вынужден переспрашивать. Бреннер лет тридцать судит на чемпионатах. Он очень корректно судит. Ему плевать на спортивные титулы и настроенные публики.

— Пресс Бежар никс гут!— запальчиво выкрикивает

Бреннер. Глаза у него в красных прожилках. На старческих щеках малиновый румянец.— Никс гут!— Бреннер стучит кулаком.

Клод Бежар — чемпион в полусреднем весе. В жиме поддает грудью и коленями. За счет этого фукса прибавляет к сумме килограммов пятнадцать. Если и Бреннер так считает, французу крышка. Судьи прихватят на первых подходах. И мне не жаль. Именно этими воровскими килограммами Клод «съел» Семена Карева в Чикаго. С Семеном мы тренировались пять лет. Теперь я даже не знаю, где он. Два раза ответил на мои письма — и замолк. А он четырнадцать лет таскал «железо», чтобы войти в сборную. Четыре раза был чемпионом мира. Первым сделал «серебряным» самого Мунтерса.

Чокаюсь с Бреннером.

— Тебя не прихватят,— замечает Поречьев.— Прешь в жиме одними лапами.

— К черту Бежар!— говорю я.— Не переводи, Максим. Пусть этот Бежар провалится!

Бреннер подсаживается к братьям Халоненам. Эвген наливает ему коньяк. Толь потирает подбородок и шурится. Певица недовольно притоптывает ногой. У нее длинные с изломом брови.

Я тыкаю вилкой в тарелку, пью молоко и заставляю себя жевать отбивную.

— А Пирсон что, лучше Бежара? — говорит Поречьев.— Еще как фуксует!

— Бреннер прав,— говорю я Цорну.— Я буду хорош. Я действительно устал. Результаты, рассчитанные на десять лет работы, я подготовил за полтора года. Ошалел от усталости.

— И Харкинс фуксовал,— говорит Поречьев.— И Кирк. Вот Торнтон работал, это да!

Цорн рассеянно слушает. Он коротко и часто затягивается. За дымом изменяются черты его лица.

— Философы считают мир стройным порядком вещей, Максим. Значит, зло тоже стройно и необходимо?

— Варварская терминология немецких философов отбила у меня охоту к философии,— отзывается Цорн.— Предпочитаю идти от практики: нет необходимости гадать, чего стоят слова...

Меня раздражает эта ресторанный волокита. Разве так надо вести себя накануне рекорда?

— Не даешь скучать своим мышцам!— запальчиво

говорит Иоахим.— Рекорд за глотку!— Он обращается ко мне по-французски. С трудом понимаю. Он очень плохо говорит.

— Бреннера хватит кандрашка от такой выпивки,— говорит Поречьев.— Везде поддает.

— Ночью прилетает Бэкстон.— Цорн смотрит на меня.— Я правильно запомнил фамилию?

— Бэкстон?!— Поречьев качает головой.— Ничего лучше не придумали. А зачем?

— Толь настоял,— говорит Цорн.— Были другие кандидатуры.

Господин Яурило стучит ножом по тарелке. Аальтонен поднимает рюмку: «За русских гостей!» У него сочный баритон. Он наклоняется и чокается с братьями Халоненами.

Эрки Халонен владеет сети радиомагазинов. В рекламных целях финансирует финскую часть нашего турне. Все молча поднимаются и пьют. Цорн не шевелится. Не знаю, мешает ли ему протез, но он сосет свою трубку и поглядывает на нас снизу.

— Яурило оказал тебе честь,— говорит Цорн.— Он на сутки отложил выезд на охоту. Надо ценить, милый чемпион.

— Везет — продолжайте!— энергично говорит Аальтонен мне.— Не везет — все равно продолжайте!— Рубиновая заколка на его галстук наливается густым темным соком. Цорн не заставляет ждать с переводом.

Сколько я помню Бэкстона, он всегда мошенничает за судейским пультом. Ему все равно, как я поднимаю «железо». В любом спорном случае врубает красный свет. Харкинс однажды вылил ему за галстук бутылку пива. Тогда Бэкстон не засчитал мне попытку в рывке. Я сработал чисто, а Бэкстон, как всегда, придрался. Харкинс прижал Бэкстона на банкете. От Харкинса и не то слышали...

Я пью свой апельсиновый напиток. Это снова развлекает моих хозяев. Особенно много смеется господин Яурило. Кельнер меняет свечи. Оркестр наигрывает танго. Пары на площадке почти не шевелятся. Певица, закрыв глаза, нашептывает в микрофон. Гаснет свет. Вспоминаю Париж, Лион, Тампере, гостиницы, рестораны, речи и вид новенькой штанги на помосте, потом — Генри Росту, Кейта Роджерса, Поля Сазо... Их я тоже поочередно выставил из спорта. Пожалуй, один Бен Харкинс пы-

тался постоять за себя. Пришлось повозиться на трех чемпионатах...

Поль Сазо имел шансы на мировой рекорд в толчковом упражнении. Сазо старше меня лет на восемь. На чемпионате в Москве Сазо попросил не трогать рекорд, подождать. Он остановил меня в коридоре, когда я шел на помост. Я всегда удивлялся, как он поднимает «железо». Настоящих мышц у него не было. Но я знал, что он очень много тренируется и в последние месяцы у него были почечные колики. Я обещал подождать полгода, а через полчаса перекрыл рекорд на семь с половиной килограммов. В азарте я не помнил себя.

После я столкнулся с Сазо в коридоре гостиницы «Метрополь». Мы с Сашкой Каменевым и массажистом отпраздновали победу. Сашка тоже тогда установил рекорд. Он познакомил меня с Ольгой. Я рассказывал Ольге о Париже, пересыпал свою речь французскими словечками, читал стихи. Сазо замер, когда увидел меня. Несколькими мгновений он не знал, как поступить. В его глазах не было ненависти, но лучше бы не видеть их. Ведь я обещал не трогать рекорд. И ничего не было бы, если бы я подождал. Зато у Сазо могла иначе сложиться жизнь. Для рекордсмена мира, да еще в самой тяжелой весовой категории, всегда есть надежда лучше устроиться. Больше я не видел Сазо...

Альберт Толь через Цорна расспрашивает Поречьева о моих тренировках и Пирсоне.

«Пирсон, Ложье, молодой Густав Зоммер и этот толстяк Альварато — все сыты моей силой, — раздумываю я. — Ребята что надо! Упрямые ребята».

Поречьев рассказывает о моих тягах. Зря! Такие тяги dokonают кого угодно. Они же ничего не знают о последствиях экстремальных тренировок. Сначала надо все это понять...

Певица расхаживает с микрофоном. Локоны прикрывают белые плечи. Странно: белая ночь, белые плечи, белые фраки джазистов — все белое, белое...

Цорн теребит меня за руку:

— Да послушай же! — И переводит: — Эвген послезавтра тоже работает. Он и Ян прикроют тебя. Ребята желают удачи.

Эвген поднимает бокал. Там тоже апельсиновый сок...

Значит, я смогу толком размяться? Отлично! Между

подходами приведу себя в порядок, отдышусь. Смогу отдохнуть больше трех контрольных минут. Когда дело идет о рекорде, это не мелочь.

— Спасибо!— говорю я.— Спасибо, ребята!

Эвген обычно работает молча и спокойно. Ян согласен на любой вес, если вдруг появляется надежда. Гибкость возмещает ему недостаток силы. Я сам видел, как в «низком седе» он задевал ягодицами помост! Он постоянно рискует коленными суставами. Но может быть, они у него так устроены и с ними никогда ничего не случится? Выступает же он до сих пор.

Эвген показывает ладони. Там короста из мозолей. Он не хвастает. Это вроде пароля. Я киваю и показываю свои.

Ян смеется. Он, кажется, обманул брата и хлебнул виски. У него иной взгляд на спорт и жизнь.

Я кладу руку на плечо Поречьеву:

— Это точно — раньше, чем через двенадцать дней, «пик» недопустимо повторять. В серии этих «пиков» не должно быть больше пяти. Уже шесть недопустимы. Цикл восстановления между «пиками» следует выдерживать предельно строго. Лучше не доработать. Мы проверили себя на срывах. Хватит!

Поречьев ухмыляется:

— Жокей начинает прилично ездить, когда ему пора на покой. Мы достаточно знаем. Я вообще против экспериментов! Святым тебя за твой труд не сделают. Давай беречь, а не разбазаривать силу.

-- Кажется, это банкет последний,— говорю я.— Обалдел от такой светской жизни.

— Билеты на самолет у меня. Переночуем после соревнований и домой.

— Будешь переводить Мальцана?— спрашиваю я Цорна.

Он пожимает плечами:

— Без переводов не проживу.

Кельнер подает карточку вин и рисунок коровьей туши. Я должен указать кусок по вкусу.

— Банкет сызнава?— спрашиваю я.

— Аальтонен жаждет угостить.— Цорн пожимает плечами.— Он сказал, что ты недостаточно закусил.

Передаю рисунок туши Поречьеву. Он уверенно называет номера. Цорн заказывает вино. Ян Халонен отплясывает твист. Господин Яурило подсаживается к Аальто-

нени. Ян что-то шепчет своей партнерше. Она кладет руки ему на плечи. Он украдкой целует их.

— У тебя все наоборот,— говорит Поречьев.— Люди работают, чтобы жить. А ты?..

— С каких это пор вы стали так рассуждать?

— Как тебе последний сборник Гвидо Виллари?— спрашивает меня Цорн.

— Не слышал о нем, Максим.

Цорн прихлебывает вино:

— Верно подмечено: у каждого могучего человека есть последователи, но его биографию всегда пишет Иуда...

Мозг навязчиво подсовывает стих, прочитанный вчера Цорном в самолете: «Побежденный, но ставший сильнее, чем был...» Разве я побежден? С чего я взял? Послезавтра у меня двенадцать попыток!..

Аальтонену приносят сигары. Он угощает гостей. Сигары «Дипломат» — каждая в металлической упаковке. Весело рокошет баритон Аальтонена. Он ест мало, но поддерживает все тосты.

— Слушай, Максим,— говорю я и ловлю себя на том, что говорю громко, возбужденно,— бытие математично, а значит, математичны и бесконечные частности бытия. Только в области чувств математика нечто гораздо более сложное, но это все равно закономерности, строгая обусловленность...

Цорн ставит бокал и удивленно смотрит на меня.

— ...Вся красота мира из стройных формул. Весь мировой процесс математичен. Он лишь дробится на бесконечности частного. Однако все частное тоже строго математично. Ты знаешь, мозг без власти доводов, без логики мышления — уже больной. Такой мозг уже ненадежен. Случай может опрокинуть его. Большой и злой случай может сделать мозг дьяволом или предателем... Разве математика не стремление выразить прекрасное в его наиболее чистом и освобожденном виде? Если разуметь под математичностью кратчайшие и самые точные решения, то искусство исходит из тех же принципов. Жизнь развивается из тех же принципов. И сама гармония возникает из противоречий, из непримиримости этих противоречий. Гармонию созидают противоположности. Так зачем же бежим от боли? Зло не подавляюще. Мы в себе вынашиваем новые миры. Огромные миры нового...

Цорн больше не переводит, слушает только меня.

Возможно, боль понуждает меня к преувеличениям.

Прошлое вдруг приходит в этот зал. Мое прошлое — тренировки и поединки. Четыре года назад в Москве я едва не проиграл болгарину Ивану Добреву. О турнире меня предупредили месяца за три. Мы с Поречьевым решили не изменять тренировки: через пять месяцев на чемпионате мира меня ждали молодой Бэллард и Харкинс. Упрямый до безрассудства Харкинс! Я так и прозвал его — Бешеный. Наибольшая сила нужна была для схватки с ним. Тогда я еще не успел накормить молодого Бэлларда своими победами и рекордами, и он лез за мной на любые веса.

До какой степени я был заезжен, почувствовал лишь на разминке за кулисами, когда уже ничего нельзя было изменить. Тренировки отняли силу. Вернуть ее в тот момент я не мог.

Я выдавливал штангу ватными руками. И опоры не было — спина юлила.

Я понял, что очень плох, а в рывке и толчковом упражнении мне будет еще хуже: усталость на темповых упражнениях сказывается в гораздо большей степени. Я думал об этом, когда шел с помоста после первой попытки в жиме. Выход был. Сомнительный, но все же выход, если, конечно, повезет. Я должен в жиме набрать такой запас, который при неудаче в рывке и толчке все же обеспечит преимущество. Жим меньше страдает от тренировочных перегрузок. И я поставил на него.

Я прибавил к весу двадцать пять килограммов. У Поречьева отвисла челюсть, когда я заявил об этом судьей при участниках. Этот вес превращал всех в зрителей, кроме меня. Меньший вес я заказать не мог, сохранялся риск проигрыша по сумме троеборья. Теперь, когда штанга была на двадцать пять килограммов тяжелее, важно было повыше зацепить ее на грудь. Тогда легче встать из «седа» и принять выгодный старт.

Я почувствовал, как в подрыве не доработала спина. Мышцы натянулись — в одно мгновение я услышал все мышцы. Движение затухало. Вес не выходил в точку траектории, где обеспечивался уход. Ничего не оставалось, как нырнуть под гриф. Вес завис впереди на кистях. Я дышал хрипло, на крик. Я заставлял себя тащить штангу вверх. Нельзя было терять ни секунды. Я слабел.

Я распрямился, но преодолеть жгучесть натяжения от паха до груди не смог. Во мне будто застряла громадная

пружина: очень твердая, жгучая. Я почувствовал, вот-вот клюну корпусом и сломаюсь.

И я выронил штангу. Пол, вздрогнув, поднял меня. Я стал очень легким. Я будто полетел вверх. Я с трудом удержался на ногах.

Усталость тренировок ржавчиной засорила мышцы. Беззаботно улыбаясь, я вернулся с помоста. Я смеялся и что-то болтал. Я должен был играть. Сонливая тяжесть давила на меня.

Я болтал с друзьями, Поречьевым, а сам искал правильное решение. В чем оно, я сообразил скоро. Точностью движений уменьшить напряжение. Да, только так! И не слушать тяжесть — выполнять упражнение, как на уроке.

Все полагали, будто я в отличной форме, если позволяю себе скачки по двадцать пять килограммов, — прием очень редкий в тяжелой атлетике — и скорее всего стану пробовать рекорды. Я делал вид, что именно так и будет.

Предельные рычаги нарушают привычную схему. Дополнительные рычаги из-за искажения траектории увеличивают тяжесть. Всего этого следовало избежать. Отрешиться от всех чувств, не верить тяжести, превратиться в ритм, ритмично сыграть на вынужденно пониженных скоростях, чтобы одна группа мышц ритмично передавала усилие другой, и все вместе наращивали усилие! Когда штанга начнет тяжелеть, не слушать ее и по-прежнему не отпускать от себя, обтекая гриф корпусом! Чем ближе к грифу, тем меньше опасные рычаги!

В последней попытке я не соразмерил усилие. Гриф завалился на шею и перекрыл вены. Я балансировал ногами, чтобы удержать пол. В этих кровавых сумерках важно было не потерять баланс. Штанга лишила возможности дышать. Любая задержка в таком положении увеличивает риск потери сознания.

Ноги глубже и глубже увязали в досках помоста. Я не видел судей, зала и ламп. Я ловил ногами равновесие и старательно продвигал вес...

В общем-то я был приучен к такой работе. Обычный режим работы на закрытом дыхании. Знал его до мельчайших подробностей. Все ощущения были знакомы, даже шоковые. Тренировки с предельными весами прояснили на этот счет. Главное — уложиться в считанные мгновения до того, как наступит шок.

Я всматривался в этот мир вспышек, треска сухожи-

лий, гудения мускулов и крови, фиксируя степени напряжения, переключения напряжения, исправляя все неточности тысячами других малых напряжений. Я ложился в мир напряжения, где все было известно, во всяком случае не ново. И я гнал по нему вес.

В жгучих сумерках я уже видел ту точку! Я должен был преодолеть участок, где мышцы передают усилие другим мышцам. Но эта другая группа мышц в данном положении не может развить предельную силу. Наивыгоднейшее положение для нее еще впереди. И если скорость недостаточна, вес застрянет.

Я видел ту точку, узнавал эти напряжения. Я узнавал цвет, жар, стон. Я разворачивал мышцы, подкладывал мышцы и продвигал вес, продвигал..

Стремительно изменялось давление на руки. Проскочить! Уйти спиной и отыграть несколько сантиметров! Но главное руки, руки!..

Я был оглушен мышцами. Они выкатывали вес в реве и натяжениях. Штанга ползла где-то на уровне моего лба.

Я слабел, теряя сознание, но все в моей машине было добротнo налажено. Все подчинялось моим командам. Я проваливался в забытье, а мышцы продолжали гнать вес. Теперь все зависело от того, что случится раньше: потеряю сознание, или штанга пробьется вверх и судья даст команду: «Опустить!» Эту блаженную команду победы!..

Миг, когда замкнулись лопатки на моей спине, означал только одно: я опередил шок! Как поступать дальше, я тоже знал. Я умел ориентироваться в этой мгле. Команду судьи я не рассчитывал услышать. Я про себя вымерил секунды фиксации и бросил штангу.

Но как уйти, не упав?! Я ослеп, я отчаянно удерживал равновесие. Я не видел судейских ламп, хотя они вспыхнули буквально под носом.

Я стопами слушал доски помоста. Я дышал жадно и часто. Эти секунды свободы должны были вернуть сознание. Я был неподвижен. Я знал, что будет и как вести себя. Я твердил: «Стоять! Стоять!..» Улыбка стыла на губах.

А потом ноги начали оживать. И я вернулся в мир тяжестью своего тела. Я почувствовал себя всего. И сразу увидел все: цвет, вспышки, зал, людей. И на меня обрушился рев.

Я разжал зубы и засмеялся: победа! Сердце колотилось часто и громко. Громче всего был иступленный ритм сердца.

Я еще ловил ногами равновесие, но с помоста уходил ровно и с нарочитой небрежностью...

Я реализовал свой шанс.

Через двадцать минут Поречьев поднял меня на разминку к рывку. И я убедился, как я плох.

Какой характер примет турнирная борьба, я уже знал. На разминке я старался всеми доступными средствами вызвать нервное возбуждение.

Я буквально подкараулил последний подход Добрева. Я прибавил к штанге всего два с половиной килограмма. Этот рывок был много ниже моих возможностей, но тогда это было все, на что я способен. Я вложил в усилие. Изящный и стремительный рывок! Штанга выкатила на прямые руки.

Зал обожал меня. Зал восхищался. И только я знал, что уже следующую вес собьет меня с ног.

Я демонстративно отказался от других попыток: скучно, разве это борьба? Я играл свою роль мастерски — никто не усомнился в искренности...

Конечно, можно было и уступить болгарину, не изнурять себя, но чемпионат мира, Харкинс?! Поражениями соперников всегда крепнут мышцы. Я не смел давать подобное преимущество Харкинсу. Зачем? Неудача открыла бы, в каких измерениях моя сила. Кроме того, я получал шанс провести конкурентов. Здесь с Добревым я темнил, прятал силу, а я силен, очень силен — я внашал это всем...

В толчковом упражнении я лишь повторил последний подход Добрева. Я вышел к штанге, поигрывая мускулами. Я выдохся. Я был совсем плох. Я уже ни на что не годился. Мое счастье, что Добрев не Бешеный Харкинс, который всегда мог из себя выдавить новую силу и заставить соперника крупно платить за любой успех. Добрев клюнул на мое притворство и не стал соревноваться...

Но счет за эту победу был не столь уж малый. Много месяцев мне пришлось вышибать из себя страх перед заурядными весами. Штанга внезапно прибавила в весе. Двести килограммов весили как двести десять. Множество повторений я восстанавливал координацию. Сомнения въелись в каждый элемент...

Смотрю на часы. До утра еще очень далеко. Целая жизнь. Жизнь прошлая и будущая...

Аальтонен произносит прощальную речь. Цорн гасит свечу. На стол передо мной ложатся гвоздики.

42

Поречьев с Аальтоненом и Яурило уехал в гостиницу. Мы с Цорном решили вернуться пешком. Линии фонарей обозначают площади, улицы, скверы. Окна черны. В неровностях стекольных наплывов рваные отражения огней.

— ...Для меня спорт интимен,— объясняю я.— Это мое, это сокровенное. И конечно, ты прав! Когда в интимное суют нос болельщики, знатоки, газетчики или просто сплетники, это оскорбляет. Но спорт для публики. Мы своего рода всеобщая собственность. Ты верно сказал о турне. Много срывов? А как быть? Я должен привыкнуть к рекордному весу.

— Весна большая,— бормочет Цорн.

— Рекорд выгребает все, но это лишь часть цены, которую мы платим на тренировках. На соревнованиях легче. К ним ты отдохнул, тебя электризует публика, а там год за годом один на один...

Вокруг фонарей радужные шары света. Шуршит дождик. Город смиряют отсветы реклам, плеск воды и душиноватые испарения. Город проваливается в свои сны.

— Рите нельзя помочь, Максим? Неужели обречена?

— «Почему ты меня оставил?»— так сказал Христос. Нет, я ее не оставил. Теперь любые деньги бессильны. Поздно,— говорит Цорн.— Ты ошибаешься, если думаешь, что я способен бросить женщину из-за того, что она больна. Я ее не бросал.

Я вдруг замечаю нарочитую стройность его осанки, сейчас он горбится и приволакивает ногу.

— Как прижимистый буржуа, я откладывал серебряные и медные деньги. Я рассчитывал написать исследование о поэзии нашего времени, это пять-шесть лет независимой жизни. Жизни для книги. Совмещать этот труд с какой-либо другой работой я не могу. Теперь от сбережений ни гроша. Даже гонорары за переводы съели врачи, лекарства, санатории. Ателье заложено. А каково название — ателье! Почти салон!..— И внезапно резко, зло говорит:— Но ей ничто не может помочь.

Лужи под жирной огненной пленкой отражений.

Улицы вымерли. Наши голоса звучат одиноко и громко.

— А как с переводами Виллари?— спрашиваю я.

— Издатель согласен только на «Стансы» Артура Мальцана. Все хотят читать Артура Мальцана... Забавные вкусы. Чтят своих палачей! Монументы, названия площадей, главы школьных учебников, романы, поэмы и даже детские имена в их честь...— Цорн останавливается, переводит дыхание. Вытирает платком лицо.— Мальцан... У этого лауреата в избытке не только обычной порнографии, но и дрянного вкуса. Все эти рыцари шариковых ручек, даже самые искусные, лишь угадывают настроение. Они довоспитывают публику, публика их. Заказное и коммерческое искусство истребляют подлинный артистизм, искренность, художественность. Против честного художника все: государство, религия, вкусы этих господ! Это вечная борьба с сатаной. Всегда неравная борьба! Кстати, любопытная тема для исследования о том, какое место занимает в так называемом искусстве настоящее искусство... Мальцан и поэзия — что за ирония! В поэзии концентрация чувств достигает предельного накала. Поэзия и есть концентрация чувств. Не рифмачество, а концентрация чувств в ритмах. Жаль, ты не читал Хенриксона. Я переведу несколько стихотворений для тебя. Он вне их школ, традиций, успеха. Пишет без примеривания к образцам. Когда читаешь, не задумываешься о технических приемах. Над тобой его чувства, ритмы, мысли... Но Хенриксон всего лишь Хенриксон. Одинокий бездомный человек. Ему не хватает средств даже для сносного существования. Я позвал его. Ретушер мне не нужен. Плачу ему столько, сколько сам зарабатываю. Теперь должен уволить. Еще смогу помогать Рите, ну месяц-другой, и конец комедии!.. Но шиш они получают другого Цорна! Если человек чего-то стоит, то в определенных ситуациях он всегда тот же. Он такой, как все, кто стоит чего-то. Нужда — старая моя приятельница.— Цорн приспускает галстук и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки.— Скажи, почему Рита должна умереть?! Почему?! В чем ее вина?! Почему я завтра выставлю Гуго? Почему у Мальцанов дома, врачи, у них все-все? Почему я должен расхотеть свою жизнь на переводы ремесленников!

На асфальте смешиваются синеватые, зеленые, красные огни рекламы. Цорн вытягивает руку и рассматривает капельки дождя.

Огни полируют спящие автомобили. Ручьи сливают огни в канализационные люки.

— Ненавижу дни, когда сутки становятся короче,— говорит Цорн. Он застегивает воротник, поправляет галстук. Показывает на особняк за чугунной решеткой:— Барокко. Это искусство кипит страстью. Вглядишься, разве бесплодна красота этого искусства? Посмотри внимательнее. Еще посмотри. Ты слышишь? Искусство, как и добро, преобразует душу.

— Добро без цели слишком маленький алмаз — так, по-моему, сказал Анатолий Франс. Все красоты мира не для меня, Максим. Послезавтра я должен снять рекорд. Это очень важно... для меня. Я должен его снять, даже если у меня нет сил...

— Победа, рекорд, сила!— Цорн поднимает воротник плаща.— Мутит от твоих заклинаний. Неужели не понимаешь, что победа — это из разряда подлостей, это рядом с насилием. Здесь умение быть сильным — самое почитаемое и ценное. Неужели самому не противно? Без этих побед каждый посчитает тебя мразью или в лучшем случае пустым местом. Это их кодекс чести! Подумай, кто ты здесь без этих потуг на победу? Как просто: победитель есть достойный человек! Ценность твоя в победах, в насилиях победами. Топчи всех! Лезь, лезь!.. Ты отравил свою кровь победами. Ты тень самого себя. В твоих победах чужие желания, чужая воля. Ты мул, ты верблюд! На твоих плечах ярмо побед! Да пойми, людей погоняют победами. Мы даже не ведаем, что есть жизнь. Мы потеряли ее. Мы все умеем, кроме одного — жить неподдельной жизнью. Презираю силу! Презираю искусство побед! Отказываюсь играть в это мастерство подлостей. Быть сильным, стремиться к силе — значит отнимать еду, кров, покой у другого. Признать подлость за божество? Но сильным быть позволительно, чтобы полнее ощутить жизнь, раствориться с нею...

У меня перехватывает дыхание, я шепчу:

— Что ты, Максим? Через победы путь к жизни. Единственный! Иначе подлость, подлости...

Цорн издевательски покачивает головой:

— Софизмы, милейший чемпион! Блажь! Притчи!

— Да пойми, Максим! Вся жизнь из побед! Наше дыхание, кровь — из побед! Мы дышим победами! В нас тепло всех побед!— Я не могу говорить. Я хватаю его за отвороты плаща и выкрикиваю ему в лицо. Меня знобит

от возбуждения. Я притягиваю его вплотную. Чувствую его судорожное напряжение. Он очень легок.

— Побеждать,— хрипит Цорн, он даже не пытается вырваться,— значит служить денежному выражению человека. Поклоняться его званию, чинам, насилию. Поклоняться умению делать карьеры. А значит, самого себя произвести в лакеи, в цепного пса, в урну для плевков...

Вся сцена представляется мне вдруг нелепой. Я отпускаю Цорна.

— Ничего у тебя не выйдет, Максим,— говорю я.— Не оскорбишь. Ты слеп. Понимаешь, слеп!

— Ты как плевок в урне,— раздельно выговаривает Цорн. Он кажется мне вылощенным, очень прямым и острым. Стеклянно острым.— Наслаждаешься силой, убеждаешь силой. Ты прислуживаешь силе. Ты с головы до пят — самовлюбленная сила. Вся твоя правда в том, что тебе нужен еще один триумф. Ну, ну...

— Максим, разве боль единственный аргумент? Тебя дрессировали, очень больно дрессировали. Тебя, наконец, выдрессировали. Ты понял самое важное?.. Нет, тебя просто хорошо выдрессировали. Ты как боксерская груша. Она только для битья. Тебя дрессировали нуждой, страхами, унижением, болями и хамством. И теперь ты выдумываешь другую жизнь. И ты согласен жрать помои. Тебя славно натаскали. Ты их уже жрешь. Тебя отучили от побед ради помоев и для помоев... Тебя будут омыwać дожди, согревать солнце, тебе будет шуметь лес и вот этот ветерок, но ты будешь тварью. Тварь это тот, кто согласен идти в упряжи. Много же ты сочинил оправданий! Сколько слов!

— Тебе бы в проповедники. Разит поповщиной!..

— А у тебя, похоже, день непримиримости.

— Эх ты, чемпион!.. Оставь-ка свою философию ребячества! Смешно... Разве это вера?.. Смешно...

— Презираю тех, кто умеет только страдать! Тошнит от таких! Не жаль их. Ни во что не ставлю страдание, если оно только страдание. И пахнет от всего этого паразитизмом. Страдают! Только страдают! А дорогу пробьют другие? Так?

— Ты ведешь грубое доказательство. Спустись на землю, милейший.

— Одно скажу: если бы я следовал подобным советам, вряд ли имел удовольствие или... неудовольствие вес-

ти этот разговор. Я бы давно потерял жизнь. Не понимаешь?.. Неужели ты думаешь, что все только в рекордах? Мне мало мышц?.. Знаешь, что такое одиночество? Это когда твое дело чуждо другим. Здесь беды начинают свой отсчет...

— Слова Декарта, Гассенди? Или Верраса, Мабли, Дезами? Где-то читал...— Цорн достает трубку.— Мы ищем объяснений буквально всему. А зачем? Мы даже перед собой оправдываемся за то, что живем. Мы живем и оправдываемся. А вот жить — это единственное, что нужно делать без объяснений. В этом Хенриксон прав. Именно это я и не умею. По-моему, не умеешь и ты...— Он шарит по карманам: — Черт, где спички? — Голос у него безразлично-спокойный.

— Максим, знаешь, какое мужество высшее?.. Жизнь любить. Любить, когда нет сил любить, когда усталость выше правды...

43

Разглядываю себя в зеркало. Осунулся. Белки глаз желтоваты.

«Плесневею в сомнениях,— думаю я.— Придираюсь к любой мелочи, ищу в предметах и словах скрытый смысл, доказательства фатального исхода «болезни».

Не спеша вытираюсь полотенцем. Спать не хочу. Что делать с ночью?..

Дома я привык слушать музыку вот в такие часы. К этому приучила бессонница. Ударные тренировки настолько возбуждали, что я слишком часто не мог заснуть до утра. Я включал проигрыватель так, чтобы не мешать соседям. В ночной пустоте музыка начинала звучать необыкновенно.

Выключаю свет в душевой. Иду в комнату, запахиваю шторы. Прижимаюсь к ней лицом. Как же я устал! Как устал! Штора пахнет студеным воздухом.

Включаю настольную лампу. Ложусь на диван. Открываю томик Тютчева. Цорн подарил его на второй день знакомства.

...Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты...

В этих словах тоже нет забвения.

«Спорт не брошу,— думаю я.— Значит, не исключены срывы. Значит, надо уметь управлять собой и в таком состоянии. Оно естественно, оно следствие перегрузок, опыта над собой».

С гулом проносятся автомобили. И снова накатывается тишина.

«Мне тридцать три,— размышляю я,— но где эти тридцать три? Не могу их взять, не могу увидеть. Что здесь реального? Каждый миг уносит реальность. Что значит моя муравьиная возня? Мир глух, убежденно глух...»

Выключаю свет. Руки дрожат. Опять нервная болтанка!

«Насколько же меня хватит?— думаю я.— Неужели я обречен?...» Смутным прямоугольником проступает на шторах ночь. С нею в комнату вступают тени деревьев, домов и моя тоска. Бесшумный марш.

Тени стерегут. Каждый предмет поразительно четок. Зловеще четок. Ночь преувеличивает чувства.

«Я отравлен тренировками, но это пройдет, это всего лишь эпизод из болей и страхов». Я выдумываю все новые и новые слова. Шепчу их себе: «Я не знал такой боли. Это непривычно — потому и не могу взять себя в руки. Я просто растерялся. Я не болен, а растерялся...»

Я ругаю себя за то, что не купил лекарства, отнял у себя покой. Отдал бы сейчас все за то, чтобы заснуть.

«На какой же рекорд я рассчитываю,— раздумываю я,— если в мышцах чрезмерная усталость и я даже не могу принудить себя к отдыху? Мозг все перепутал, лишает покоя, не бережет мышцы...»

Слова калечат, мучают меня. Вождеденный покой ночи.

«Я здоров, здоров!— твержу я.— Я в своем номере. Я должен отдохнуть и снять рекорд. Я уже выступал сотни раз. Пусть не засну. Ведь выступал без сна! Успокойся, слышишь! Лежи, лежи!.. Видишь, смирные сумерки, скука номера, тишина...»

Закрываю глаза. Боюсь открыть глаза.

Ощупываю мускулы. Массажиста бы! Обогреть их, выходить, растворить усталости.

Найти бы разгадку бесконечности воли, неутомимости воли...

Кружится голова. Отвратительно кружится. «Чертова болтанка», — шепчу я.

Изменения во мне необратимы. Я искалечен. Впереди падение!

44

Пусть ограниченно, но мой эксперимент расширяет опыт людей, следовательно, служит жизни. Мое познание станет основой для принятия каких-то новых решений — я в этом убежден.

Для меня высшая идея — расход сил в той области, где я могу и чувствую себя способным вести борьбу. В основе воли — инстинкт жизни, обработанный разумом. Направление воли может противоречить инстинкту жизни. Противоречить во имя укрепления инстинкта жизни общества. В эксперименте для меня был существенный риск, но эксперимент дает совершенно новые сведения о возможности организма.

Получить эти данные мог только я. Здесь мое личное смыкается с общественным. Поэтому я действовал, убежденный в необходимости своего дела для всех. Я чувствовал себя способным к той борьбе, которую начал, — это главное. Я чувствую свою готовность к этой борьбе. Именно потому я не могу действовать и жить иначе, как только вести свое дело и быть им. Я уже обязан вести себя так.

Мой опыт ограничен. Ошибки неизбежны. Через ошибки я нащупываю и выявляю закономерности. Ошибки на предельном уровне физической нагрузки потрясают организм. Эти ошибки непрерывно суммируются, ибо я продвигаюсь вперед. Я не успеваю оправляться от физических потрясений. Особенность опыта требует непрерывности работы.

Эксперимент требует работы с наибольшей нервной концентрацией, предельным вниманием и контролем, то есть с чрезмерным расходом нервной энергии. Эту экстремную усталость не могут просто смыть сон и лекарства. Годами я переполнялся этой усталостью.

Будущая тренировка по методу экстремальных факторов должна стать точным и безболезненным процессом. Но для этого нужно было пробовать и искать.

Я вынужден брать на пробу жизнь, чтобы возвращать себя из ошибок, исключать ошибки и пробиваться к цели. Борьба есть прежде всего преодоление своего

«я». Эта борьба сосредотачивается в мышлении. Мужеству физических испытаний предшествует мужество мышления.

Экстремный поиск обрекает мою жизнь на постоянную встречу со множеством неизвестного. На столкновение с этим неизвестным. На преодоление неизвестного, и прежде всего в самом себе.

45

За спиной шуршит дверь-вертушка. Окунаюсь в сырой городской сумрак. Воздух пахнет углем.

Снова я в ночном дозоре, в привычной пустоте улиц. Презираю себя за эту ночную беготню, но ничего не могу поделать. Стараюсь усталостью сморить возбуждение. Безглазые ночи. Слепые ночи. Ночи без надежд и покоя. Мерный исход жизней. Притворство ночи.

«Где любовь, как пепел в урнах, спит», — вспоминаю я стих, прочитанный Цорном. Снимаю шляпу и тру виски. Теперь мне всегда не хватает воздуха. Водяная пыль кропит щеки, губы, лоб. Волосы отсыревают влагой.

Иду торопливо. Красным, синим, зеленым пламенем выведены на фасадах домов желания людей: «Мясо», «Молоко», «Пиво»...

Понять себя! Понять! Во мне завязывается новая сила — только и всего! Боль свидетельствует о новой силе. И я найду отрицания болезни. Докажу лживость болезни. Докажу на помосте! Нервные перегрузки экстремальных тренировок требуют своей воли. Пусть публика сватает рекорд. Все отравы я должен смыть рекордом! Волей утвердить себя! Прочь сомнения! Прочь!..

Я нахлебучиваю шляпу. Застегиваю плащ на верхнюю пуговицу.

«Что моя жизнь прежде? — думаю я. — Годы преумножения силы. Риск ради силы. Вот правда без прикрас. Цорн не далек от истины. Стоит ли цель такой борьбы?..»

Я дрожу. Нервная лихорадка делает неутомимым. Я измотан, но спать не хочу. Я возбужден и легок, как перед решающей попыткой на чемпионате.

Бормочу: «Будем соблюдать чистоту риз!» Потом смеюсь. Даже себе лгу. Ведь я болен. Да, да, болен! Нечего бояться этого слова. Разве усталость многих лет не болезнь?! Разве тяжести, которые я поднимал в красивых залах, не оставляют следа?»

Я снова смеюсь: «Никто не неволил! До всего дошел сам! Жаден! Я подавился своей жадностью».

Прохожий косится. В ртутном освещении его русая борода кажется седой. Совершенно седой.

46

У гостиницы меня окликают. Я подхожу. Женщина в плаще. За отворотами плаща грубый белый свитер. В руке сигарета. В отблеске рекламы женщина кажется синей. Словно бесплотный призрак.

— Если угодно, я немного говорю по-французски, мадам.

Она кивает: «Мы знакомы, не правда ли?» С улыбкой курит, молчит. Она стоит спиной к фонарям у входа в гостиницу. Неровный свет рекламы смазывает черты ее лица.

— Чем обязан?— спрашиваю я.

— Вы, кажется, гуляете?

— Гулял.— И тогда я узнаю певицу из ресторана.

— А если еще погуляем?— Она бросает сигарету.

— Будет скучно.

— Я готова поскучать.

— А ночь? Не боитесь?

— С вами?

— Любите приключения?

— Я? Ну что вы! Окна моего номера на эту сторону. Часто вижу вас. А я тоже люблю прогулки. А вам можно так поздно гулять? Тренер будет недоволен.

— Очень мило с вашей стороны беспокоиться, мадам.

— В путь?— Она натягивает перчатки.

Мы долго идем молча. Я не пытаюсь быть любезным.

Меня не удивляет эта встреча. Уже отвык удивляться. Порой я даже забываю о ней.

Ночной Париж, Лион, Тампере, Оулу...— города теряют себя в моей памяти. Тревога в их улицах — это я помню. Везде тревога. Только тревога...

Она задевает меня плечом. Виновато улыбается. И это неожиданно волнует. Вижу ее глаза, излом бровей, сжатые губы. Почему-то с удовольствием замечаю, что на губах у нее нет краски. Спрашиваю: «Как вас зовут?..»

— Ингрид.

— Кто вы, мадам?

— Пою в ресторане.

— Зачем? У вас хороший голос. Он не для ресторана. Мне в тягость эта женщина. Я прибавляю шаг. Я хочу потерять в этой ночи все боли. Я осквернен мерзостями лихорадки. Мне трудно дышать. Губы мои лопаются. Я горю.

— Не называйте меня «мадам» и не говорите «вы».

— Вот как?

— Мне ничего от вас не надо. Я устала от работы. А ночью одной не совсем удобно гулять.

— Простите, мадам.

— Меня зовут Ингрид.

— Я не вежлив, простите.

Ингрид уверенно ведет меня по городу. Душа дождя зла. Он снова тупо затевает свою игру. Ингрид поднимает воротник.

— Сколько тебе лет?— спрашивает она.— Я буду говорить «ты».

— Тридцать три.

— Что ты сказал обо мне в ресторане?

— Я сказал, что ты похожа на сову. У тебя большие глаза. Сейчас — грустные.

— Спасибо.

— Нет, они очень красивые. Я тут ни при чем.

— Здесь не будем поворачивать. Пойдем вот на тот перекресток.

— Ты меня увидела в ресторане, да?

— Если человек по двадцать раз на день выходит на улицу, поневоле заметишь.

— В гостиницах все приходят и уходят — это основное занятие постояльцев. Наверное, ты увидела афишу?

— Ты в спорте ради афиш?

— А тебе нравится петь? Там петь?

— Я должна зарабатывать.

Страх преследует меня. Да, я всего лишь тень. Я теряю себя... Что нужно этой болтливой женщине?..

— ...здесь направо,— приходит ко мне издалека голос Ингрид.— Правда, удобное время для экскурсии?

— У вас славный ударник, Ингрид.

— Луис Пуэнтэ? Этот небожитель доконает мэтра. Но ребята привыкли, они умеют ему подыгрывать. Пуэнтэ могут прислать сто, двести долларов — и он не пошевелится. Думаю, он наплюет на тысячи, если не в настроении. А скажи, кто тот господин? Он сидел с тобой. Он курил трубку...

— Переводчик. У него здесь небольшая фотомастерская. Через два квартала вот по той улице.— Я показываю.

— Ты знаешь город?..

— Мы с ним в ладах.

Ингрид вызывающе хороша, но никто не пытается зацепить нас, как это водится с подвыпившими мужчинами, когда мы проходим мимо бара. Все невольно уступают дорогу, даже те, кто здорово навеселе. Я слишком выделяюсь. Люди рядом со мной кажутся подростками...

«Если опоздать с уходом хотя бы на долю секунды, штанга сразу тяжелеет. Именно это губит мои последние попытки. Я опаздываю с уходом, и штанга зависает впереди. В таком положении она весит больше, чем на ней дисков. Перед посылом я уже изжеван»...— мысленно я оплываю гриф всем телом. Гриф вздрагивает в ладонях.

— ...ты меня не видишь. Ты ничего не видишь. Ты все улицы превращаешь в пустыни?

— Какие пустыни, Ингрид?

— Ты же ничего не видишь и не слышишь.

— Почему же? Я вижу, например, как ты красива.

И тогда она берет меня под руку. Это особенное прикосновение. Я научился слышать молчание людей, улиц, вещей в комнатах. Смотрю на нее.

— Тебе нравится спорт, Ингрид?

— В нем слишком много от общей болезни: желания быть обманутым.

Снова усталость экстремальных тренировок репетирует отчаяние. Я как в шейной колодке.

— Зачем я тебе, Ингрид?

Я одинок в этом мире. Я все выдумал. Загнал себя. Отнял у себя силу, спорт, надежды. Да, став могучим, я одряхлел. Я обречен! Обречен!..

— Зачем ты пришла? Ты из армии спасения? Я ни в чем не нуждаюсь!

Я хочу остаться один. Мне слишком плохо. Никто ни о чем не должен догадываться. Меня злит эта женщина. Из-за нее должен притворяться.

Ингрид едва поспевает, ей трудно, но я не сбавляю шаг. Что ей до меня, этой певичке? Ей, обласканной похотью ресторанных героев?

— Вы разборчивы или у вас каждую ночь новые по-

путчики?— Я с неприязнью смотрю на ее локоны. Густую россыпь локонов. Все так глупо и ненужно.

— Скажи, что я продажная девка. Зайди в ресторан и пришли с мэтром чаевые. Ну, что же ты?!

Со стороны мы похожи на влюбленных. Во всяком случае, полицейский бросает нам: «Могли бы найти местечко...» Ухмыляясь, он уносит с собой запах дешевых сигарет и белобрысого добродушия. Ингрид переводит его слова. Она дрожит. Совсем рядом вижу ее глаза.

— Тебе плохо,— шепчет она.— Я это услышала. Помнишь, в зале я подошла? Нет, у тебя и в мыслях не было звать меня. Все эти часы — не только в ресторане — я шла за тобой. Ты не видел. Но я не могла оставить тебя одного.

— Сколько тебе лет, Ингрид?

— У совы нет возраста. Она всегда сова.

— Совы приносят несчастье.

— Да... Дуракам... А кто тот господин с бычьей шей — он сидел напротив тебя.

— Иоахим. Фамилия?.. В общем, бывший чемпион по борьбе.

— Он прислал записку: семьдесят пять долларов за удовольствие переспать с ним. Видишь, я немного стою...

— Китайцы в древней книге писали: красива, словно бессмертная... А это?— киваю я на тетради в ее сумке.

— Концерты Мендельсона.

— Сумка мешает? Дай понесу.

— Нет, тут петля для запыстья. Удобно, правда?

— Прости меня, Ингрид.

— Мой автомобиль,— она показывает на «ситроен» возле гостиницы.

— До свидания, Ингрид,— говорю я. Я провожаю ее к лифту. Вместо пожатия она гладит мою руку.

47

Эксперимент отчасти решил и другой очень важный вопрос: характер нагрузок за два-три месяца до соревнований, за две-три недели и за несколько дней. Теперь выводы позволят строить нагрузки надежно и вполне определено. День и час созревания наибольшей силы будет совпадать с моим выступлением. Я смогу предельно собирать силу. Рассчитывать на эту силу. Многолетний тренировочный труд не будет зависеть от ошибок и слу-

чайностей последних недель и даже дней накануне выступления.

Просто отдыхать перед соревнованиями нельзя. Уметь вывести себя из нагрузок — искусство, редкое искусство, до сих пор не поддающееся точному расчету. Сила предпочитает «объемные» тренировки. В то же время скорость в темповых упражнениях очень страдает от «объемных» тренировок. И сколько еще других взаимоисключающих требований, о которых я и не подозревал. В результате я выходил на помост перегруженным усталостями.

Я не знал, как сочетать выход из нагрузок к соревнованиям с работой на больших весах. Не знал, когда выходить из «объемных» тренировок, когда и на каком уровне начинать «интенсивные» тренировки, как поддерживать силу при «интенсивных» тренировках и вообще как переливать «объемные» тренировки в «интенсивные» и есть ли другие возможности. Теперь я смогу математически точно собрать силу к часу своего выступления.

Я выявил лишь кое-какие закономерности. Настоящая работа впереди. Но я знаю, как и что делать. Знаю направление поиска.

Конечно, я только шагнул в гармоничный мир силы. Только примерился. Да, отравляясь искаженной работой мозга, я смею жалеть о прерванном эксперименте. В первый и последний раз «экстрем», как я называю последствия экстремальных нагрузок, не лжет мне: разум — оправдательная причина жизни. Это и есть моя вера!

«Экстремальные координаты» — в них все иначе: свой пространственный масштаб, свои преобразования величин, изменения знаков процессов. Здесь все подчиняется своей логике. К сожалению, слишком поздно я это понял.

Я измерял движение усталостями тренировок, выраженных определенным количеством тонн. Я знал основные физические проявления нагрузок. Умел встречать их. И потому расшибся: мои представления в данном случае ничего не значили.

Утомления «пиковых» тренировок имеют качественно иной характер. В них нет и намек на сонливую физическую усталость. Экстремальная усталость дурманит, искажает восприятие. С каждой тренировкой нарастает скрытое возбуждение. Оно накапливается и вскоре уже питает самое себя: произвольный, неуправляемый процесс — результат нервного истощения.

Обратим ли этот процесс? Ведь с каждым часом мне

хуже. Я насыщаюсь бреднями и вымыслами переутомленного мозга. И теперь не мозговое истощение, а новая болезнь зреет в душе.

Жаль ли мне эти годы? Жаль ли жизнь, стертую на помостах? До сих пор в своих воспоминаниях я представляю себя только удобной мишенью для опытов.

Странный поединок с экстремальной усталостью. Я не волен нанести ответные удары. Я всего лишь одна огромная мишень. Чудовище непознанного стало моим палачом. Да, да, оно мой палач! Мне надо снести все! Сносить все! Экстремальная усталость уступит только упорному рассудку! Все бессильно и бесполезно, кроме воли! Надеяться только на себя. В этом поединке все зависит только от тебя. Все решит не столько твоя живучесть, сколько твои принципы.

Таким, как сейчас, я себя не знал. Я уже другой. Да, в этом все дело! Чтобы побеждать, надо становиться другим. Надо уметь расставаться с собой и ни о чем не жалеть. Надо уметь терять.

Не жалеть ни о чем — это правило, которое ты плохо усвоил. Пей свой воздух. И не скорби о потерянном. Когда ищут победы, — достойные победы всегда теряют. Но дышат своим воздухом...

Я лежу в постели и слушаю в наушник транзистор. Я очень осторожен с музыкой. Но музыкальное чувство Баха превосходно сгармонировано. Мудрость всегда гармония. Если такая музыка и бес, то выдрессированный, послушный бес. Бес мудрости и бес жизни...

48

Я проспал, наверное, около часа. Мне хорошо, а главное, очень спокойно.

Ночь ластится к стеклу. Белая северная ночь. Я просторен жизнью и спокоен. Я благодушествую. Вспоминаю концерт Баха. Эту музыку сочинили для меня. Глубокой ночью сыграли для меня. Я думаю об оркестре. О высоком строгом органе. О вздохах этого органа. О публике. О той легкости, с которой возвращаешься с такого концерта. О ночной Москве...

Я думаю об Ингрид. Странная. Как почувствовала мою боль? Мой принцип — не жаловаться, даже если очень плохо. Я умею владеть собой. Это не игра в мужество. Иначе я не смогу делать свое дело. Мое назначение

идти, пока могу идти. Я не приспособлен к другой жизни. Нет меня для другой жизни... Чем же выдал себя? Откуда эта женщина? Зачем наша встреча?

Лежу и вспоминаю ее лицо, походку, голос...

Музыка впрягает в воспоминания. Транзистор не скупится на музыку. Руки Ингрид прикасаются к моему лицу...

49

Стою у окна. Как длинна ночь! В номере недвижная стена дремлющего воздуха. Стекло отпотеваает моим дыханием. Рисую штангиста — это я с рекордным весом. Вес должен точно давить на позвонки. Усмехаюсь: когда-то зло заклинали рисунками. Я и в самом деле вроде заклинателя. Заклинаю судьбу. Заговариваю боли.

Бровастое лицо Пирсона оживает в памяти. Он ничем не болен, не болеет. Он сам похвалялся, что ни разу ничем не болел. Ему плевать на все, что со мной. Им всем плевать. Ждут меня.

Прижимаюсь щекой, ладонями к стеклу — холоду дождей, одиночеству. «Странная эта Ингрид», — вспоминаю я.

50

Последняя книга, которую я листаю перед тем, как выключить лампу, — книга о декабристах.

В забытьи я вдруг представляю камеру Алексеевского равелина: стены, сырость. Внутренняя охрана обута в тапочки. Пытка тишиной.

За решеткой петербургское небо. Отнятое небо. Озабоченно топают крысы. С топчана смотрит человек. Он виновато улыбается — его руки и ноги в кандалах. Он не может поздороваться, как принято.

«Донесение следственной комиссии, всеподданнейший доклад»...

Свеча wpłyвает в камеру. Мы разглядываем друг друга. Я в трико и в своих любимых штангетках, расписанных именами соперников. Я не удивляюсь: знаю, что все это во сне.

Человек в сюртуке без эполет. Сюртук великоват для исхудалых плеч. Высокий форменный воротник в золоте галунов...

«По мнению его величества государя императора, тот, кто не раб, — бунтовщик, так где же нам быть?» — чер-

ным и далеким кажется мне этот голос. Голос, источенный могильными червями. Страсть этого голоса.

Свеча гаснет, и в оконце разгорается лунный рожок. Лицо человека мертво. Но глаза — не смею от них оторваться! Это не глаза раба... Но почему луна? Ведь был день. Я видел за оконцем серое небо...

С трудом прихожу в себя. Глаза человека светятся во мне. Сон! Чувства во сне ярче, безысходнее. Похмелье тренировок. Эксперимент сыграл со мной злую шутку. Экстремальная усталость ядовита, очень ядовита. Сны пытаются горечью красок. Хочу заснуть и боюсь... Слышу в коридоре шаги, голоса. Значит, уже утро. Закрываю глаза. Одурил от неспанных ночей.

Перебираю в памяти тренировки. Не думал, что цифры способны сделать человека бешеным. Вспоминаю цифры предельных нагрузок. В глазах доски помоста, нахмуренное лицо Поречева. Он навешивает новые диски...

Даже во сне слышу себя. Распластан, пригвожден к кровати. Неуступчивые мышцы. Обессиленное тело. Чужое тело. Став могучим, я одряхлел...

Мне очень неудобно в своих мышцах. Они все время мертвеют. И в сонном забытии пытаюсь размять их. Руки как колоды. Какой там рекорд?! Все кончено! Надо уметь платить по счетам...

51

Все столицы и города — лишь залы, стадионы, раздевалки. Воздух этих нагретых дыханием залов — самая сумасшедшая смесь, которой доводилось дышать.

Сентябрь — традиционный месяц чемпионатов. Десять этих месяцев уже стали моим призовым прошлым. Медальным прошлым. Я и сам понемногу начинаю верить, что мускулы — мое высшее достояние, единственное достояние. Все чувства в обилии мышц. В доказательствах силой. В убеждении силой. На всех фотографиях я улыбаюсь. Я научился улыбаться по заказу...

Остуженные дни, затерянные листопады, заботы перелетных птиц — традиционное время для атлетов. Время похвальбы силой. Десять осенних месяцев отмечены моими триумфами. И после каждого я должен был начинать гонку сызнова. Осени моих побед.

В осенних листопадах я впервые услышал себя. Мне стало вдруг жаль все дни. Медали всех побед и доказа-

тельств стали брэнчать на шее. Сила нареклась в ма-
чехи...

Облака уносили птиц. Новые низкие солнца будили
рассветы. Но я по-прежнему делил жизнь с «железом». Зимами вызревала моя сила. Стужа зим выжигала в сот-
нях тренировок мои победы. Иней выводил доказатель-
ства моих побед. Я был пригвожден к тренировкам.
И я тренировался истово, надменно и зло...

Осени, желтые осени... Исход дней в хрупкой листве.
Стройность мира, теряющего свои одежды. Пряные, горь-
кие ветры. Вымороженная чистота рассветов. Солнце,
оплавленное в голубизну дней... Каждый из десяти чем-
пионатов присваивал осень. Я поклонялся цели, формулы
заменяли жизнь. Я кичился упрямством. Сила оседала
в мускулах.

Но осени отравили. Когда трава, когда солнце, де-
ревя и земля — ты один. В этом одиночестве ты без под-
делок, ты прост и естествен. Жизнь награждала солнцем,
травой, птицами, дождями, просторами осенних полей.
Я увидел и понял это в месяцы лихорадки. Я все время
слышал голос будущих дней.

В экстремальных тренировках я искал оправдание.
Но я увидел осени и свои потерянные шаги. И только те-
перь я сознаю всю милосердность «экстрема».

Да, все соединю в новой силе: мысль, чувство,
страсть! И этой новой силе не будет конца. Она как дни.

И все зимы моих будущих тренировок — начало жиз-
ни. Множество начал. Я всегда буду искать другие на-
чала. Самые главные и мощные начала. Я буду служить
этим началам. Жизнь всегда будет для меня началом.
Ничто и никто не поставит черту моим желаниям и чув-
ствам.

Я вдруг прочитал небо, солнце, травы и суровые вет-
ры судеб. Я голоден жизнью. Я зову и вижу всю жизнь!
Все солнца судеб!

Верну прошлое, настоящее, будущее. Стану четко-
стью дней, жаром всех дней, самой земной и самой звон-
кой любовью...

С каждой осенью я чувствовал себя все более чужим
на торгах силой. Мудрость людей повергала в отчаяние.
Все на зубок знали, что такое счастье. Знали голос, смех,
глаза моего счастья...

ГЛАВА II

Жиденький свет раздевалки, тишина этой удаленной от всех шумов комнатки действовали отупляюще. После пяти часов соревнований я находился в каком-то полусознании.

Я сказал, что лягу. Поречьев кивнул. Он сидел на стуле и смотрел на меня. Я лег, и мне показалось, никакая сила меня не поднимет.

— Полежишь десять минут,— сказал Поречьев и взглянул на часы.

Дверь распахнулась, вошли Сашка Каменев, массажист и врач. Врач смеялся. Смех у него был прерывистый и кудахтающий.

Поречьев налил себе кофе, что-то сказал Сашке, и все разом заговорили. Молчал только массажист. Он тянул из горлышка минеральную воду и щурился на свет.

Я видел черные тени на лице Поречьева.

— Еще семь минут,— сказал мне Поречьев. Он по-своему понял мой взгляд.

Через семь минут я встану и уйду на разминку к толчку. Я вытянулся и закрыл глаза. Я знал, что главное — не обращать внимание на усталость и ждать. Надо было пройти через эту усталость и отупление. Надо, другого пути нет. Не бывает.

Я всегда волнуюсь в первом упражнении, даже теряюсь. Это волнение отнимает верные килограммы. После я овладеваю собой, однако в жиме всегда что-то недобираю. Но здесь я, кажется, выдержал. У меня хорошие шансы. В рывке я накрыл рекорд мира. Теперь, если зацеплю свои килограммы в толчковом упражнении, этот рекорд можно накрыть и в сумме троеборья. Все остальное ерунда. Только бы выдержать. Я переиграл всех. Теперь только продержаться. Все зависит от меня.

Нет, я не срежусь! Это все чепуха! На соревнованиях всегда так. Особенно после пяти часов работы. Там на разминке я сумею повернуть свои чувства. Я отлежусь, и усталость пройдет. Сейчас важно отдохнуть. Не сомневаться ни в чем...

Кажется, не открыл бы глаз. Лежал бы, лежал... А еще три попытки — последнее упражнение! Будут ли послушны мышцы? Смогу ли работать на пределе? Надо на пределе, надо, надо...

Это должно быть в тебе — и движение веса, и ощущение полета, и предельное совмещение центров тяжести, и особенное состояние мышц — напряжение чередуется, напряжение бежит по рас-

слабленным мышцам, напряжение отпускает отработанные мышцы — и слышишь всего себя, отлично знаешь свое положение в пространстве.

Толчок — мое движение. Тренер всего раз объяснил мне, как выполнять «низкий сед». Я работал в «ножницы»: штангу захватывал на грудь, посылая одну ногу вперед, а другую назад. Теперь то все убедились, не только я, что этот слособ неэкономичен. Но Харкинс всю жизнь работает «ножницами» и еще много других классных атлетов.

Тогда я не был даже чемпионом страны. Я просто начал подбираться к большим результатам и почувствовал необходимость переучиться на «низкий сед». Я видел, как выполняют «низкий сед» другие, и мысленно сотни раз проделывал это сам. Я все время видел перед собой «низкий сед» американца Шеппарда. После подрыва он проваливался в глубочайший «сед». Он не вытягивал штангу высоко, но успевал уйти под нее. Это был стремительный и упругий уход. Каждую особенность этого движения я запечатлел в памяти. В том году американская команда выступала в Москве и Ленинграде.

Я не люблю ставить «технику» на малых весах. Настоящий вес, но не чрезмерный, скорее даст почувствовать все выгоды правильных приемов. Я брал штангу на грудь в высокую стойку. Я увеличивал вес до тех пор, пока он не стал ломать меня, загоняя в «сед». Тут и началась тренировка...

Я осваивал подрыв, уход и разброс ног. Я любил отрывать вес при узко поставленных ногах — тогда получалась мощная тяга, а потом, после подрыва, в полете разбросить ноги и мягко принять вес в «сед». После подрыва, проваливаясь вниз, я всегда отрывался от пола.

Постепенно разрабатывались связки коленных суставов. Я все ниже и ниже опускался в «седе». Я много работал над гибкостью поясницы. И скоро почувствовал себя в «седе» очень удобно. Мне было удобно с любым весом и вообще без веса. Я одомашнил этот стиль, сделал своим. За какой-то год я подобрался к рекорду страны. Результат отныне зависел только от силы. И я свел тренировку в толчке к работе в приседаниях и тягах. Лишь кисти так и не приспособились к новому движению. На внутренней стороне запястья образовались суставные грыжи. Эти желваки почти рассасывались, когда я прекращал тренировки. Я стал бинтовать суставы. По толстому эластичному бинту на сустав...

В толчковом упражнении мне не нужно следить за собой и помнить о технических приемах. Я по-звериному прилаживаюсь к весу. Я предвкушаю борьбу, исход борьбы, и зову борьбу, тороплю все усилня.

Я придавливаю гриф ладонями. Захватываю пальцы «замком». Обтягиваюсь и как можно спокойнее снимаю вес. Сколько бы я потом по памяти ни воспроизводил движение, я даже приблизительно не могу вызвать то чувство. Оно пробуждается лишь в мгновения борьбы. И вся моя разминка на соревновании сводится к тому, чтобы найти то чувство, вызвать с наибольшей силой, слиться с ним. И когда я начинаю слышать его, движения приобретают элегантность и законченность. Я начинаю чувствовать все мышцы. Штанга уже не мнет меня. Я подавляю сопротивление «железа», вдруг четко вижу все ошибки, исправляю эти ошибки. «Железо» податливо и дружелюбно, когда к нему прикладываешься точно.

Я должен уложиться в свои секунды, пока хватает воздуха. Вокруг тишина. Что бы ни было вне меня, я воспринимаю это только тишиной. Потому что грохочет моя кровь, стонут и ревут мышцы и кровь горячее воздуха. Я схватываю какой-то предмет — деталь предмета — и привязываю к нему свое движение. Я не дышу. Я стремительно разворачиваю движение. Я вывешиваю тяжести мускулами и суставами. Раскладываю свою силу. Направляю силу...

И этот чемпионат станет моим! Он будет моим! Сколько же лет я ждал эти часы, приучал тяжести и все рекорды!

Мгновения придвигают будущее. Огнем чувств сливаюсь с будущим. Посягаю на все решения будущего! Отрицаю все приговоры будущего! Зову силу! Верю в жизнь, назначаю себе жизнь...

52

Ветреные сумерки нового дня. Разглядываю из своего номера черные, голубые, красные зонты и плащи, вереницы автобусов, автомобилей. Иду и сажусь за стол. Включаю лампу. Раскладываю газеты и журналы. Первым обычно звонит тренер. Не звонит — значит, не проснулся. Пусть отсыпается.

Приемник торопливо выкладывает новости.

Боль в мышцах резче, гораздо резче. Это усталость последнего выступления. Мышцы комковаты, плотны. Не удивительно, что рекорд застрял в них.

Чтобы скоротать время, читаю репортаж о своем выступлении в Лионе.

«...Мускулы чемпиона, такие внушительные с виду, явно не подчинялись ему. Мы стали свидетелями серии серьезных неудач. Особенно поразили специалистов промахи в технике упражнений...»

Тренер национальной сборной господин Дюфи расце-

нивает шансы Этьена Ложье несколько выше, чем Пирсона и Альварадо. Если так, то мы вернем самую почетную медаль. Ложье возродит традиции Ригуло...»

«Торопятся, — думаю я. — Ох как торопятся!»

Черт побери, какой же результат можно выдать, если работать по готовому методу, не изнуряя себя ошибками и поиском?

«Пусть меня не принимают всерьез, — думаю я, — это даже удобно. Пусть примеряют медаль...»

Ветер натаскивает тучи. Темнеет. Встаю, отбрасываю до конца шторы. Плоский унылый пейзаж.

Скорее бы выбраться из нервной болтанки! Пирсон, Альварадо, Ложье уже заканчивают основной рабочий цикл. Все одеваются в новую силу. Скидок не будет. Я должен восстановить старую форму. Должен успеть освоить новые веса. Должен вытравить сомнения перед новыми весами. И уже без просчетов: любая перетренировка опасна! И беречь каждую тренировку. Болзнь нервов не принимать в расчет — это единственный выход. Дома сразу начать работу. Не считаться с болезнью, перемолоть в работе.

Я ищу факты. Я нашел их. Победы подтвердят факты.

Я стою и улыбаюсь. Надежды сверкают в ладонях моего воображения. Я по-юношески влюблен в дни, в ожидание радостного...

53

В тупике коридора за стрельчатым окном по-весеннему пушиста верхушка тополя. Меня обгоняет женщина. Она в тонком зеленом свитере и синих брюках. Узка в бедрах, будто мальчишка.

Спускаюсь в холл. Портье здоровается со мной. У него курносое круглое лицо. Коричневая униформа не вяжется с его кряжистой фигурой крестьянина. Администратор мельком смотрит в мою сторону и вежливо склоняет голову. Две толстухи горничные в жестких накрахмаленных передниках возятся с пылесосом. Голые ноги выделяются на фоне черного бобрика.

На улице туман, приглушенный шум. Спрашиваю у портье последний номер «Известий». Из бара тянет запахом кофе. Дверь-вертушка цедит людей...

За счет ограниченного набора упражнений я сокращаю объем каждой тренировки, увеличив нагрузку на нужные

группы мышц. Это будет продолжением все той же чисто силовой работы. Как раньше не догадался?!

Я смогу продолжить тренировки даже после всех испытаний и шрамов «экстрема». Нагрузка станет узко направленной — вот принцип такой тренировки. Мышцы получают даже более мощную нагрузку, но уже при сниженном суммарном объеме. Такие нагрузки организм перенесет без осложнений. Это очевидный факт. На память прикидываю тоннажи. Сравниваю цифры. Ведь губит именно большой объем при высокой интенсивности.

Горничные фыркают. Я их развеселил. Я преувеличенно громоздок.

Женщина разматывает шарф. Длинные черные волосы рассыпаются по плечам. Она на каком-то гортанном наречии пытается объяснить с администратором. У нее прищуренные голубоватые глаза, заботливо подкрашенные брови и губы.

Меня знобит. Снова «экстрем»!

54

Я ищу оправдание в прошлом. «Экстрем» посягает на все чувства и мысли. В воспоминаниях я нахожу опору. Оживают голоса, свет, ярость и горечь тех дней...

На своем первом чемпионате мира Семен Карев обыграл знаменитого Мунтерса. Слава Мунтерса в те годы соперничала со славой Харкинса. Маленький Шестэдт оставил помост после чемпионата мира в Сан-Франциско. Ямабэ еще не выиграл свои последние Олимпийские игры, а Огато еще ждал триумф. В нашей сборной произошла смена состава накануне Олимпийских игр. И тогда я, выигравший всего два чемпионата мира, стал вдруг ветераном команды.

В тот год я повредил мениск. И Земсков в последний раз попытался достать меня. Я вынужден был работать в высокую стойку, оберегая сустав. Любой уход в «сед» мог привести к новой травме. Земсков рассчитывал прижать меня в темповых упражнениях...

Пока болел сустав, я много работал в жиме. Я цеплял к поясу гири и отжимался на параллельных брусьях. Руки и грудь покрыли новые мышцы. Когда я разговаривал или шевелился, рубашку натягивали эти мышцы. Я с удивлением выщупывал их. Я хмелел обилием силы.

Я подвешивал к своему поясу сто тридцать килограммов и отжимался в попытке три-четыре раза. Эта тренировка неожиданно залечила и спину. Я работал в режиме растяжения позвоночника и навсегда избавился от болей.

Я не вылезал из станка для жима лежа. Я ложился на доску, закрепленную под углом в тридцать градусов. Два помощника опускали мне штангу на грудь, и я отжимал ее. Я начинал с веса сто шестьдесят — сто семьдесят килограммов. После первого подхода мышцы разогревались и штангу я уже слышал всем телом. Я гонял ее по самой выгодной траектории, и доски обжигали мне спину.

Этим упражнением я наслаждался. Вес не осаживал позвонки и суставы, и было легко дышать. Я слышал тяжесть и как она раскладывается по мышцам. Я слышал, как послушны эти мышцы, как велики эти мышцы, как просторна жизнь в этих мышцах.

И мне чудились пряные ветры полей, рассветы, ласка прозрачной воды. Я видел в воде искаженные преломленным светом свои руки и ноги. Белой росой стекала вода с плеч, когда я рывками набирал скорость. И я слышал нарастающий звон воды, свое жадное дыхание и видел беззвучное движение деревьев и высоких облаков. Мне нравилось испытывать себя.

Я рассекал воду, и берег сливался в полосу, а горы поднимались выше. Горы вдруг поднимались к облакам. И вокруг была только большая чистая вода.

Сердце становилось осязаемо. Это жаркий тугой мускул в груди.

Голубизна отражалась в зеркале. Я раскалывал голубизну неба руками. Она откатывалась от меня, а я рывками доставал и окунался в нее.

Я выдерживал этот ритм плавания по несколько часов. Я не уставал. Мышцы каждое мгновение, расслабляясь, оживали новой силой. И я чувствовал эти толчки новой силы. И я ложился на эту силу. Черпал эту силу. Я чувствовал ее, когда вытягивался после гребка, рассекая воду. И губы ощущали прохладу воды...

За месяцы болезни — а я ходил с палкой, вдобавок к мениску у меня были повреждены боковые связки — я «раскачал» жим. Именно тогда я понял, что сумею накрыть самый большой рекорд Торнтонна — рекорд в жиме. Но сначала нужно было выстоять против Земскова.

В темповых упражнениях он мог обойти меня. Ведь я работал в высокую стойку, а он — по всем правилам «техники». Но разрыв в жиме оказался таким, что он не смог его преодолеть. И я сохранил свое звание первого.

К чемпионату мира в Амстердаме я залечил колено и подогнал тренировки. И я выиграл. Тем более Кейт не был так силен в темповых упражнениях, как Сазо. Но Поль Сазо в тот год не приехал.

Я воспитывался на славе Торнтона, Резлова, Хлынова и Мунтерса. Техника Мунтерса отличалась экономностью и грацией. А сам Мунтерс не походил на атлета. Недаром он был победителем мировых конкурсов красоты телосложения. Он не был затяжелен мускулами. Я видел его на одном из конкурсов. В узеньких плавках, освещенный прожекторами, он с подиума демонстрировал судьям свои мышцы. Свет в зале был погашен. Мунтерс обозначал напряжением одну группу мышц за другой. Они будоражили тело, стягивали талию, обвивали ноги, плотными прямоугольниками выкладывали живот. Смазанное специальными пастами, смугло отливало тело атлета. Кажется, все лишнее было отжато из него. Оно было совершенно.

Ярмарки силы всегда раздражают меня. Но Мунтерс тогда околдовал всех...

В Амстердаме я коротал время вместе с Семеном. Мы уходили подальше от гостиницы, чтобы не видеть атлетов и болельщиков. Семена возбуждали даже самые простые слова о штанге и соперниках. И это возбуждение сжигало силу. Он не умел и не хотел ждать. И я уводил его подальше от всех. Этот чужой город был глух к нам, и нас это устраивало.

Карев был массивен для полусредневеса, особенно в плечах, однако не лишен пластической пропорциональности. Природно мощными у него были мышцы спины. Позвоночник утопал в ложбине между крутыми валами мышц. Большая ромбовидная, большая круглая и подостная мышцы отличались размерами и рельефностью. Ноги уступали мышцам спины в силе. Это и определило своеобразный почерк Карева в темповых упражнениях. В старте он почти выводил ноги из участия в усилии. Тяжесть сразу принимали на себя мышцы спины. Ни у кого я не видел такого звериного по мощи хлеста спиной, как у Карева.

В стойку на тренировках он «затаскивал» веса, кото-

рые перекрывали рекордные в толчке. Лишь относительная слабость рук не позволила ему тогда же установить рекорды, обгоняющие время на добрый десяток лет.

Руки, конечно же, можно было «раскачать». Набор выверенных упражнений заставил бы их принять силу и налиться силой. Но тогда бы Семен потерял преимущества своей манеры работы в темповых упражнениях. Именно поэтому он избегал много приседать с весами.

Его стиль складывался из точности и силы подрыва. Схема выполнения темповых упражнений обеспечивала преимущественную работу спины. У него не было физических возможностей подправлять ошибки силой, а тем более работать на силу. Но подрыв выводил его на такие результаты, что даже самые сильные из соперников оказывались в безнадежном положении. Если бы Семен занялся посылом с груди, он стал бы недосыгаем.

Сначала Семен скорее инстинктивно, чем сознательно, противился силовым тренировкам. После тренировок на «объем» он заболел, терял чувство подрыва, а самое главное — веру в себя. Для него нагрузки должны были быть прежде всего щадящими. Сообразно его типу нервной системы следовало создать и свою систему тренировок. Этого он не понимал. Да и не только он...

Сила манила, дразнила. Он мечтал отгородиться силой.

Недостаток силы все время искушал его на «объемные» тренировки. Азарт силы подбивал на риск. Переубедить его было невозможно. Дома он тренировался один. И всякий раз долго и трудно выбирался из перетренировок...

В тот год осень походила на лето. Желтизна пощадилась листву. Обильно цвели розы, георгины, астры. Воздух, нагретый солнцем, настаивался запахами цветов. Бабочки, стрекозы, жуки, оглушенные запахами, никли к цветам. Их можно было толкнуть пальцем, а они лишь сучили лапками, не пробуя улететь. И жаром солнца отходили стены улиц. И ослепительно белы были паруса случайных облаков...

Не было у меня в спорте человека ближе Семена. И не раз мы выручали друг друга. Я не умею менажировать, сгораю во время менажирования. Я избегаю появляться в зале до дня своего выступления. Никакое искусство владеть собой не избавило меня от этого волнения. Борьба других вызывает во мне яростный отзыв.

Я научился владеть собой, но не быть равнодушным. Я все проделываю с теми, кто выступает. Я могу сгореть в чужих поединках.

И я запретил себе бывать в залах до дня своего выступления. И только для Карева я делал исключение. Я менажировал его на всех чемпионатах.

У Сашки Каменева была большая сила, а когда приходит чрезмерное возбуждение, часто пропадает тонкость навыков, и тогда «железо» поднимает грубая сила, или, как говорят атлеты, «работаешь на силу». Для Семена работа на силу означала проигрыш.

Семен нуждался в опоре. Ему нужна была вера других. Вера в него. Он всюду искал эту веру. В залах, которые встречали его дружбой, он показал рекордные результаты.

После выступлений Семена я был выжат и измучен. В дни, пока выступали атлеты других весовых категорий, я приводил себя в порядок. Но это не всегда удавалось. Возбуждение, и без того тлевшее перед большими чемпионатами, уже не оставляло меня. Во всяком случае тогда в Амстердаме последние четыре ночи я спал едва ли по четыре часа. Часы тревожного забытья. Забытья, в котором все слышишь. И в котором ведешь счет всем своим шансам и шансам соперников на успех. И слышишь все шумы гостиницы, города и каждую свою мышцу...

Тогда в Амстердаме Мунтерс проиграл Кареvu.

А моими конкурентами оказались Кейт и Сазо. Мэгсон переманил Кейта из легкой атлетики. Кейт отлично толкал ядро. Он был одарен силой, но загубил ее искусственным прибавлением собственного веса. Он принимал специальные препараты и за полтора года наел еще пятьдесят килограммов. Вес лишил его возможности тренироваться по-настоящему. А без тренировки нет результата, какой бы силой ты ни был одарен.

Пять лет спустя Мунтерс стал тренером Гарри Альварado.

Альбомы репродукций Ван-Гога, Моне, Манэ, Дега, Сезанна — нью-йоркские издания Дюмонт работы Абрамса. Кажется, тронь рукой и ощутишь фактуру холста. Альбом я приобрел в Париже.

Ван-Гог! До боли ощущаю муку рисунка и цвета. Боль преследует. Я озираюсь. Потом торопливо прячу альбомы в чемодан. Сажусь в кресло. У меня дрожат руки.

Монотонно барабанит дождь в стекла.

Нагрузки, формулы, эксперимент, новые результаты! Я действительно возомнил о себе! Всяк сверчок знай свой шесток. Слава?! Любой, кто знаком со спортом, слышал обо мне. Все титулы, призы, медали — мои! Ничего не прибавлю к славе.

Тогда зачем все это?! Другие воспользуются выводами эксперимента. К новой методике приложат еще и свои знания — сотрут мое имя. Я сам сотру его... Всем плевать, что ты отказываешься наедать вес, отказываешься быть искусственной силой. Ущербной силой.

В соседнем номере кто-то гоняет магнитофон и стучит на пишущей машинке.

Кому нужна чистая сила? Что за химера? Ложье, Альварадо, Пирсон, Зоммер... формируют силу препаратами, собственным громадным весом. Ты никому не нужен. У Лескова сказано: посмотрела во вчерашний день и увидела, что она дура. Теперь я уже вчерашний день. Глупый, наивный день.

«Экстрем» внушает, что лишь у твари прочные радости. И боли минуют лишь тварей.

Стою перед зеркалом. Судьба и в самом деле одарила меня силой. Обьедаюсь силой...

Смеюсь хрипло, неестественно. Я по-прежнему отравляюсь настоем этих сумеречных дней.

В приемнике мужской голос, беспечный, как младенческая погремушка. Окно слепнет дождевой рябью. За форточкой мокро шумят деревья.

Я чту жизнь. Твердый огонь желаний. Стойкость назначенных дней. Вереницы лет, назначенные в стойкость. Жизнь бесстыдно хороша, когда доверяется силе...

Облака несли желания. Солнца запутывались в этих желаниях. Ветры нашептывали все недосказанные слова. И околдовали меня...

Разглядываю свой номер. Бледно-зеленые обои. Будильник, встроенный в стену над изголовьем кровати. Над тумбочкой — бра. Кровать. У другой стены диван.

На столе стопка конвертов, термометр, газеты, черная телефонная книга. На термометре семьдесят градусов по Фаренгейту. У стены журнальный столик. На столике керамическое блюдо в розовых глазурных лангустах, белый телефонный аппарат и черные томики Евангелия на нескольких языках. Наугад открываю Евангелие. Перевожу с французского: «Когда я совсем выучен, все будет только таким, как учитель...»

Всю свою жизнь я совершаю глупость за глупостью. У меня есть все, а я недоволен. Я прессую жизнь в один яростный ком и швыряю в себя...

Включаю приемник, вращаю ручку настройки. В эфире мужские, женские голоса, и в каждом уверенность в себе, в своей правоте. Изнемогаю в одиночестве. Столько людей, а я одинок!

Итак, существует путь к новым результатам и без экстремных потрясений. Путь без больших «объемов» и чрезмерного нервного расхода.

Итак, можно бить по главным направлениям. Не распылять тренировочный «объем», а сводить на узком участке. Это непременно вызовет активные ответные процессы. При этом сам «объем» окажется много меньше экстремного. Суммарную тренировку на подобных «объемах» я усвою безболезненно.

Значит, я напрасно поставил эксперимент? Значит, все испытания напрасны? Вот он — другой путь!

Струи дождя искажают очертания домов. Молчит телефон. Спит мой тренер. Уже начало девятого, а он спит...

Будто по расписанию маршируют боли. Обойдусь без лекарств. Должен обойтись...

Осквернен прошлым. Чужой рекорд уничтожает смысл твоей борьбы, доказывает мелочность твоих усилий... Опираюсь о подоконник руками. Рассматриваю улицу. Сколько же радости в кокетливых шажках, красном зонте и светлой шляпке этой женщины! А собачки на поводках! Как забавно подстрижены! И что за банты на загривках!..

Пять шагов от окна до двери. Пять шагов назад и снова до двери. Отчего дневной свет ранит? Кто и зачем загнал меня в этот номер?!

Напрягаю мускулы. Как глубоки и просторны! Почему рекорд застрял, почему?! В чем бесконечность воли? Мне всегда жить в бесконечном напряжении воли...

Разве все, что я делал и что случилось, замыкается только на мне? Разве рекорд — это только наборные стальные диски?.. Но я ведь один здесь? И ничего нет, кроме любопытства зала? Зачем залам любопытство?..

Брожу по комнате, твержу слова-заклинания.

Презираю мистику, суеверие, случай. Претит рассудочность. Она всегда на запятках успеха.

«Хотя бы раз пройти по этому городу чистым, беззаботным, — думаю я. — Где и когда я потерял беспечность? Ту беспечность, когда очень важны цвет неба, полынная горечь тополей, белая улыбка в незнакомых губах...»

Давлюсь словами, затыкаю сомнения. Конечно, завтра большой спектакль. И там я должен быть атлетом. А сила требует ясных слов.

57

В Амстердаме наш старший тренер Седов решил выбить Мунтерса из равновесия. Мунтерс, как Торнтон и я, не проигрывал никому с первого своего выступления на большом помосте. Дней за десять до соревнований Карев на тренировке точно по раскладке Седова повторил в толчке мировой рекорд. Каким бы опытным ни был атлет, такие вещи всегда действуют. Но Мунтерс поразил меня. На другой день в ответной прикидке он закатил во всех трех движениях предельные веса. Это было безрассудство и, конечно, больше того, на что мы рассчитывали.

Газеты и знатоки захлебнулись восторгом. «Замандражировал» и Карев.

Я понимал Мунтерса. Он искал доказательства. Прикидка Карева лишила его уверенности. Впервые реально посягали на его силу. И все же рисковать так он не смел! Я еще раз убедился, как важно верить себе, верить, не смотря ни на что. Если бы ни обстановка чемпионата, Мунтерс не натворил глупостей. Но после прикидки Карева газеты и знатоки не верили в Мунтерса. Его восемь золотых медалей чемпионатов мира уже намозолили глаза.

Семен только начинал свои выступления в большом спорте и к тому же был на семь лет моложе Мунтерса. Семен должен был «восстановиться» к соревнованиям и «восстановился». А достаточно было увидеть разминку Мунтерса на чемпионате, чтобы понять: утомлен прикид-

кой. Кроме того, Семен так подвел собственный вес, что на взвешивании потянул на четыреста пятьдесят граммов меньше Мунтерса. При равных суммах троеборья победа доставалась бы Семену.

На чемпионате Карева «менажиrowали» тренер Задорин и я. Из команды с нами еще был легковес Баландин. За сутки до этого Баландин проиграл японцу Ямабэ. Худоба еще не сошла с его лица, и взгляд был затравленно усталый. И говорил Баландин возбужденно, громко.

Впрочем, настоящих шансов на победу у Баландина и не было. Ямабэ, кроме двух олимпийских и четырех золотых медалей чемпионатов мира, принадлежали все рекорды этой весовой категории. Японец создал свой стиль темповых упражнений. Для меня осталось загадкой, как суставы выдерживают такой напор.

Чтобы помочь Кареву, мне не обязательно было войти во все подробности поединка. Я достаточно профессионален, чтобы и без того давать дельные советы. Но в Кареве чувствовался тот особый талант к борьбе, который понятен и близок мне и без которого люди для меня теряют привлекательность. Действие определяло его отношение к жизни. Действие, сознательное и отрицающее законченность каких бы то ни было форм. И я вошел в мир его выступления...

Мы были в раздевалке, когда кожа у Семена покраснела и вспухла. Такой опытный массажист, как Сарычев, должен был осторожно накладывать разогревающую мазь. Все кинулись смывать мазь спиртом, но было поздно. Кожа багровела, надувалась рубцами, распалась.

Между подходами на разминке Семен сидел прямо. И лишь по налитым кровью белкам можно было догадаться о боли. Кожа потом слезала с него лохмотьями. И струпя покрыли его с шеи до пят...

Семен приходил в себя после второй попытки, когда в первый раз вызвали Мунтерса. Я осторожно промокал простыней замыленную потом и обожженную спину Семена.

— Ты молодец,— говорил я.— Ты в полном порядке. В отличной форме! — Я видел, вера другого становится его силой.

Я сам не прочь услышать нужные слова. Они всегда кстати, когда рискуешь. Даже отличные спортсмены мо-

гут не знать этих слов. А в тот вечер и ночь я их легко находил. И каждое из них отнимало мою силу.

Семен подергивал в нервном тике плечом. На толстые белесые брови скатывался пот. Волосы темнели, липли ко лбу. На щеках блуждали красные пятна.

— Подумаешь, Мунтерс! — выкрикивал Задорин. — Срежем этого пижона!.. Закрой плечи. Сарычев, халат! Не студи плечи...

Нас фотографировали, разглядывали, окликали. Меня это уже не могло отвлечь, но Семена раздражало.

— Ты поспокойнее, — шепнул я Задорину, — он и так перевозбужден.

Вернулся Баландин и сказал, что Мунтерс сработал чисто.

Сарычев подавал все необходимое для работы, избегая смотреть на нас.

— Смотримся утром в торговый центр, — шепнул мне Баландин. — Есть что купить.

— Не делай таких глаз, — сказал мне Семен, — а то Сарычев еще что-нибудь напутает.

— Я ему напутаю! — крикнул Задорин. — Тоже мне массажист высшей категории!

— Не грусти, Владимир Иванович, — сказал Семен Сарычеву. — У меня новая шкура нарастет. — И засмеялся хрипло. Семен хотел показать, что он вполне владеет собой.

— Руку береги, — сказал Задорин. — Второй раз долго будем лечить.

— Беречь? Сейчас?! — Семен снова засмеялся.

— Пора поставить клистер Мунтерсу, — сказал Баландин. Он вдруг выругался и злобно уставился на ребят Мунтерса. Они встретили Мунтерса у выхода со сцены: окружили, загалдели, закутали в плед, Мунтерс ухмылялся и позировал репортерам. Тут же хлопотали венгры. Они явились всей командой на выступление своего полусредневеса Чатари. Этот атлет превосходил в жиме и Мунтерса и Карева.

Я улыбнулся Чатари. Мы были приятелями. Он не подал виду, что заметил.

— Ну, зараза! — сказал Сарычев на Мунтерса. — «Раскачал» лапы! Ну зараза!

— Товарищи, вызвали Карева, — сказал переводчик. — Второй раз объявляют.

— А мы успеем, — сказал Сарычев.

— Хороший парень? — спросил меня Бэнсон. Он имел в виду Карева.

— Мы выиграем,— ответил я по-французски. Общим языком у нас с Бэнсоном был французский.— Я тебя познакомлю с ним. Ты снова получишь хорошее интервью.

Бэнсон кивнул. В таких вещах он целиком полагался на меня.

— Прямо перед награждением участников заходи к нам в раздевалку,— сказал я.

— Успеха! — Бэнсон поднял над головой пальцы буквой «V». Он желал нам победы.

Мы пошли к выходу на сцену.

— Коли невтерпеж, подождут,— сказал Сарычев.

Я был выше всех и шире всех. Я шагал впереди, и все расступались, Седов улыбнулся мне. Наш старший тренер без нужды не вмешивался в работу других. С ним стоял врач команды Архипов — рыхлый апатичный человек, и тренер команды ГДР Курт Зонненберг. Они курили. Здесь не возбранялось курить. Курили все, даже те из женщин, которые оказались за кулисами.

— Уу, селедка в брюках! — Сарычев передернул плечами. Он не выносил женщин.— На нашу Ларису Яковлевну похожа. Тоже небось не ржавеет. Уу, глаза застая!..

Лариса Яковлевна была сестрой-хозяйкой спортивной базы, где мы готовились к чемпионату...

Мэгсон с каким-то мертвым безразличием следил за происходящим. Динамики разносили голос судьи-информатора Стейтмейера. Уже лет пятнадцать под этот гнусавый речитатив работали все атлеты. Дрожанием стен и воздуха отзывалось за кулисами движение десятитысячного зала.

Вспыхнули прожектора. Они светили с потолка отвесно вниз. Я увидел помост. Он был очень белый. Зал отгородила стена дымчатого света. Я почувствовал, как мои мышцы вдруг расправились. Воздух опалил легкие. Я будто затянулся крепчайшим табаком. Мышцы обмякли, насыщаясь кровью.

— Давай, Семен,— сказал я.— Ты умеешь делать свое дело! Здесь ничего нового! Только много людей! А ты делай свое! От тебя ничего не нужно — сделай свое! Это будет для победы вот так, по самую завязку!..

Семен оглянулся. В глазах было непонимание и тоска.

— Засади ее!.. — Баландин выругался.
— Товарищи, вас услышат..
— Услышат?.. Да пошли они!.. Мы тут не шашки го-
няем...

— Сарычев, нашатырь!..

— Мы этого Мунтерса!..

— Еще вдохни, еще... Дай, виски натру!..

— Семен, давай брюки. И халат, халат!..

— Обтянись — и засади ее! Пойдет сама!..

— Бэкстон всегда нашим затягивает хлопок. Хрен с ним! Ты спокойненько обтянись. А поясницу держи!..

— Не обращай внимания! Шуруй!..

— Не пускай движение самотеком, — говорил Задорин. — Контролируй движение. Нельзя самотеком. — Лицо у него вдруг заострилось. Нос, покрупнев, горбато выдвинулся. Верхняя губа по-заячьи поднялась, открыв зубы.

Ассистент вышел на помост и смахнул ногой щепку.

— Оживи «железо»! — Я обнял Семена за плечи и шагнул на сцену. — Слышишь, оживи! Оживи «железо»!..

Этот вес давал ему шанс на победу. С таким результатом Семен мог претендовать на золотую медаль. Я был уверен в подавляющем преимуществе Семена. Только бы он сумел отбросить почтение к рекордам. Тогда темповыми движениями он обеспечил бы это подавляющее преимущество.

Почтение к рекордам всегда отзывалось на активности мышц-антагонистов. Включаясь в борьбу, эти мышцы обворовывают силу. Штанга действительно начинает вести как «предел». А «пределы» Семена гораздо выше всех рекордов. И Мунтерс оказался бы не опаснее любого другого атлета, если бы Семен сумел разбудить свою силу. Этот поединок решал судьбу силы Семена. Она могла так и не проснуться. И Семен никогда бы не почувствовал, что его мышцы — самые сильные. И он, имея силу великого первого, не шагнул бы в победу.

Я знал это. И как умел вел Семена. Это были знакомые ухабы. Я видел их, Семен еще нет. Я не хотел, чтобы Семена сшибли эти ухабы. И я был с ним. Я раскалял себя поединком. Если и увидишь, не найдешь приема, чтобы их взять. И я раскалял себя поединком.

Только бы Семен ощутил эту хилость рекордов! Только бы отрелся от всеобщего почитания высшей силы!

Подвести его к презрению чужой силы, отрицанию исключительности чужой силы, затхлости авторитетов сильных.

Я знал уже тогда, что за сила, когда свободен от суеверий. Я знал, как просторен и велик этот мир освобожденных желаний. С первых своих поединков я испытал, что значит мир, остуженный силой привычных мнений, силу сопротивления этой среды, подчиненной предрассудкам. Я знал, как созидательно чувство, отрешенное от молитвы. Я берегу это чувство, служу этому чувству. Всеми победами обязан этим чувствам. Опрокинув догматы силы, я увидел необозримость путей. И я понял направление своих побед.

И когда я это понял — я нашел себя. И навсегда поверил в свое дело, в то, что оно не пустышка и я здесь не ради сытостей тщеславия...

Семен дышал силло, прерывисто. Мышцы судорожно напрягались. Черный провал зала обжигал. Желания всех налегли на волю моих чувств. Я ощутил пустоту и одиночество. Слабость легла в мышцы. И я стер эти чувства. Я знал, как это сделать. Опыт и жесткий тренинг чувств научили меня придавать значение лишь цели. Я не пропускал в сознание чувства, которые настораживали мышцы-антагонисты. Вернее, я был научен не осознавать эти чувства, оставлять их неразвитой посылкой мышления. Я видел их, слышал, но не воспринимал. Я как бы шел мимо обозначений чувств, мимо сухих безжизненных символов. Я утратил восприимчивость ко всему, что не соответствовало решению цели. Годы испытаний выработали свою систему поведения. Я исключил все пути слабостей. Я мог положиться на себя.

...Я что-то шептал. Другие не поняли бы. И я не опасался быть услышанным, быть смешным. Я выстраивал нужные слова. Они взводили мышцы, обозначали направления чувств.

— ...Оживи «железо»! — Я снял свою руку с его плеч. И на моих глазах он медленно и бесшумно направился к штанге. И я стал терять зал. Я слепо водил головой, а отчетливо видел лишь гриф. Видел серую рубашку насечки и себя над грифом...

Я стоял и ногами проверял пол, устойчивость своего положения. Я вслушивался в ритм своей жизни и ритм назначенного усилия. Я добивался однозначности этих ритмов.

Карев наклонился. Мышцы подобрались, опробывая тяжесть. Руки провернули гриф. Захрустела раздавленная канифоль...

Мысленно я все повторял за ним. В своем воображении я тоже присел и опустил руки на гриф. И потом я тоже выпрямился, расслабив руки. Они повисли вдоль туловища. Я забирал в них чистую кровь.

Потом я снова сложился. Скользнул ладонями по грифу. Нашел хват и тогда уже окончательно вошел в стартовое положение. Я проверял готовность нужных мышц, блокировал командами мышцы-антагонисты. И по мере того как воспринималось ощущение тяжести, я включал мышцы. И штанга тронулась вверх.

Я еще бормотал какие-то слова. У меня есть свои слова. Надежность этих слов. Когда я пускаю их в дело, уже знаю — не отверну. Эти слова определяют яркость моих чувств. Чем мощнее этот импульс чувств, тем полнее они впрягаются в работу. И я впрягся в свои мышцы.

Я снял вес ногами. Руки лишь держали штангу. Я запретил рукам быть напряженными. Руки держали вес, но не работали.

Штанга сделала меня горячим и очень твердым. Мышцы выложили меня.

Я стал вводить в работу спину. Ноги работали в режиме максимальной отдачи. Я увеличил скорость движения, и штанга мгновенно прибавила в весе. Но мышцы полнее отдали свою силу, и натяжение тут же ослабло. Штанга набирала скорость, осаживая меня.

Я впрягался в новые большие мышцы. Штанга сбрасывала тяжесть в назначенных мышцах. Движение было легким и изящным. Мне нравилось это движение. Я вписывался в него очень точно.

Я оседал в свои мышцы, проваливался в надежность мышц. «Замок» обеспечивал прочность хвата. Я не думал о «железе». Я набирал ритм усилия.

Я провернул ладонями гриф и грудью пошел под него. И я услышал все суставы. Как бы согласованно и пластично ни стыковались элементы движения, а этот момент всегда обозначают суставы.

«Железо» еще не успело вернуть свой вес, оно еще рвалось вверх. Я поймал его, слегка отвел плечи и направил локти вдоль туловища.

Я выполняю жим по-своему. Обычно в жиме не работают грудные мышцы. Но я изменил старт. Я чуть

больше стал отводить плечи. Это создало возможность для участия грудных мышц в жиме. Я нашел для жима новые мышцы. Я резко увеличил мощность этого усилия. Вся работа на тренировках в жиме я стараюсь свести к жиму лежа на наклонной доске. Это лучшее упражнение для тренировки грудных мышц. И я добился того, что мои грудные мышцы, мышцы плеч и рук приближаются по силе к мышцам ног. В честном силовом жиме, не таком, как у Клода Бежара, мне нет равных. И даже Торнтон не смог бы со мной конкурировать...

Я напряг бедра, расслабил кисти, опустил плечи. Я лег на позвоночник, уперся в него.

Я уловил движение рук судьи. Это была команда на жим.

Я вложил в срыв всю совокупную энергию мышц плеч, рук и груди. От высоты срыва зависел успех. Если он высок, мышцы оказываются в наивыгоднейшем положении. И развивают наибольшую мощность. Я снял штангу высоко и точно.

И я впрягся в жим. Мышцы ту же и ту же стягивали меня. Я чувствовал, как мышцы становятся тверже. Они становились тверже с каждым мгновением, быстрее каждого мгновения. Меня задвигала жесткость мышц.

Я знал, когда мышцы окаменеют, усилие иссякнет. Я знал, когда меня стиснет твердость мышц, все будет кончено. И я гнал «железо», запрещая мышцам опаздывать с усилием.

Я слышал скорость штанги, примеривался к ней, узнавал ее — это был заданный ритм, мой ритм. На такой скорости штанга должна была пройти. И она прошла.

Я сделал последнее усилие мышцами спины и совместил свой центр тяжести с центром тяжести штанги. Вес был на прямых руках и застопорен.

Я ждал команды. Я догадался о ней по гримасе, которая исказила лицо судьи-фиксатора. И по тому, как зашевелилась темнота за его спиной, как зарябили вспышки блицев и ровно лежала штанга в моих руках.

Я опустил «железо» и осторожно глотнул воздух. Я не дышал все усилие. Я глотнул очень мало воздуха. Я проверял себя. Я сидел на корточках и делал вид, что закатываю штангу на середину помоста. Нет, я сработал точно и быстро — шока не было. Я отпустил гриф, выпрямился и повернулся к табло.

Три белые лампочки выдали команду победы...

В оскале мокрого бледного лица я узнал улыбку Семена. Он торопливо шел ко мне. Его плечо ерзало в нервном тике.

И тогда я впервые услышал зал. Теперь он не угрожал моим усилиям, и я пустил его в свое сознание. В черном провале за рампой голоса слились в вой.

— Пусть теперь работает,— сказал я. Я имел в виду Мунтерса.— Пусть! Теперь точка, не уйдет!..

И я почувствовал запахи. Привычные запахи всех залов. Воздух был разогрет прожекторами. Здесь на сцене он был сух и жарок.

Я стоял неподвижно. Я не выполнял жим, по «железо» не обошло меня. Я был с Каревым в одном измерении чувств. И я понял, он зацепился за верные чувства. Дело пойдет...

И я не ошибся, этот сутуловатый обилием мышц спины и плеч атлет был создан для поединка. Талантом борьбы была отмечена его сила.

Четыре с половиной часа выступали полусредневесы. И четыре с половиной часа Семен открывал для себя свою же силу. В ту ночь он был велик.

Я «менажировал» Семена на всех чемпионатах. Я не мог поступить иначе. Он верил каждому моему слову. И все его неудачи я растворял напряженностью своих чувств. Я знал, какими словами и как оживляют «железо». И еще я, наверное, умею «менажировать».

Я «менажировал» Семена на чемпионатах в Амстердаме, Москве, Софии и Чикаго... Чикаго! Безумный город, помешанный на машинах и рекламе. Огромный задымленный город. Город, у которого отнято небо и в жилах которого отравленная кровь нескончаемых забот...

В Чикаго Клод Бежар фуксами в жиме отыграл у Семена пятнадцать килограммов. И все равно Семен «съел» бы его, но в решающей попытке в рывке он поспешил встать и уронил уже взятый вес!

На другой год Бежар выиграл приз Москвы, и опять своими жульническими фуксами. Это второе поражение потрясло Семена. Он потерял веру в себя и в спорт. Какое-то время мы переписывались, но потом Семен вообще забросил тренировки и уехал из своего города. И теперь никто не знает его адреса...

На чемпионате в Вене Бежар проиграл венгру Чатари. Если бы поехал Семен, он выиграл бы у обоих, но он уже не тренировался.

В Берлине и Мехико первым стал поляк Осмоловский. У него было большое будущее, но он получил травму и не смог преодолеть боязни веса. Поэтому он плохо толкает вес с груди.

В прошлом году чемпионат мира снова выиграл Бержар, и снова своими фуксами. Он так овладел этим приемом, что судьи не успевают поймать подробности. Теперь многие практикуют фуксы. Золотые медали и слава нередко отмечают посредственную силу. Я устаю теперь не только от экспериментов, я вынужден защищаться от «фуксового» жима. В своих тренировках я делаю поправку на эту «фуксовую» силу своих соперников. И я работаю вдвое, втрое больше, чтобы уравнивать шансы...

58

— Печень не барахлит? — спрашивает Поречьев. Он неторопливо одевается, насвистывая мелодии из оперетт.

— С чего? Ем в этих переездах, как манекенщица.

— А спал? — Поречьев разглядывает свои руки. Трехглавые мышцы у него сочные, ладные. Забавляясь, напрягает их. Они дрожат, набухают, перекачиваются.

— Часа три.

— Ширков из «Спартака» рассказывал о каком-то Лешке Вовине...

— Сплетни, поди?!

— А ты возбужден...

— Длинный язык у Ширкова.

— Гриша свой. Просто предупредил.

— Когда предупреждают, это и есть сплетни. Все предупреждают, а в самом деле — это сплетни...

— Завтрак заказан, светлейший, — перебивает меня Поречьев и подмигивает. — На столах вина, жареная форель, оленина. Челядь ропщет. Капелла истомилась на хорах. — Поречьев ощупывает мои мускулы. — Будешь как зверь! Штангу перед посылом припечатай. Локти не завали.

Поречьев обнимает меня за плечи:

— Не дорабатываешь левой рукой. А хандру забудь! Ошибался я прежде? Нет! И этот рекорд наш! Поддай порезче, чтобы со звоном! Тоже мне рекорд...

Мы выходим в коридор. Поречьев запирает номер.

— Эх, быть бы тебе погрубее, — говорит он.

Я в жалобах, грубости, страданиях и вздоре людей. Они не знают меня — идут, разговаривают, смеются, читают, едят, курят, но я слышу их. Смутной тревогой, болью, раздражением встречаю и провожаю их. «Экстрем» обострил восприимчивость. Это мучительно, это ненужно. Я не подозревал, что чужие чувства можно слышать. Боль и беспокойство шествуют вместе с людьми, мнут меня, опалают, отнимают покой. Лишь ограниченные и равнодушные люди как бы парят в пустоте выверенных чувств. Я не могу укрыться или вернуться в прежнее неведение слов. Все обыденные слова, жесты, выражение лиц и немота людей теперь травят меня.

А краски? Каждая оставляет след в душе. И музыку, голоса, городской шум, тишину я встречаю энергией чувств. Я мгновенно улавливаю радостные и тревожные звуки — и все ложится в озноб чувств.

Что это? Я был глух? Или вдруг увидел то, что есть жизнь? И как я смогу ужиться с этим миром? И смогу ли?..

Все было для меня, все подчинилось моему назначению. Я толковал мир. В нем все было расставлено и привычно. Очень удобный мир, который ждал моих прикосновений, моих глаз, моей воли. А это такой мир — разве ему уместиться во мне?! Он мнет, насилует, требует. Все тяжести, надежды и боли в ударах моего сердца.

Все высвечивает огромное жадное солнце чувств. Я стараюсь привыкнуть к ярости этого мира. Может быть, болезнь и в самом деле пройдет, если я привыкну к нему, смогу привыкнуть? Краски, запахи, слова и люди — все сплавляет в это кипящее солнце чувств.

Может быть, болезнь в том, что другие видели этот мир, а я нет? И теперь жизнь, загнанная на свой предел, вдруг открывает свою иступленность. Я не жил, нет! Я только глотнул воздуха жизни. Из спокойного и сытого неведения шагнул в жизнь. Слепну и глохну в этом новом мире. Здесь все мощно и чрезмерно.

Я пытался измерить и понять мир мелкими заученными словами, но я беспомощен, я задыхаюсь. За все годы я так и не научился настоящим словам. Разве скудость чувств не болезнь?..

— Жду в холле,— отвечаю я в телефонную трубку.

— О'кей,— переводчик Альберта Толя заикается.

Опускаю трубку. Набрасываю блайзер и выхожу.

Вспоминаю стихи Фета. Зачем? Конечно, Цорн! Пичкает рифмами.

За лестницей плещется ручеек в декоративном бассейне. Потолок в оспинах голубоватых плафонов. Стойка бара заставлена рюмками, цветастыми бутылочными шеренгами. Бармен устроил смотр своему хозяйству.

Толь поднимается навстречу — сама предупредительность. Знакомит с переводчиком. Господин Мальмрут полноват, близорук, редкие седые волосы расчесаны на пробор, на переносице старомодное пенсне со шнурком. Он, будто кадровый офицер, вытягивается, склоняет голову.

Мы усаживаемся в кресле.

— Альберт показывал журналы Мэгсона,— говорит Мальмрут.— Атлеты с головы до пят в одеждах из мускулов. Мэгсон чародей!..

Я развожу руками.

— Но тренировки грубы,— говорит переводчик.— Слава богу, их не видит публика.

— Тренировка не только воспитание мышц,— говорю я.— На рекордных и предельных весах новые ощущения подтачивают совокупность привычных ощущений и команд. Следует вышколить мышцы и волю, чтобы и эта тяжесть скользила по прежней наивыгоднейшей траектории. Надо исключить возникновение дополнительных рычагов, растормозить движения и быть невосприимчивым к ощущениям перегрузки. Повторения одних и тех же элементов, конечно, скучноваты, но не для атлета. Постоянно ощущаешь изменения в себе, настраиваешь себя. В тебе торжество преодоления, покорности веса, расчетов...— Я отделяваю пафосом фраз. Я понимаю, для чего здесь Толь. Моя тренировка — он хочет ее знать.

— В Оулу на пресс-конференции вы упомянули о расчетах силы.— Толь открывает папку и выкладывает блокнот. Остро отточенные синий и красный карандаши ложатся рядом.

Я вычерчиваю оптимальные траектории штанги в рывке и толчке — эксперимент был поставлен аспирантом

Козловым в нашей сборной три года назад. Однако Толя интересуется контроль и учет нагрузок с помощью графиков. У нас публично обсуждали эти материалы.

Я графически объясняю соль «экстремного» метода. Толя не верит. Идея с первого взгляда действительно примитивна: чем беспощаднее тренинг, тем заметнее прирост силы. Однако скорость приспособительных реакций возрастает не по линейной зависимости. И это никто не знает. Я объясняю.

Толя задумывается над выкладками.

Я выписываю данные эксперимента. Результаты нагрузок в полной мере скажутся через годы. Неизбежен длительный и коренной процесс перестройки организма. Мышечный аппарат получит новую базу — и это самый крупный козырь! Вне этой базы невозможно овладение качественно новыми результатами.

Мальмрут путается в терминологии. Втолковываю ему, что такое тяга, подрыв, «низкий сед». Встаю, показываю.

Толя почти моего роста, рыжеват, крепок и не тучен, как большинство бывших атлетов. На чемпионатах мира он не поднимался выше восьмого места. У него тонкие, но не хрупкие запястья. На такой костяк охотней ложатся мышцы.

Толя не верит, его занимают второстепенные вопросы. Что ж, буду жевать прошлое.

В финской сборной есть парень на сто двадцать килограммов собственного веса. Ради него здесь Толя. Для тяжеловеса сто двадцать килограммов ерунда. Можно набирать отличный мышечный вес. А сложен Нику Кемпайнен атлетически. И по характеру боец. Мне бы его в напарники — и через пять-шесть лет он подмял бы всех. За себя я спокоен. Меня прижмут ребята весом под сто шестьдесят килограммов, не меньше. Да и то если вес будет из чистых мускулов. И ребята будут стройные, быстрые. И будут знать тренировку, пробовать тренировку, а не обсасывать победы. Такие обязательно появятся.

«Экстрем» кстати. Уверен в возможностях этого метода. Он еще не освоен. Нелинейная зависимость силы от общего объема и интенсивности тренировки — эта находка стоит любых испытаний.

В зале, когда Кемпайнен в одном трико, я читаю его тренировки. Я вижу, на каких мышцах сосредоточена работа, какими пренебрегают и где природные недостатки обворовывают результаты. Ноги Кемпайнена похожи на

ноги легендарного Ричарда Торнтон. Могучие ноги и спина — основа результата. Тяжести разгоняют мышцы ног и отчасти спины.

Почему рядом с такими классными атлетами, как братья Халонены, Кемппайнен мусолит тренировку десятилетней давности? Массировать тренировку на ответственных упражнениях и группах мышц — это маленькое открытие когда-то вывело меня в пятерку сильнейших. Мышцы сразу налились силой.

Я стал бы первым еще раньше, если бы не травмы. Я едва успевал залечивать коленные суставы. Они не выдерживали ударных напряжений. Я попал в западню. Сила была, а пользоваться я ею не мог.

Тогда я изменил технику в толчке. Для этого пришлось специально готовить ноги — дополнительные десятки тонн «железа» на каждый месяц тренировки. В новом варианте упражнения я подхватывал вес высоко — почти в прямой стойке — и, опускаясь, пружинил ногами. Я разряжал ударную нагрузку во времени. С тех пор меня упрекают в техническом несовершенстве...

А Толь крепкий, мог бы еще выступать. Он года на три моложе меня. Эх, Толь, Толь! На всех чемпионатах с любимым — будь то Мэгсон, Дерэн, Фихте — лишь бы у их подопечных были шансы срезать меня. Почему? И почему сюда пригласил именно Бэкстона?..

... — Комплекс экстремальных факторов? — спрашивает Толь. — Если не затруднит, пожалуйста, повторите...

Я вычерчиваю таблицы, графики, набрасываю примерные объемы «пиковых» нагрузок. Мне кажется, я говорю о своем старом знакомом. И, как в древней восточной легенде, этот знакомый «не человек, а кость демона». Да, этот «экстрем» — «кость демона». Я прошел по огню и холоду небытия, выкрал у небытия формулы.

Мальмрут умоляюще поглядывает на меня, но я говорю, говорю... Я хочу, чтобы они поняли. Но если Толь решит переиначить все по-своему, если не поверит?.. Тогда свидится с дьяволом. Свидится, конечно, не он, а кто-то из его ребят. Я стараюсь, чтоб он этого не сделал. Я подробен и точен. Я предостерегаю.

У Мальмрута слабый голос: он прочищает горло частым покашливанием, но я неумолим.

Не должны повторять моих ошибок! Я добросовестен в объяснениях. Впрочем, все зависит от искусства владения. Умеют слышать молчание губ, слышать исход

солнечного света, горечь надежд, печаль уходящих дней, печаль в облаках, осенней стуже, щемящем безмолвии рассветов, ласкать насилые тренировок и распознавать победу в отчаяниях — успех не обойдет их. Все в этом: не ждать, пока обсосут истины.

— Ни на минуту не сомневался, что для большого спорта надо родиться фанатиком,— заявляет Толь. Лишь сейчас замечаю у него на лице веснушки.

— Фанатиком?— говорю я.— Фанатиком? Вы всерьез? Но ведь фанатик не способен воспринимать движение, а жизнь — это вечное изменение. Втискивать в неподвижные формы вечное движение — бессмыслица. Рано или поздно фанатизм делает любую личность враждебной жизни. Фанатизм — инстинкт, но не разум. Фанатизм не может быть самодовлеющим принципом, тем более верой...

61

Понурый денек. За мглой хилая зелень аллей, дневные огни в домах, смазанные испарениями улицы. И небо — синее небо с янтарным жгучим солнцем — тоже за слепотой туч.

До мелочей знакомый распорядок. Постылый распорядок. Полчаса спокойной ходьбы, затем час в кресле или на диване — свежесть ног превыше всего! И питание, определенное калорийностью и целесообразностью. И выхаживание массажем мышц, заботы о сне. Животные заботы об этом чертовом сне, хотя бы нескольких часах сна! Везде и во всем беречь «экспрессию чувств» — как выражается мой тренер. Нельзя гореть даже в слове. Беречь нервную энергию для взрыва на помосте. Чувства сводить к этой ярости. Расчетливой ярости. Обнаженной ярости...

62

Странно, Сашка Каменев мой друг, а я так и не был ни на одном из его выступлений. Когда он работал, я всегда ждал в гостинице. Ждал своего часа. Тяжеловесы всегда работают в последний день. А как он выступал, я узнавал после от него самого.

Сашка не был «сгонщиком». Он не изнурял себя диетой или сгонкой веса перед выступлением. Сила отметила его обилием мускулов. Они струились по телу,

омывали тело, вытаскивали его тело. Тонкая кожа открывала это движение мускулов. Она светилась чистой кровью, крепостью жизни, энергией жизни, даже зимой сохраняя смуглый тон.

Ни у одного атлета я не видел такой проработанности мышц. Овал живота очерчивали ребра, спаянные зубчатой тканью мышц, скрупулезной разветвленностью множества нежных волокон. «Дельты» грубо и мощно заплывали плечи.

Мышцы спины выделялись своей чуткостью и определенностью. Каждая вырывалась из наслоений и узлов других мышц. И в то же время все они, переплетаясь, составляли единое целое. Обширный клин трапецевидной мышцы закрывал почти всю верхнюю часть спины. Лениво и мощно обтекал этот клин лопатки. Широчайшие мышцы спины косо обхватывали спину снизу, круто крепясь к позвоночнику. Вдохновением силы дышали эти мышцы. Жарко и хмельно настаивались силой.

Я не знаю атлета, который входил бы в спортивную форму скорее и проще Сашки. Я не знаю атлета легкомысленнее, чем он, в своих тренировках.

Любое преимущество над соперниками можно перевести во время. Время, необходимое для того, чтобы набрать силу и устранить, таким образом, разницу в результатах, и есть сила, как бы выраженная в иной системе измерения. Ты первый до тех пор, пока не дашь смотать эту разницу во времени. Ты гонишь себя по тренировкам. Ты уплотняешь время, накапливаешь крохи времени. Ты обращаешь время в мощь мускулов.

И после ты не теряешь силу. Ты просто начинаешь не укладываться в ритм борьбы. У тебя еще много сил, и мышечная ткань восприимчива к нагрузкам, но из борьбы тебя выбрасывает ее ритм. Своими экспериментами я выиграл у соперников годы тренировок. Я не смею забывать о тренировках. Я ищу тренировки. Я уплотняю тренировки. Впереди тот, кто выигрывает у времени.

Сашка дорого заплатил за пренебрежение этой истиной. Он дал смотать время своего преимущества соперникам. Потом не сумел повести борьбу на равных.

Уже на своем третьем чемпионате мира его почти достал болгарин Асен Тончев. В Берлине Сашка выиграл только по весу. А на игры в Мехико вместо него поехал Анатолий Тучнин. Чемпионом же стал Йоганн Фест из ФРГ.

Поречьев находит меня в сквере в двух кварталах от гостиницы. Он еще издали показывает большой палец. Я улыбаюсь. Я должен выглядеть как чемпион. Чемпионы не сомневаются.

Я рисую щепкой узоры. Я рассказываю о старом Китае, о сословных различиях в городском строительстве. Члены императорской фамилии имели право на фундамент для дворцов не выше трех с половиной метров, крыши зеленого цвета, каменные перила для лестниц, специальную резьбу ворот и пятипалых каменных драконов. У высшей титулованной знати фундамент построек был значительно ниже. Резьба не должна была походить на резьбу, установленную законом для императорской фамилии. Каменные драконы были четырехпалыми. Крыши окрашивались в иной цвет.

Символ императора — дракон, императрицы — птица феникс. Европейцы прозвали служилое китайское сословие шэньши — мандаринами. Правда, не все шэньши служили. Шэньши — это сугубо ученое сословие. Слово «мандарин» происходит от португальского «мандар» — управлять, повелевать...

Делаю вид, что увлечен. Набрасываю иероглифы-пиктограммы. Объясняю древний графический смысл...

— Толь тебя расспрашивал? — перебивает меня Поречьев.

— Да.

— Снова о тренировке?

— Да.

— Ты знаешь цену своему труду. Не роняй себя. Для всех простота и доступность — признак слабости. Будь купым на слово. Надо уметь подать себя. Ты чемпион!

За чугунной изгородью пыхтят автомобили. Кора на деревьях свежа. Лужи без единой морщинки — глянецвито разглаженные. В бензиновом чаде запахи весны: раскисшей земли, лопающихся почек, далеких растопленных снегов.

Все, что говорит Поречьев, знаю наперед. Выслушиваю каждый раз перед большими соревнованиями. Конечно, чемпион выше сомнений.

Поречьев суров, но в его поведении своя логика: разве слова участия делают тяжести легче? Да и сам я не лучше отношусь к себе. Это примиряет меня с ним. Почти

примиряет. Ведь его суровость особенная. Она обращена на меня. Только на меня. А я считаю, что риск должен быть равный. Жестокость, если она необходима, прежде всего должна замыкаться на том, кто сам жесток. Иначе ложь. В главном ложь.

Пусть жестокость! Высшее напряжение воли и ее проявление — готовность разрушить самого себя! Моя вера! Моя!..

Поиски содержания, возможных форм содержания, извлечение нужной формы из этого содержания — всегда испытание. А как иначе познавать мир? Как, если мир не только испытание на крепость мускулов?..

Вытягиваю ладонь. Дождевая изморозь ложится в ладонь. Во всех днях полынная горечь бессилия. Не выстою, все, что узнал, пропадет.

А как выстоять, если «железо» мертво? Если не могу оживить «железо»? Если хочу одного: забиться, выжить... Что ж, беречь себя, лелеять, выхаживать?..

И теперь мне надо быть еще беспощадней. Превратиться в инструмент воли. Иначе предам свое дело. Выстой — иначе вечная опора в других, зависимость от всех прочих опор. В жестокости к себе мое исцеление.

Щерится безглазое отчаяние. Что со мной? Если не могу — молчи, зажми сердце! Иди, не оглядывайся! Иди! Не бойся потерять себя! Ищи себя. Не уступай!

— ...Тебя ждут верных восемь-десять лет побед.— Поречьев наклоняется ко мне.— Возраст уступит таланту силы. Тебе нет равных...

64

Я лежу на диване. Поречьев ощупывает мои плечи. Потом приседает и начинает ритмично массировать мои ноги. На его висках вспухают капельки пота. Он искусен в шведском массаже, но, как все тяжелоатлеты, не вынослив.

О моих соперниках Поречьев невысокого мнения, даже о Бене Харкинсе, когда тот выступал. Сейчас Поречьев признает кое-какие достоинства Харкинса. Но всех других не ставит ни в грош. Мне приходится иной раз и выкручиваться из-за этого перед репортерами. Он не считает нужным это скрывать. И вообще мой тренер обладает исключительным даром наживать себе врагов.

Поречьев вытирает платком лоб. Снова наклоняется

надо мной. Вижу его перебитую переносицу, седоватую щетину на подбородке и короткую шею, вросшую в пока-тые трапецевидные мышцы. Шея в глубоких морщинах, будто выложена буроватыми плитками. Он покряхтывает и время от времени одобрительно шлепает ладонями по моим бедрам. Там мощные многослойные мышцы. На специальном станке-силомере я вытягивал ими много больше тонны.

Поречьев встает:

— Может, заснешь?

— Нет.

— А может, заснешь?..

— Нет.

— А курят здесь! — Поречьев идет к двери. — Женщины, подростки! Я бы этот табак к черту запретил!..

65

В новом дне ни радости, ни облегчения. Разве время исцеляет?..

Я атлет, который завтра должен попытаться взять рекорд. Я атлет — и это все. А сейчас время покоя для мышц. Надо лежать.

Зачем дурачить себя? Какой рекорд? Я не сплю. Я ослаб от потери веса. Я измотан турне. Я в лихорадке...

Люди... Мы сходимся в залах. Слышу их речь. Отвечаю, спорю, смеюсь,жимаю руки. Сколько же рук! Но понять друг друга не можем. Почему?! Что изменилось?! Или я все выдумал?..

Устал от всех слов. Скучен себе. Скучен... Как Коптев. Этот преподаватель истории в школе вызывал у меня непреодолимое желание спать. Вся история в его толковании была скучнейшей моралью. Историю он с каким-то поповским елеем в голосе называл «матушкой». В изложении Коптева она сводилась к тому, что сами мы мало стоим, но, слава богу, на свете есть «мудрые люди, которые думают вместо нас, уже с пеленок способные люди».

Я не удивился, когда узнал, что Коптева выгнали из школы. Он спекулировал старинной бронзой. Погодя узнал, что он и не кончал Московский университет. Настоящее его «образование» — штаб-ротмистр. Диплом ему выправил Сима — знаменитый подделыватель ценных бумаг и документов, которого, несмотря на еврей-

скую кровь, ценили белогвардейская охранка и ОСВАГ. Сам Антон Иванович Деникин распорядился на счет безопасности Симы. Все это потом выяснилось на суде и кое-что напечатали газеты. А шефом Симы был Коптев...

Шаги в коридоре, жужжание лифтовой машины. Шум дождя за окном. Дожди опоили землю.

«Ты здоров,— убеждаю я себя.— Ты не знал, что усталость бывает такой. Это все фокусы усталости. Ты же избрал девизом слова Поля Валери: «Человеческий дух безумен, потому что он ищет, он велик, потому что находит...» Ты жил словами, смысл которых не понимал. Теперь ты познал тяжесть слов».

Я внезапно до мельчайших подробностей вспоминаю свой первый чемпионат мира, потом надменное лицо Харкинса, повадки Харкинса — хозяина силы, его молчаливость, от которой становилось не по себе, он умел молчать.

Вспоминаю пискливый голосок моего первого тренера. Я быстро вырос. Через два года он уже ничего не мог дать. К тому же он подрабатывал в другом клубе, и я часто тренировался без него. Я люблю тренировки. И я ушел.

До сих пор помню тепловатый пыльный воздух того зала. Когда я оставался один, выключали большой свет. Стены уходили в сумрак. В окнах поднимались старые липы. Я слышал свое дыхание, скрип канифоли, позвякивание дисков.

Эти вечерние тренировки съедали сон. Я поздно засыпал. Но ради приятной боли крепнущих мышц, азарта поединков я был готов на все.

Нет, я не болею. Я просто не знал себя.

66

Теodoro Муньони стал бы не менее знаменит, чем Мунтерс, если бы не Сашка Каменев. Он накрыл Муньони на чемпионате в Софии пять лет назад. Это были самые долгие в истории тяжелой атлетики соревнования. В восемь вечера атлеты вышли на парад представления. В шестом часу утра Сашка выполнил последний подход.

С тех пор ввели правило, по которому всех участников разбивали на две группы. Группа сильнейших работала всегда вечером.

Муньони был славный парень, но с пунктиком, как любит выражаться наш новый старший тренер Жарков. Этим пунктиком была легендарная преданность Муньони большому спорту. Он даже развелся со своей женой, чтобы семейная жизнь не сказывалась на тренировках. Муньони, если ему приходила какая-то идея, мог подняться глубокой ночью и начать с пустым грифом отрабатывать новый технический элемент. Он не выкурил ни одной сигареты, не глотнул капли алкоголя. Уже после чемпионата в Гаване, где он впервые стал чемпионом, за ним закрепилось прозвище Отшельник. Я бывал на его тренировках и убежден, что он использовал мои методические принципы. Меня он всегда шутливо приветствовал: «О, синьор профессор!..»

Поединок Сашки с Отшельником стал сенсацией. В то утро Сашка пришел поделиться своим счастьем, а я выиграл его. Через день мне предстоял поединок на играх. Я сказал Сашке, что он верблюд и мог бы подождать со своими восторгами, пока я встану. Я сказал, чтоб он и Семен убирались. За спиной Сашки торчал Семен, и они оба ржали. Конечно, весело! У них были золотые медали, а мне еще предстояло пахать ночь на олимпийском помосте, но сначала дожждаться той ночи.

У меня была бутылка выдержанного рома, подаренная американским тренером Артуром Кореном. Артур немного говорил по-русски и коллекционировал галстуки. На каждом чемпионате он снимал с меня какой-нибудь галстук. Бутылка старого рома была его воздаянием за галстуки. Я пошел к чемодану и стал ее искать. Такие вещи лучше всего держать подальше. Я помню, как массажист Сарычев, увидев у меня на ночном столике поллитровую бутылку французского одеколона, потом всем рассказывал, будто я хлещу коньяк, как воду. Это был одеколон для обтирания, и я, им, естественно, обтирался...

Семен и Сашка потешались над моей заспанной физиономией. За шторами в комнате было прохладно и темно, а в двери наплывал зной. Я понял, что уже не смогу заснуть. Я разозлился, сунул им бутылку и запер дверь.

Я постоял немного. Ноги приятно охлаждал бетонный пол. Потом откинул шторы, взял журналы и лег. Нужно было скоротать последние дни перед выступлением и не думать о том, что может случиться на помосте. К тому

времени мне уже удавалось управлять своим настроением. Я научился подчинять все чувства задачам выступления. Я привычно сплетал узоры своего настроения — часы и дни в заданности чувств.

Поединок Сашки с Отшельником видел не по телевизору, а из зала голливудский режиссер Хэйл Барбер. Утром Барбер подарил свои билеты на самые азартные зрелища Олимпийских игр — финалы легкой атлетики и бокса — портье отеля, где остановился, и вылетел в Соединенные Штаты.

Через десять месяцев меня и Каменева пригласили в Нью-Йорк на премьеру фильма «Железная игра». Роль Алексея Туманова сыграл шведский актер Еханссон, роль соперника — покойный актер Дональд Маклейн, прославившийся в роли Геракла. Консультировал фильм Харвей Мэгсон.

После просмотра нас отвезли в отель. Переводчик чувствовал себя скверно: накануне он выпил лишнего на приеме. И мы отправились бродить одни. Солнце садилось, но внизу уже было по-ночному темно. Мне казалось, что солнце не может вообще пересилить тень небоскребов. Цепко держалась прохлада сумерек. Это был необычный город. Город только ему присущего ритма, запаха, обычаев, одновременно привлекательный и чудовищный.

— Вот и все, — сказал я. — Завтра в Москву.

— И через девять недель снова в Штаты.

Через девять недель в Чикаго открывался чемпионат мира. Второй для Сашки и шестой для меня.

— Муньони в самом деле выступит в полутяжелом или темнит? — спросил Сашка.

— А какой расчет темнить? В полутяжелом весе у него мировые рекорды в двух движениях. С Отшельником все чисто, Саня. Ты точи зуб на Тончева и Феста.

— Управлюсь. С этими я управлюсь... на подмостках, — Сашка засмеялся. Наш переводчик переводил слово «помост» как «подмости».

— Без Муньони на подмостках все будет о'кей! — Сашка снова засмеялся.

— Странный городок: английская речь звучит не чаще итальянской, немецкой или испанской.

— Давай до той вывески с глобусом и налево. Как раз обойдем квартал. О'кей?.. Смотри, — Сашка поднял голову.

Там наверху в лучах солнца желто выделялись последние этажи башен-домов.

— Здесь огни автомобилей, витрин, а там еще день,— сказал Сашка.

— Что ж, опять полюбуемся на твою Ольгу.— Я имел в виду банкет, на который мы должны были поехать к десяти часам, и актрису Рут Хэмфри. В фильме она исполнила роль возлюбленной Алексея Туманова, прототипом которому послужил Сашка.

— Ну и лобзаются! Я там в роли обольстителя, а не атлета! — Сашка засмеялся.

— Предъяви иск Барберу. Читал, как накололи Говарда Хьюза.

Сашка снова засмеялся:

— Каждое слово обошлось Хьюзу в четыреста шестьдесят шесть тысяч долларов и шестьдесят шесть центов.

На первых страницах утренних газет было напечатано решение суда о выплате миллиардером Хьюзом двух миллионов восьмисот тысяч долларов за моральный ущерб, нанесенный своему бывшему помощнику Роберту Мэхью. Помощник выпустил книгу о своем патроне. Хьюз заявил репортерам, что Мэхью — «самая настоящая грязная свинья». Мэхью обратился с жалобой в суд.

— Красавица Рут Хэмфри,— сказал Сашка.— А на репетициях тоже целуются?

— Ты был неотразим, когда она подала руку!

Перед просмотром на сцену пригласили актеров и Сашку. Рут Хэмфи подала ему руку для поцелуя. Сашка как-то неловко потряс ее.

Сашка засмеялся: «В жизни не целовал руки! А что, очень неловко получилось?»

— Да ты светский лев, Саня! Ей, наверное, сейчас накладывают гипс.

— Трепач — вот ты кто!

— Саша, а почему они не пригласили Торнтон?

— У Мэгсона спроси.

— Торнтон, Торнтон... Видно, не судьба встретиться.

— А почему Муньони не приехал? Не по душе мне! Темнит милейший Теодоро! Ведь ему тоже направили приглашение.

— Даже ради всех огней Бродвея Отшельник не пропустит ни одной тренировки и не сделает того, что ей может помешать... — И мы стали разбирать шансы Отшельника.

В лаке автомобилей развевалась, жила, спотыкалась и снова развевалась улица. Поток прохожих стал гуще, и нас все чаще разъединяли, приходилось обрывать речь и идти в одиночку. Мы напрягались, чтобы услышать друг друга. Сашка был верен себе и успевал заметить всех хорошеньких женщин. Позже мы зашли в бар и стали пить сок, и стаканы отпотевали нашим дыханием. Кроме нас, в баре никто не задерживался. Все входили, перебрасывались замечаниями с хозяином и, опрокинув рюмку-другую, исчезали.

Сашка разглядывал столик, за которым мы стояли, и вслух прикидывал, как за ним стоять нашим «мухам». Эти ребята весом в пятьдесят-шестьдесят килограммов всегда невысокого роста. Потом Сашка решил, что для таких, вероятно, и стоят табуреты у стойки.

Над стойкой горели лампы, подвешенные на длинных цепях. У бармена было бледное морщинистое лицо, обросшее клочковатыми седыми бакенбардами, вздыбленные волосы вокруг лысины и белая пухлая шея. Он без всякого интереса выслушивал клиента; коротким, точным движением, не глядя, приоткрывал какой-то ящик и посылал туда деньги. С такой же ловкостью отсчитывал сдачу, готовил и выставлял напиток. Выполнив заказ, он погружался в чтение газеты.

За моей спиной отсвечивал никелем музыкальный автомат. Везде на стенах были намечены углем силуэты нагих женщин. Сашка толкнул меня локтем и кивнул на потолок. Там сквозь сумрак можно было разглядеть хордов юных женщин, уже со всей тщательностью вырисованных углем. Ближе к стойке совсем медленно крутил лопасти фэн. От его движения пушились волосы на голове бармена и шуршали газетные листы. Вместе с людьми в бар входил сладковато-удушливый чад улицы.

— Если бы не преимущество в темповых упражнениях, я бы проиграл Муньони, — сказал вдруг Сашка.

— У тебя ананасовый сок, а не виски, — сказал я. — Что с тобой?

— Хреновый я атлет, — сказал Сашка. — Газеты, фильмы, награды... Но кто знает правду? Если бы я вел борьбу на равных, я проиграл бы Муньони. Уметь выигрывать! А я не умею. Ты же знаешь, я не добираю в каждом движении по семь с половиной — десять килограммов. И это победа?! Все эти репортажи — вранье. Мужество, воля, решимость!.. Тьфу!..

— Так было до первой попытки в толчке?

— Откуда знаешь?

— Знаю. А потом зачет! Все уже: зачет!.. Чувство долга: ты должен, ты не смеешь уйти, понимаешь,— не можешь уйти! Ты один, ты должен поднимать «железо», осечки исключены, ты клянeshь себя и всех. И чтоб с тобой ни было, штампуй подходы. Кажется, брошен всеми, всем плевать на тебя, а на помосте самое большое «железо»!.. Я все это испытал. Ничего, прорежется и другой голос. Это дело наживное. Дело опыта. Я научился не слышать других чувств. Все принадлежит команде, когда борьба. И ты научишься этому, как научились все, кто таскает «железо». Ты выиграл всего два чемпионата страны. Это разве опыт?.. Когда я с «железом», я ничего не слышу, кроме своих мышц и прохождения команды по мышцам. Я слышу их и гоню команду через нужные мышцы, отключаю мышцы-антагонисты, проверяю, как срабатывают мышцы, подгоняю, осаживаю мышцы. Десять недель назад в Милане на чемпионате Европы ты работал как атлет. Отштамповал все подходы. Но ты еще работаешь всеми мышцами. Может быть, и не так, но когда ты очень волнуешься, ты работаешь всеми мышцами — и штанга тяжелеет. Привычные веса обрывают руки... погоди, ты еще научишься вызывать усилия только нужных мышц. Ты будешь набирать свои чувства. Будешь взводить себя расчетливостью чувств. Ты будешь видеть штангу и одновременно осязать мышцы и читать усилия нужных мышц. Когда тебя загонит соперник на рекордный вес и ты не станешь думать о тяжести, а начнешь распутывать будущее усилие, поймешь, где и как нужно изменить движение и что для этого нужно,— значит, ты атлет. Цель и поединок станут определять свои чувства. И ты станешь поднимать «железо» не бешеными мышцами, не отчаянием чувств, а расчетом...

Я уже не видел Сашку. Я никого не видел. Я понимал, что я риторичен, что есть другие слова, что я говорю книжным языком и мой пафос еще не нашел своих слов, но за мной были пять побед на чемпионатах мира и почти четыре десятка мировых рекордов. И я чувствовал, что они и есть те ненайденные слова.

И тогда я впервые понял, что я уже другой. Навсегда другой. Большой спорт превратил меня в другого. Я мог положиться на этого другого человека. Я понимал слабость, но не терпел ее в себе.

Когда мы вышли из бара, была уже ночь. Я позвонил переводчику и сказал, что мы не забыли о банкете и пусть ждет нас у подъезда. Пестро пылали огни. Я запомнил эту ночь, поднятую над городом электрическим заревом, каменное эхо улиц, бойницы окон высоко над головами. Вместо звезд в небе краснели сигнальные огни небоскребов...

После софийского чемпионата покинул помост король легковесов Ямабэ. Харкинс, взяв свою седьмую золотую медаль, готовился к выступлениям в новой весовой категории — моей...

Через четыре недели после нашего отъезда из Нью-Йорка погиб в авиационной катастрофе Теодоро Муньони. Еще через пять недель на чемпионате мира в Чикаго Семен Карев проиграл Клоду Бежару и навсегда ушел из спорта...

Время сорпало днями, скупилось на дни, отнимало дни. Я определил закон, которому подчиняется время, — закон воли. В любых испытаниях это всегда был мой запасной ход.

67

Возвращаюсь в гостиницу. Внимательно оглядываю вестибюль: Ингрид нет. Ее нет ни в баре, ни в холле. Бредовое ночное свидание! Беру у администратора туристский проспект. Теперь не заблужусь.

Выхожу на улицу. И вдруг погружаюсь в воспоминания.

Ласковый пес моего детства бродит в траве. В моих ладонях бархатная морда этого пса. Он тыкается мне в колени, зовет. Он жарко дышит мне в лицо и зовет, зовет... Невозможным кажется вся та прошлая забытая жизнь.

Звон кузнечиков окружает меня. Солнце забытых лет вспыхивает так ослепительно и так горько!..

Вскинув морду, полузакрыв глаза, меня ведет пес моего детства. Что за пес! Весь этот мир для него, только для него: все запахи, звуки, дни и годы...

Легки и воздушны сумерки воспоминаний. Этот отграниченный яростной стыдливостью чувств запах волос. Ее волос. Затуманенные глаза...

И странная легкость одиночества. И вечера, пронизанные белизной снега, и властная свежесть рассветов, и леса под ломкой листвой, и скрипучие старые калитки,

и бетонные громады городов, и безмолвие полей под завалами долгих снегов, и жасмин, поваленный ливнем, — длинные, пучком расходящиеся от корня ветви, отяжеленные росой и тугими бутонами.

68

Дождь загоняет меня под навес. На витрине выставка ботинок. Пытаюсь представить их будущих хозяев. Потом разглядываю улицу и небо. Через двадцать минут я должен быть в своем номере. Выхожу навстречу такси. Шофер делает вид, будто не замечает. Тогда я кромкой тротуара шагаю навстречу машинам.

Та, былая жизнь, настолько явственна, что даже в воспоминаниях жаль расставаться с нею. Неужели борьба и цель отняли тот мир? Кто и за что срывает на мне зло?

69

Из всех предпринимателей от спорта и менеджеров лишь Мэгсон, преодолевая многочисленные банкротства, сумел сколотить капитал в шестьдесят семь миллионов долларов. Более полувека назад чемпион Олимпийских игр в гребле на одиночке Харвей Мэгсон основал тяжелоатлетический журнал. Последние номера этого журнала я и листаю. Вот я на фотографиях с Кирком, Харкинсом, Мэгсоном. Вот еще совсем юный Торнтон — громоздкий, неуклюжий, облепленный репортерами. Долго разглядываю ноги Торнтона. Он обратил на ноги особое внимание. И его работу над ними не скроешь — девяносто пять сантиметров в окружности бедро! Чудовищные напластования мышц! У меня окружность талии сто пять сантиметров, почти как нога Торнтона!

Я всегда жалел, что не владею английским. Было бы о чем потолковать с Мэгсоном. Мы знаем свой спорт так, что для других наш разговор показался бы нелепостью. И вряд ли переводчики нашли бы нужные слова.

Когда-то школа Мэгсона в Кливленде слыла «фабрикой рекордов». Пирсон — обломок тех в буквальном смысле золотых времен. Парни Мэгсона занимали призовые места во всех весовых категориях. Теперь мы знаем больше о тренировках. Мэгсон полагается на удачу, на деньги, на эффект «химической силы». Его фармацевти-

ческие предприятия выпускают богатый набор «препаратов силы».

На тяжеловесов у Мэгсона своя статья расходов и особенное чутье. Из них по-настоящему опасен был азартный до безрассудства Бен Харкинс — высокий, мускулистый и гибкий, точно цирковой акробат. Мне повезло, он старше меня на пятнадцать лет. Три года мы следили друг за другом. Три года не знали пощады, гнали, взвинчивали результаты. Не было газетного сообщения о тренировках американских атлетов, которое я бы пропустил. Я расспрашивал всех, кто видел Харкинса между чемпионатами. От него всегда можно было ожидать сюрпризов. Я расспрашивал обо всем, вплоть до того, как он выглядит. Мне этого было достаточно, чтобы понять, какова его сила сейчас...

Мечта!.. В чем же она? Отрешение, когда ни о чем не жалеешь — только цель? Надменность мускулов, которым нет равных? В деспотичности к себе деспотичностью созидать свой мир? Отрицать слабость решимостью, которая все окрашивает в один цвет — цвет предельных напряжений? Слабость... что прячет слабость?..

70

Цорн и Поречьев ждут. Договорились вместе пойти перекусить. Спускаюсь в холл. Еще издали вижу Цорна. Он, как всегда, возится со своей трубкой. Поречьева не видно за газетой. Последние дни его занимает история референдума во Франции. Судьба Шарля де Голля — постоянная тема его разговоров. В холле, кроме нас, только молодая пара. Она коротает свой досуг здесь более или менее постоянно. У парня курчавая золотистая борода. Девушка маленькая, совсем крохотная. Глаза у нее блестящие, влажные, подведенные голубоватой краской. В них робость и томление.

Портье окликает меня и подает пакет:

— От господина Аальтонена.

В пакете последний номер «Лайфа». Во весь разворот заголовок «Русская элита» — одиннадцать крупных цветных фотографий с текстами. Поречьев заглядывает через плечо. Среди фотографий самых известных людей и моя. Поречьев ухмыляется.

Я сфотографирован в зале. За моей спиной конструкции станка и новый утяжеленный гриф. Этот гриф изго-

товили на заводе по моему заказу — стандартные уже подводили: лопались. Я в белых штангетках. На штангетках имена «оперников». Фотография четкая. После каждой победы черной краской выводил имена: Сигман, Ростю, Сазо, Роджерс, Кирк, Земсков, Глебов, Кейт, Альварардо, Ложье, Харкинс, Пирсон, Зоммер, Бэллард... Обычно это проделывал вместо меня мой приятель Андрей Размятин.

Однажды я прочитал в статье нашего нового главного тренера сборной: «...Не могу не обратить внимания на то, как некоторые чемпионы подчеркивают свое пренебрежение к конкурентам. Большого издевательства, чем намалевать фамилии великих атлетов на своих штангетках, вряд ли придумаешь. А уж коли так неразборчив в средствах и тщеславен, не хвались, помалкивай...»

Жарков хитро мстит всем, кто на его поприще проявляет самостоятельность. Для этого все средства хороши. Свои личные интересы он наловчился пристегивать к общественным. И таким образом придавая уже своему личному, шкурному значимость важного, общественного. В этой подмене личного «я» понятием «общества» ему нет равных. В древнем искусстве демагогии он не сделал открытий, но достиг совершенства. Он караулит мою слабость. Сделает все, чтобы вывести меня из сборной, оговорить, лишит преимуществ члена сборной и тем самым подорвать возможность вести мощные полноценные тренировки...

И все это следует тоже учитывать...

Станок на фотографии внушителен: хаос загадочных перекладин, блоков и крючьев. Опыт Харкинса подсказал новую возможность для тренинга рук. Теперь основную работу проделываю в станке. В жимах широким хватом, или из-за головы, нагрузка сходитесь на позвонках. Жим любит кропотливую работу, воловью работу. Три четверти всего тренировочного времени съедает жим. Если бы не эта конструкция, я вряд ли вынес бы жимовые нагрузки последних лет. Ею я освобождаю позвоночник от нагрузки.

И вот он мой красавчик станок на фотографии! Кожаная обивка стерта и темна — соль и пот моих тренировок!

К «Лайфу» приложен русский перевод. Узнаю бисерный почерк Мальмрута. Передаю журнал Цорну. Поре-

чьев придвигает кресло. Цорна раздражает перевод Мальмрута.

— ...На этом атлете все священные регалии счастья,— переводит Цорн. Он усмехается и похлопывает меня по плечу.

Миллионы болельщиков тоже знают все о моем счастье. Они знают все, они взвешивают счастье, примериваются к нему. Мое счастье обязательно должно походить на образчик общего счастья.

— Спасибо Аальтонену,— говорю я.— Согласился на сутки отдыха. Я устал.

Цорн усмехается:

— Этот Аальтонен из тех, что готовы деньги зубами таскать из навоза...

71

Я в нетерпении толпы. Иду за ней через площадь. Надо идти со всеми. Постукивают женские каблучки, мелкают лица, витрины, табачные киоски.

Дождь залужил город. Город глазеет в лужи. И высокие дома, и люди, и деревья, и усталость моих шагов — в гладких зеркалах этих луж. Причуды дождя...

И снова в воспоминаниях кузнечики режут траву косами песен. И в просеках сбрасывает свою иступленность солнце. И дыхание солнца опалает жадность земли, покорность трав. Соком ласк наливаются травы, восходят новые травы, созревают новые травы.

И это солнце, и гимны кузнечиков, и белые солнцем травы, и горячая земля — я вхожу в этот мир, он принимает меня, расступается передо мной, смыкается за мной.

И ручьи, реки, озера моих воспоминаний прозрачнее лунного света.

72

Свой первый из десяти чемпионатов мира я выиграл в Сан-Франциско. Еще выступали Ямабэ, Шестэдт, Мунтерс, Шрейнер, Хлынов — легендарные имена! Тогда не было этой чехарды чемпионов. Сила долго и упорно добивалась в тренировках, и различные химические препараты Мэгсона вдруг не выводили в чемпионы вчерашних «недорослей силы», и Альберт Толь тоже тогда выступал, а Харкинс работал в первом тяжелом. Это был его пя-

тый чемпионат и последние два из них он выиграл с сенсационным преимуществом.

В тот год я стал первым на чемпионате страны в Орле, вторым оказался Земсков, а многократный чемпион страны Глебов занял пятое место. Третьим за мной пробился Осипов.

Земсков подстраховывал меня в Сан-Франциско. Мы выиграли у Ростоу и Сигмана. Все три года после ухода Тронтонна Ростоу был чемпионом мира.

Ростоу, Сигман, Цольнер, Гортон, Дювалье, Сеебах...— крутые спины и плечи, заросшие мясом мускулов, бочкообразные ноги, руки в пятьдесят сантиметров окружностью по предплечью. Я терялся среди этих людей. Я был в половину уже любого, хотя весил более ста десяти килограммов. Когда я стоял на параде среди этих атлетов, зрители соболезнующие улыбались мне.

Неуклюжие в жизни и ловкие, отчаянные на помосте, они по-хозяйски разгуливали за кулисами, знали всех тренеров и судей, хлопали друг друга по голым сырым загривкам и снисходительно ухмылялись. На разминке их мгновенно окатывал пот. Мокрые, взъерошенные, они грузно перекатывались по залу, лязгали дисками, набирая веса, оглушая всех басами. Я был худ вышколенностью молодых мышц и тонок. Но я знал: никто из этих атлетов не выстоит против меня.

Я выиграл этот чемпионат, потому что отверг рутину тренировок. Я верил в разумную силу, презирал результат, добытый уродливостью чрезмерного собственного веса. Простые понятия вдруг подвели меня тогда к осознанию первых наивных закономерностей силы. Тренировочные нагрузки определяли интенсивность и объем. Интенсивность нагрузки означала напряженность тренировочной работы и степень ее концентрации во времени. Объем и интенсивность нагрузок были неотделимы друг от друга.

Первый примитивный анализ их взаимоотношений и принес мне успех. После полуторалетнего экспериментирования стало ясно, что одновременное увеличение интенсивности и объема может происходить лишь до известного предела. Последующее увеличение объема неизбежно задерживает прирост интенсивности, а затем и снижает. Увеличение же объема нагрузок связано с длительными физиологическими и морфологическими изменениями в организме. Тренировка на определенных

объемах создает фундамент для наращивания силы. Чем значительней объем, тем больше времени надо для его освоения. Конечно, одновременно растут и силовые показатели, но весьма незначительно. Повышение же интенсивности нагрузок обеспечивает быстрый захват новых результатов. Но интенсивность сама по себе не обеспечивает глубоких приспособительных реакций. Поэтому тренировочный результат быстро теряется, если его не поддерживать активной силовой работой.

Это были первые робкие попытки осмыслить тренировку. Но даже они придали моим выступлениям стабильный характер. Я выступал без срывов, постоянно обновляя результат. Тогда-то в душе Жаркова и затаилась зависть...

И все же газеты после моего первого чемпионата мира сошлись на том, что я «переходная фигура». После Торнтоня ждали настоящего хозяина помоста, который должен был поражать и воображение! Я, как, впрочем, Росту, никак не годился для роли «чуда». Я нарушал традицию. Я был самозванцем среди сильнейших...

Я получал в наследство рекорды, но не славу великого Торнтоня. Это было тяжелое наследство.

73

— Знакомься, милейший,— говорит Цорн.— Гуго Хенриксон — сын каменщика и прядильщицы. Ежели исчислять собачий век четырнадцатью годами, то его возраст — три собачьих века. Однако он не утратил способности к юмору. Погоди, убедишься...

Гуго Хенриксон держится как атлеты и люди, которые намеренно разрабатывают связки. В движениях пластичность и законченность. Я-то знаю, истинная легкость приходит от силы.

Пожимаем друг другу руки. На меня смотрят внимательные черные глаза.

— Твой тренер поступил дурно,— говорит Цорн.— В Оулу испортил мне вечер. Но, словами Шекспира, все пропало, кроме ужина. Правда, еще не время ужина. Однако где водка? Именно этого продукта недостает. Гуго, отметим твое увольнение! Прольем крокодиловы слезы, дитя солнца... Сегодня я показал Гуго на дверь.

— Стихов будет меньше, но работа найдется,— переводит Цорн за Хенриксонем.— Гуго говорит, будто напи-

сал у меня кое-что.— Цорн прищелкивает пальцем: «Видишь, случается, и меня хвалят. А в общем, меньше обращай внимания на слова этого престарелого юноши...»

Хенриксон сбрасывает плащ. Цорн ставит в угол свой зонт, заботливо расчесывает волосы. Он, как всегда, щегольски подтянут.

Я достаю из чемодана бутылку «Столичной». Открываю банку сардин, выкладываю галеты. Цорн уже привык заменять вилку галетиной.

«Скроен атлетически.— Я украдкой разглядываю Хенриксона.— Он, пожалуй, работал бы в полусреднем против Мунтерса или Семена Карева. В этих весовых категориях у природы особенно качественный материал.»

— Тренируетесь? — спрашиваю я Хенриксона.

Цорн переводит.

— Я? — голос у Хенриксона с сипотцой.— В спорте меня увлекает ритм. Спорт весь из ритмов. Сила ритмична, как смена дня и ночи, как все, что природно.

— Твой тренер из тех, кому фуражка гораздо больше к лицу.— Цорн усаживается за стол.— Привык командовать.— Он зол на Поречьева.

— Поречьев знает свое дело,— говорю я.— Ради рекорда и победы готов перекачать свою кровь в меня и «железо». Он помешан на любом моем выступлении. Ему все мешают, кроме меня.

Цорн переводит. Хенриксон, опустив руки на подлокотники, слушает. У него бледное худое лицо, но лоб слеplен крупно.

— ...Поречьев из одержимых, Максим,— продолжаю я.— Для Поречьева ты случайный человек, а я — вся жизнь. Во мне та сила, которую воспитывают десятилетием... Не пьете? — спрашиваю у Хенриксона.— Или у вас завтра тоже соревнования?

— Нет, благодарю,— Хенриксон усмехается.— Всякий раз, когда выпью, я вижу себя со стороны. Зрелище не из приятных.

— Сейчас узнаю о ваших тренировках,— говорю я и ощупываю его руки, плечи. Мне тоже достаточно прикосновений, чтобы прочесть мышцы.

Хенриксон весь из наработанных мышц. И они в тонусе недавних напряжений.

— В спорте вы не новичок,— говорю я.

— Бред! — Цорн наливает стакан.— Гуго и спорт? Бред! — Цорн выпивает водку.

Хенриксон составляет стулья к стене, сбрасывает пиджак. Наклоняется, разминая мышцы. Вытягивает руки и резко с запасом крутит сальто. Одно за другим — серию отличных прыжков.

— Дабы подтвердить правоту знатока,— Хенриксон вытирает лоб, поворачивается к Цорну:

— Мой секрет, Макс.

— Обалдеть можно! — бормочет Цорн.

Мне чудится, будто я встречал Хенриксона. Да, я несомненно видел его. Конечно, видел, но где, когда? Вот уж действительно наваждение!

— Кто такой поэт? — говорит со вздохом Цорн. — Циркач, который не только свои интимные переживания делает достоянием всех, но и развлекает бедных обывателей трюкачеством. Публичная профессия!

Хенриксон похлопывает Цорна по плечу.

— Как же ты мне надоел! — ворчит Цорн и снова наливает водку.

Хенриксон в черном свитере. У него тонкие, но мускулистые руки. Он совсем не закован мускулами. Мне всегда по душе спортивная раскованность движений.

— Много слышал о вас, — говорит Хенриксон.

Цорн переводит за ним, потом достает из портфеля книгу. Говорит Хенриксону:

— Исследование по органической химии. Уж это ты не читал.

У Цорна актерская дикция. Говорит, не съедая окончаний. И «р» у него чистое, раскатистое, не глухое.

— А как тебе Билл Хэзлак? — Цорн вытаскивает из кармана томик в сафьяновом переплете.

— В этом жанре мне по душе другие авторы.

— Ну и читай их! — Цорн раздраженно засовывает книги в портфель. — Слава богу, Хэзлак писал не для таких! Не нравится — не читай! Писатель обращается к тому, кому понятен. Если угодно, он обращается к своим сообщникам. К тем, кому нужен. К тем, кто нуждается в нем. Зачем это стремление унижить то, что непонятно и не в твоём характере?..

— Лучшее выпей, — говорит Хенриксон. — Остуди свой пыл, чернокнижник.

— Еще совестлив, — кивает на Хенриксона Цорн. — А есть и такие, которые не гнушаются марать все, что не в их вкусе. Они, как политики, полагают, будто истина только у них. Разве новому для утверждения обязатель-

но презирать или пачкать старое? Новое должно утверждать себя качеством, мощью, совершенством. В ценностях старого гармонии нового.

У Хенриксона выразительный рот. В нем оттенки всех чувств. Смена всех чувств.

Цорн делает большой глоток водки. Бормочет:

— Словами дражайшего поэта: принимаю ликерный душ!

— Водочный душ,— замечаю я.

Мерно перескакивает секундная стрелка на моих часах. Время! Скоро мое время! Рекорд ждет...

Цорн поворачивается ко мне и читает:

— И выцвели цветков соблазны и названья...— Он читает с иронией. Потом пускается в спор с Хенриксоном.

— Если можно, переводы,— прошу я Цорна.

Я не сразу понимаю их, когда они переходят на французский. Я не настолько владею языком.

— ...Вольтер был несносным лишь для злых и глупцов,— чеканит Цорн.— Великие скептики боролись с невежеством, которое отупляет, с заблуждениями, которые закабаляют, с нетерпимостью, которая тиранит, и с жестокостью, которая, глумясь, торжествует. Их принимали за шутов и позволяли плясать, фиглярничать, лицедействовать. Но тысячи раз прав Анатоль Франс! Постоянная ирония — лишь выражение их отчаяния. Гении этой литературы смеются, дабы не плакать. Маска шута! Славная маска, спасительная маска!..

Хенриксон приник к спинке кресла. Я почти не сомневаюсь: встречал его.

— ...Кто входит гостем в дом тирана, становится его рабом,— продолжает Цорн.— Сие превосходно осознавали Рабле, Сервантес, Вольтер, Руссо. В обществе живы человек не может не мельчать. Его стирают механизмы общества, подгоняют под шаблон, вминают в шаблон. Да, да, я отрицаю, но это не значит, что у меня нет веры, милейший Гуго! Вспомни притчу Дидро: дабы найти дорогу ночью в дремучем лесу, у меня есть слабый огонек, подходит богослов и задувает его. И я должен питать благодарность к этому богослову?.. А кто такие Мальцан, Гэйдж, Готше, как не богословы? Скепсис — выражение слабости? Вольтер — сварливый старик? Гуго, ты вопрошаешь по-евангельски; как можете говорить для добра, если вы злы?..

— К дьяволу панихиду! — перебивает его Хенриксон. У него слегка тягучий, но приятный французский выговор.— А жить.., жить ты разучился! Дьявол с ними: деньги, глупость, обиды! Мы же богачи, Максим! У нас все! Мне безразлично, какую работу выполнять — лишь бы оставаться самим собой. Пока мне служат мозг, руки, я счастлив. Разве там из своего превосходства господя видят солнце другим и оно ближе к ним?.. Я очень привязан к морю. Я должен время от времени выщупать руками камни, солнце на этих камнях, помять мох, услышать жизнь в листопаде, рассветах. Я должен прижаться к дереву и почувствовать его жизнь. Гонка за ультрасовременными коробами-домами, сверхмощными лимузинами, раболопием людей? Разве радостно жить в рабологии окружающих, продажности окружающих? Первый снег! А пар над лугом, дыхание прибое, желтые листья! Прочь любой достаток, если во имя этого фаршировать мозги смириением. Господи, я ведь живу! Я заболеваю только тогда и лишь тогда, когда засиживаюсь здесь, в этом изобилии высших и всяческих достижений и мерзости изощренных отношений! Правда, здесь святость холстов, искренность музыки, мудрые книги. И здесь женщины! Они влюбляют меня, обманывают меня и делают счастливым. В моем мире все естественно и без подлогов. А ведь там — с самых первых ступеней — поклоняются обману, стирают свою жизнь ради обмана, расплачиваются жизнями ради обмана. Нет ничего забавнее идолов людей! Зачем эта водка? Мой мир чище и привлекательней алкогольного миража. Обман нуждается в пошлости, возвеличивании. Там иначе и не представляют: счастье — товар! А разве можно заплатить за гирлянды инея, лучи, потерянные в прибое, покой забвения, хмель забвения? Я лишен зависти. Лишен от рождения — наверное, это самое главное мое счастье. Оно освобождает. Забавно, но я даже серьезно не болел. Не ведаю, что есть болезнь. Если что и раздражает меня и с чем не могу смириться, так это с любовью людей. Горькая любовь! Она преследует, травит, указывает и навязывает. Мы постоянно казим в себе хорошее. Мы в мире готовых решений, понятий, вещей и predeterminedных судеб — и это уже конец множества начал, самых чудесных начал...

— Побереги для рифм энтузиазм, — замечает Цорн. — Я скверный бодритель. Никудышный!

— Я не помню, чтобы ты так пил,— говорит Хенриксон.

— Верно, вместо хлеба и воды — водка!

— Дожди,— говорю я.— Сумерки. Опять сумерки.

Цорн, не поворачиваясь, спрашивает меня:

— Нравятся ноктюрны Шопена? А Рахманинов?..

— Скарабей забыл о солнце,— говорит Хенриксон.— Кто же теперь выкатит для нас солнце?..

74

Вкус к борьбе я почувствовал лишь на своем втором чемпионате мира в Гаване.

Сначала я так горел, что не видел судей. Роджерс обошел меня в жиме. В рывке я кое-как отыграл пять килограммов. В толчковом упражнении я был лучше Роджерса, но я уже не верил себе. Я всего лишь во второй раз видел зал чемпионата мира. Я был один на один с ним. И движения мои утратили свободу. Я работал на силу. Работал неуклюже и грубо, но ничего не мог с собой поделаться...

Я взял первый вес только на силу. Может быть, в этом была своя правда. Когда работаешь на силу, много не поднимешь, но, как правило, подходы фиксируешь. А когда я зафиксировал первый подход, все стало иначе. Уже был зачет! И у нас с Роджерсом складывалась одинаковая сумма! Правда, я был немного тяжелее Роджерса. Но все стало иначе. Я обеспечил команде зачет, и совсем неплохой. Я был вторым, а это тоже неплохо.

И когда я пошел на вторую попытку, я не узнал себя. Мышцы снова слышали «баланс», соразмеряли усилие, не ошибались с очередностью включений. Я сразу уловил эту перемену. Я помедлил с выходом. Я долго натирал грудь магнезией, долго канифолитл подошвы. Я давал время созреть этим чувствам. Я еще не умел тогда полностью переключаться на нужные мысли. Но в старте я уже был другим. Мягко, пластично вошел в старт, расслабленно натянул все мышцы, услышал и проверил все мышцы. Я как бы вошел в будущее напряжение, взглянул на свои мышцы и тут же вернулся назад.

Я чуть вывел плечи вперед. Расслабленно вытянул руки. Рычаги всех усилий были взведены. И я взвалил тяжесть на ноги. Руки и спина только держали вес, но не работали. Ноги преодолевали инерцию веса. Важно

было выдержать скорость, передать усилие на скорости, необходимой для наивыгоднейшей работы спины, подогнать усилие ног под эту скорость. И я слил эти две скорости. Спина стала принимать тяжесть, подхватывать тяжесть. И когда я был в «тупых углах» — это положение мышц, в которых они развивают самое большое усилие, я включил руки. Включил не сразу, а тоже ритмично ввел в усилие. Но это было мощное короткое введение, когда тяжесть сразу становилась очень большой.

И с каждым мгновением я узнавал то лучшее, почти идеальное усилие, по ощущениям которого всегда вымеривал свою работу. И от этого я наращивал усилие уверенней. И вес становился моим... Зал не ожидал такой перемены. А потом я услышал нарастающий вой. И штанга совсем потеряла свою промадность. Я гнал ее, а она подчинялась мне. Восторг подхлестывал меня.

Третий подход зал уже ждал в нетерпении. Зал хотел вместе со мной примериться к новому «железу». И от этого нетерпения зала меня залихорадило. Я уже не остерегался веса, я сдерживал себя, чтобы не нарушить очередность работы. Я выстраивал очередность всех усилий и мыслей.

Движение получилось безукоризненным. Я был оглушен залом. Эти мгновения взламывали дорогу к силе. Я уже видел себя в этой новой силе, примеривался к новым весам. Я вдруг успел ощутить затаенную силу. Я заглянул в будущее своей силы. Я знал, как поступать, чтобы эти веса стали моими. Я увидел все те тренировки...

Тогда в Гаване я получил свою вторую золотую медаль, но Земскову не повезло, он даже не попал в призковую тройку. Я выиграл у Сазо и Роджерса. Канадец Сазо не пытался переиграть меня. Он брал только свои веса.

Роджерс был новым фаворитом Мэгсона. Я до сих пор считаю, что тогда при правильной тренировке он мог бы надолго отнять у меня самый тяжелый рекорд — рекорд в толчке. У него были грузные бедра. Настолько грузные, что он не мог в старте захватить гриф — бедра не пускали руки. Он, как и Торнтон, вынужден был захватывать гриф между ног. Он и опускал руки на гриф между ног. Хват получался очень узкий, но все восполняла сила его ног. Он вытягивал штангу мощно, ровно и заваливал ее почти в стойку на грудь. Ноги справлялись даже с таким противоестественным выполнением упражнения.

Вскоре после гаванского чемпионата Роджерс исчез. Может быть, он не поладил с Мэгсоном. Может быть, разочаровался в спорте. Он исчез, и больше я не слышал о нем.

75

Мой час решать. В чем просчет? Есть ли просчет? Где ложь? Где трусость? Где слабость? В чем жалость к себе?

Откидываюсь к спинке скамейки. Готов сидеть вот так, не двигаясь. Я один в сквере. Деревья молитвенно вознесли к небу голые ветви.

Но мечта? Неужели мечта может быть ношей?! Почему, когда я атлет, меня особенно ценят? Столько газет, встреч, медалей? Кто я без «железа» и своих мускулов? Куда иду? Только ли усталость предала меня?..

Измучили эти встречи с собой.

Вспоминаю Вену. Там тоже не было надежды. Я засох на первых подходах во всех трех движениях. Харкинсу оставалось лишь подобрать золотую медаль. Однако он заказал вес на пять килограммов выше рекордного. Он добивался чистой победы. Только чистой и непременно чистой. Искал доказательство своего превосходства. Он не из тех, кто подбирает золотые медали...

На всю жизнь запомнил бетонные своды зала. Высокий подиум для помоста. Свежее дерево, затоптанное всеми участниками. Мы соревновались последними. Шестой час подряд...

Я лежал на раскладушке. Надежды отыграть не было. Я играл в невозмутимость. Раскладушкой служили носилки. Я старался не смотреть на толстоватые ручки, выкрашенные в красное.

И Харкинс взял рекорд... почти взял. Штанга, которая уже была наверху, «загуляла», когда судья-австриец Хэффнер собирался засчитать попытку.

В последние минуты таких поединков озлоблен на всех, кто выдумал большой спорт, кто наслаждается зрелищем; ненавидишь себя и долг. Но уже к тому времени я приучил себя ни во что не ставить свои чувства. Если бы я хоть раз дал им волю, вряд ли я был бы атлетом.

Харкинс повредил позвоночник. Он спустился с подиума, улыбаясь, но за кулисами превратился в беспомощного полупарализованного человека. Чтобы притупить боль, он выпил бутылку бранди. Пришла «скорая

помощь». Харкинс отказался от носилок. Бледный и естественно прямой, он ступал помертвевшими ногами. Банда репортеров снимала это шествие боли и спортивного краха. Газеты обошли фотографии искаженного лица Харкинса...

Я остался чемпионом. Борьба есть борьба. В этот раз не повезло Харкинсу.

Наутро я читал газеты и дивился всеядности этой пишущей братии. Смаковали боль, превозносили мою тактику, а я был просто слаб, лгали ради своих паршивых денег и просто ради удачного словца. Я представлял, как они пишут свои отчеты. Они знают, что если мы есть сегодня, то нас не будет в большом спорте через несколько лет. Я видел, как они пишут. Я видел их в барах, в наших раздевалках и в судейских комнатках, в номерах гостиниц. И я видел других ребят, которым не везло.

Три месяца Харкинс был загипсован с ног до головы. Однако на следующем чемпионате в Берлине Харкинс вместе с Кирком стоял со мной на параде. И его раскаченные плечи не сулили легкой победы. Я не ждал его и был перетренирован. Я готовил новые результаты, еще только готовил. На Кирка меня бы хватило. Но Харкинс!

Уже на разминке я сообразил, в чем дело: Харкинс все тренировки свел в основном к жиму и угрожал мне в моем коронном упражнении — жиме. Я еще не видел у атлетов таких грудных мышц и «дельт». Такие мышцы мог дать только жим лежа. Но Харкинс прибавил и в собственном весе! Это означало, что в жиме я лишился прежнего превосходства, а именно оно давало перевес в мою пользу.

Я выжал на пять килограммов больше своего лучшего результата и все же проиграл. Я проиграл упражнение, в котором Харкинс обычно уступал мне на десять-пятнадцать килограммов!

Мне было тридцать лет, а Харкинсу за сорок, и много за сорок. У него был травмирован позвоночник, а я был молод и здоров. Я физически воспринимал неприязнь зала.

В рывке Харкинс снова накрыл меня! Мои шансы свелись к нулю. Поречьев, пережив потрясение, отказался «менажировать». Его заменил старший тренер Седов. Ему помогал Сашка Каменев.

Тогда в толчковом упражнении я загнал вес на пят-

надцать килограммов выше своего рекорда! У меня не было выхода. Повторялся венский вариант, только в роли Харкинса оказался я.

Я в дверях ждал, пока уgomонится зал. Глумливая тварь поражения тарашилась на меня из зала. Седов втирал в спину пасту. Что-то бубнил Сашка. Массажист подсовывал нашатырь. Ревели динамики, зал, мое сердце, секундомеры на табло.

Но все замерли, когда я шагнул на помост. Я не стал ждать тишины. Во мне вдруг пробудилось то чувство, которое знакомо тем, кто рискует. Сейчас или никогда! Я ощутил ход «железа». Оно ожило — и я шагнул на сцену. Я уже знал, что подниму «железо». Важно было донести, не потерять это ощущение.

Я был пригвожден к помосту всеми прожекторами мира. Неповиновением мышц отзывался во мне каждый враждебный возглас. Я улыбался залу. Я выдавал ему эту обязательную улыбку, но уже никого не видел.

Ни на одной тренировке я даже близко не подкатывался к этому весу. Я знал, что будет в моих руках через несколько мгновений, каким будет ощущение тяжести. Я забыл о публике. Я заставил отречься от жалости к себе и ко всем. Приказал мышцам держать вес, даже если все полетит к черту и я буду трещать. Победа распорядилась мной. Необыкновенная легкость вдруг легла в мышцы, в мои движения, во все слова и удары сердца.

Я расковал мышцы. Я раскис плетью. Это очень трудно — встретить удар расслабленным, но этого требовал расчет.

Все решил точный посыл с груди. «Железу» некуда было деться.

Остаток той ночи мы просидели с Харкинсом в моем номере. Сначала разделались с бутылкой водки. После Харкинс принес все, что сумел найти у своих ребят. И мы все это прикончили. Как я мог отказать своему товарищу, если он прощался со спортом?..

Я был возбужден и не пьянел. К тому же потерял столько воды за часы борьбы, что вино и виски всасывались мгновенно.

Харкинс просидел в кресле ночь, почти не меняя положения, без пиджака, в расстегнутой рубашке. После соревнований он так и не принял душ — сбегал от репортеров. Шея и грудь у него были забелены магнезией.

Любое движение отзывалось перекатом мышц. Руки устало покоились на поручнях кресла.

Мы сидели за журнальным столиком. Приемник передавал джазовые пьесы. Я запомнил фортепианное соло Оскара Петерсона и неистовый саксофон Чарли Паркера «Птицы». В мускулах вызревала боль перенапряжения — обычная после таких соревнований. Безмятежность ложилась в мускулы, перебирала мускулы, огрубляла мускулы.

Надменность силы сказывалась в повадках Харкинса. Казалось, бог силы позволил себе на одну ночь признать неединственность своих мускулов. К тому времени я уже понемногу научился понимать людей. И я не злился.

Это была ночь, отмеченная в наших судьбах. Ночь из светлых рифм воспоминаний, откровенности, братства силы. Мы странствовали в угодьях сильных. Мы были концом и началом прошлых и будущих удач, свершений и азартом, который был для нас выше расчета. Мы были хмельны борьбой и святостью азарта.

И первым, за кого мы выпили, был Торнтон. Это имя назвал я. Харкинс кивнул в знак согласия. Ричард Торнтон по-настоящему велик. Он единственный, кто не познал поражений. Шестнадцатилетним юнцом я стал свидетелем триумфа Торнтона. И уже тогда я решил, что достану его результаты. Мышцы не обманывали. Кроме мышц, я уже знал кое-что о тренировках. Вернее, знал, что необходимо искать, отрицать. Это самое верное средство — не шадить себя. Кто надеется увидеть свое солнце, должен быть готов к соленым радостям дней. Это следует знать, дабы после не клясть судьбу, не лгать на свое дело.

Разменные монеты моей жизни — крохи познания. В конце концов они вывели на результаты Торнтона. Однако великий Торнтон уже не выступал. Его отдельные силовые трюки мне не удавались до прошлого года. Полтора десятка лет я примеривался к ним. Я даже начал верить в их недоступность. И это я, который верит лишь в то, что все в этом мире — великое движение и великое изменение. В этом познании не было места кумирам, даже таким, как Торнтон, ибо кумир ставит точку там, где ее нельзя ставить: перед неизбежностью изменений... Да, я сотворил кумира. И я понял: когда слаб, когда очень устал, когда согласен бежать в упряжи затверженных символов, сотворишь себе кумира.

Я не мог считать себя сильнейшим, зная, что есть веса, которые Торнтон освоил, а я не смел даже подступить. Я отрицаю исключительность. Признание исключительности есть признание правомерности смирения. А я чувствовал себя неполноценным чемпионом. Сила Торнтон укоряла, преследовала, насмехалась. Своей единственностью Торнтон разрушал мою оценку назначения жизни. Я не мог смириться с господством Торнтон, чего бы это мне ни стоило! Экстремальные тренировки обесценили рекорды «королей силы». Трюки Торнтон стали забавой. Я потешался над ним, а «экстрем» — надо мной...

Красные кирпичные дорожки сквера выводят к площади.

Тоскливое серое небо. Сколько же дождей в этом небе?..

Зори рассветов, белые снега, нежность...

Совместимы ли мои миры, эти миры? Не есть ли отрицание одного невозможность другого? А может быть, жестокость к себе и предполагает тот мир, обнажает тот мир? Может быть, жестокость насилия над собой и определяет мощь чувств, красок, звучание? Может быть, эти миры нераздельны? И один следствие другого?

Я разгребаю всю груду прожитых лет и ищу, ищу ответ...

Обо мне однажды написали, будто я в спорте случайный человек. Близкие обиделись, а я — нет. Это утверждение верно, и оно же глубоко неверно. Спорт — способ проявления отношения к жизни. В этом суть противоречия. Отсюда мое растущее безразличие к славе, почестям, победам. Для моего дела это ничего не значит. Всегда есть человек. И лишь действует он в другой среде. Вот почему для меня имеет значение лишь разум, воля и действие...

76

Полдень, а усталость как ночью или после «пиковой» нагрузки. И словно не спал, никогда не спал. Забыл все сны... Дурею от сонливости. Постукивают двери лифта. В дверь придушенным гвалтом врывается улица. Названивает телефон. А я проваливаюсь в забытье...

Прихожу в себя неожиданно. Это пробуждение как удар. Разжимаю и сжимаю пальцы. Руки затекшие, непослушные.

В каждый день и в каждую ночь возвращаются тренировки-«пики». Продукты распада экстремальных тренировок засели в тканях, нарушили сосудистую гармонию. Именно поэтому мышцы отказывают на выступлениях. Тренер не ошибся, когда говорил о моей новой силе. Она вызревает, но ее пора еще не наступила. Каковы бы ни были просчеты, я создал прочную и качественно новую базу для результатов. Значит, все не напрасно.

77

Майкл Ростоу, как и почти все тяжеловесы, намеренно наел вес. За три года после ухода Торнтона он прибавил пятьдесят килограммов. У него были все возможности для борьбы со мною, но с прибавлением веса он уже не мог тренироваться как прежде, а без настоящей тренировки нет результата, сколько бы ты ни весил и какими данными ни обладал. Тогда еще ничего не знали о «химической силе» и препаратах типа «зэт», которые выпускают предприятия Мэгсона.

Ростоу был трехкратным чемпионом. Он не стал рисковать славой и заявил об уходе.

У Мэгсона был выбор. Но всем его ребятам я предложил такой темп роста результатов, что они отпали один за другим. А на чемпионате в Софии у меня вообще не было сколь-нибудь серьезных конкурентов.

Харкинс выиграл семь чемпионатов мира в первой тяжелой весовой категории. Кого бы мы ни готовили под него: Лобытова, Усова, Хотина, Языкова — все проигрывали. Слава короля помоста сопутствовала каждому его выступлению. Был лишь один титул, который ему не принадлежал — титул сильнейшего атлета мира. С тех пор как десять лет назад я стал чемпионом мира, этот титул мой.

Харкинс рассчитывал прибавкой собственного веса поднять свой результат. Он не ошибся. Он почти догнал меня и в собственном весе и в результатах. Он явился в Чикаго на чемпионат мира и отказался выступать в первом тяжелом — это случилось за двое суток до соревнований во второй тяжелой весовой категории. Я должен был полагаться только на свои возможности, изменить что-то в своей спортивной форме уже было поздно. И я не знал ничего о новой силе Харкинса. Никто не видел его тренировок.

Газеты, знатоки, болельщики, атлеты «хоронили» меня. Распространялись слухи о рекордных прикидках Харкинса. Мэгсон ликовал. Все примерялись к моему прошлому. Мои рекорды были забыты. Все ждали нового хозяина.

Обычно я не ставлю свою подготовку в зависимость от конкуренции. Я непрерывно готовлю новые результаты. В Чикаго я приехал, реализовав силу двухлетнего эксперимента. Это был скачок в новые результаты. На разминке я не открывался. Я ждал своего часа. Я хотел одним выступлением отбить охоту у Харкинса к соперничеству. Лишить его всякой надежды. И я буквально раздавил его.

Ни Мэгсон, ни мои соперники, ни публика и знатоки не учитывали одного: мои формулы отрицают бытие и силу без движения. Я не ждал силу, не зависел от капризов тренировки и случая, я назначал себе силу. Я заранее обрекал на неудачу все попытки обыграть меня. Я всегда накапливал новую, очень большую силу. Я перебирал, выводил формулы, рассчитывал и видел, что для этого нужно. И погружался в соленые купели тренировок.

Харкинс не спасовал, как Ростю, Сазо, Роджерс или Кейт. Он пошел по моему следу. Мои тренировки не были секретом. И он весьма преуспел. Но вся его беда была в том, что он опаздывал. Он выходил лишь на мою вчерашнюю силу. Он копировал мои вчерашние методы, внося, разумеется, и свое. И все же это был лишь вчерашний день. Харкинс был обречен на поражение. Но он был велик в борьбе. И я дорого заплатил за свои золотые медали в Вене и Берлине.

Три года Харкинс не щадил себя на тренировках, три года почти доставал мои рекорды и даже улучшал, когда я уходил в черновую работу и мои результаты застаивались; три года он приезжал на чемпионаты с совершенно новыми для себя результатами, и, однако, я отрывался от него. Правда, в Вене и Берлине из-за опробывания новых приемов я оказался перетренированным. В этом риск нового — впадать в ошибки, нести бремя ошибок, расплачиваться тяжестью ошибок.

Я знал свои возможности, знал, как вызвать их к жизни в кратчайший срок. Я не был какой-то исключительностью. То, что я знал и сделал главным в своих тренировках, Харкинс начал осознавать слишком поздно,

и, в общем, он двинулся по верному пути поиска. Ошибки лишь уточняли направление движения, но не препятствовали движению. А Харкинсу было уже за сорок — и он тоже ошибался...

Харкинс — великий атлет. Я не изменил своего мнения и после побед. Он бы мог много раз быть чемпионом мира в первом тяжелом весе, но не отказался от борьбы со мной. Три года гонки и поединков доканали его. Тогда ночью после берлинского чемпионата у меня в номере он признался в этом. А ведь у него всегда был выход — вернуться в славу, к победам и коллекционировать эти победы. В первом тяжелом не было никого, кто мог бы противостоять ему в те годы. Стоило только захотеть, а согнать собственный вес безделица...

Эти годы оставили свой след и во мне. Я впервые стал ощущать сонливое безразличие. Сказывались издержки экспериментов, напряжения поединков. Теперь мне ясно: я уже не «восстанавливался» от тренировки к тренировке, и усталость многих лет поджидала меня...

78

Я могу и без «экстрема» прибавить в силе — достаточно наесть вес. Это не столь сложно. Поречьев спорит со мной, а я отказываюсь звать уродство в свои союзники. Не верю в этот союз. Презираю этот союз. Отвергаю.

Высшие проявления природы — а сила, безусловно, относится к их числу тоже — не могут не быть и совершенными по форме. Высшее качество неизбежно требует высшей формы, как наиболее приспособленной. Высшая форма есть неизбежность по своему существу. И это высшее, как сила, например, не может находить решений, не облекаясь в наиболее рациональную, экономную форму. А это неизбежно делает ее естественной и привлекательной по форме. Любое другое решение природа отвергает. Естественный отбор выковал совершенство.

Не уступлю в этой борьбе. Уверен в правоте. Разум — оправдательная причина жизни. Я найду решения, найдил. Сила медленно вызревает во мне. Всякая большая сила вызревает медленно и мучительно...

Едва сдерживаюсь, чтобы не заснуть. Потом подпираю рукой голову и закрываю глаза. И в дремоте по-прежнему слышу свои мышцы. Это почти профессиональ-

ная привычка — всегда прислушиваться к своим мышцам.

Я перемогаю себя. Встаю. Поднимаюсь в лифте. И в своем номере засыпаю почти мгновенно. И какой же это сон!..

Слышу, как журчат солнечные лучи.

Разве лучи журчат?..

Ах, это сон! Сон из моего детства... Бревенчатые стены нашего дома. Засыпая, я разглядываю сучки. В них можно угадать звериные морды, завихрения метелей, вырисованность любых чувств. В пазах сухая конопатка из мха. Бревна такие толстые, пузатые. Они будто отходят глубокоим звоном под ладонью. Тугие, прохладные, гладкие. В трещинах — медвяные капли смолы...

Утро из моего детства.

Зайчики скользят с бревна на бревно. Гаснут, снова вспыхивают, дробясь на множество новых бликов...

За окошком смутное бело-зеленое пятно леса. Стекла индевеют узорами. Из щелей форточки струится молочноватый пар. Опускаю ноги в валенки, набрасываю тулупчик. Дрожу от нетерпения. Солнце! Опять это немое, головастое чудо!

Я слышу за перегородкой осторожные мамины шаги, гул огня в печи, хруст капусты под ножом...

Бегу к окошку. Дышу на стекло, сцарапываю наледь ногтями. Валенки покалывают босые ноги, но тулупчик увесисто мягок и очень приятен голым плечам. За острыми верхушками елей синее небо. Очень синее над крышей и бирюзовое над белой землей. Что чище этого неба? Роднее, заманчивее?..

Ели разрезаны тенями. Пустота завораживает. Долго смотрю в глубину теней. Ели облетают снеговой пылью. Лес тонет в голубизне неба. Наст огнисто ленив в неровностях. Под крышей влажноватые наплывы голубовато-прозрачных сосуллек. У крыльца в сугробе — глыба льда, таинственная, строгая, отливающая самыми неожиданными цветами.

И каждая крупинка снега искрится. И все огни сходятся лучиками в моих глазах. Встаю на табурет и дергаю форточку. Она не сразу поддается, припаянная ледком. Ледяные крошки остаются на губах и, пристав к тулупу, тут же оплывают темной влагой.

Раздельностью каждого звука врывается тишина в дом. Тягучая тишина зимы.

Я жадно выглядываю в форточку. Как сияет воздух! Как прозрачен этот воздух! Над деревней розоватые дымы. Очень медленные и пушистые, точно лисьи хвосты. И в этой тишине я вдруг улавливаю серьезный, озабоченный перестук капли. А потом уже слышу, как круглоритмично набирает свои свисты московка, коротко попискивает поползень и по дворам беззлобно поругиваются собаки. Слышу скрип снега в далеких шагах и глухой, захлебывающийся стук ворота в срубе колодца...

Ржаво-темный бок стожка соломы за сараем отходит бледноватым паром. Снег у дома подопрел и расползся на дырки. Крыша сарайчика в черных дымных проталинах, отороченных кружевами тончайшего льда. Пахнет снегом, ледком и прелой соломой. И в моих вчерашних следах на снегу плавное смешение холодных красок...

Я брежу этой отнятой жизнью. Вернусь к ней. Вернусь!

79

— ...Восхитительный канцелярский слог,— говорит Цорн. Он уже с четверть часа читает отчеты о парламентских дебатах.

— Не скучно? — спрашиваю я.

— Общепринятое суждение: газеты формируют мнение. Но ведь в подобной писанине нуждаются подписчики. Процесс обоюдного разложения, довоспитания...

— Об этом ты уже говорил. А что еще написал Стэнли Джой? — спрашиваю я. Стэнли Джой — автор статьи в «Реюньоне».

— Последние годы ты пренебрегаешь тренировкой. Боишься конкурентов. Определенные веса стали для тебя психологическим барьером...

— Но он же не видел ни одной моей тренировки? Конечно, мы не сильнее тех, кого сменили, а кто нас сменил, тоже не будет сильнее. Все в тренировке. Более основательное знание — вот в чем секрет. Главное — коллективный опыт. Я ведь тоже начинал с чего-то несвоего...

— Хочешь быть благородным.— Цорн провожает взглядом женщину. У нее белые волосы, красные помадные губы и раскосо подведенные тушью глаза. Голубое платье, длинное и узкое, заставляет ее идти частыми шажками. Оглядываясь, она отводит пряди волос с глаз.

Портье подхватывает ее покупки. Женщина стягивает перчатки.

— Кто в твоей семье русский, Максим?

— Отец чистокровный саксонец. Меня поэтому и мобилизовали в корпус Дитля. Я скрыл знание русского, точнее, проявил сверхпосредственное знание русского. Иначе служить бы мне у дьявола на живодерне. Абвер, гестапо особенно интересовались немцами, владеющими русским языком. С отцом мать порвала еще в 1935 году. По матери я Ковалев. Родным считаю русский язык.

— Максим, мне бы накрыть рекорд!

— Воля — это всегда успех, — передразнивает меня Цорн. Он склоняется ко мне: — Не обижайся! К дьяволу обиды! На свете много несчастий. Мое — жизнь в разладе со временем. Кто к этому присудил, вероятно, и господь не ведает. А твое сводить счета с собой? Ошибаюсь?..

80

Еще четверть часа отведены распорядком на прогулку. Потом время отдыха. Обязательного отдыха. Размышляю о рекордах, о публике, об особой уверенности тех, кто обойден болью, о невосприимчивых к болям, и тех, кто надежно защищен от болей. Знаю: сам во всем виноват. Я загнал себя — никто другой. Мозг в тисках непрерывного возбуждения. Распад воли? Но всякий ли распад — несчастье? И не созидателен ли распад? Или это естественный отбор? Отбор от чего?..

Судьба, дай мужества сохранить, что люблю, слышу, зову! Не лишай счастья слышать жизнь! Видеть солнце, слепнуть солнцем, быть в рассветах всех дней и жизней! Быть мгновением свершений!

81

— Не угодно ли? — говорит шофер такси. — Объедем город. Для земляка, разумеется, бесплатно. Самый сильный атлет — русский! Прошу вас. Стеклышко можно поднять.

Ему не больше шестидесяти. Он в нейлоновой куртке на сером заношенном свитере. Кепка по-офицерски сдвинута на бровь. Реденькие усики закручены над уголками губ.

— Окажите честь. — Он распахивает дверцу мерсе-

деса.— Вот так поудобнее, подлокотнички. Не извольте беспокоиться. Не курите? Вот молодцы!..

Он закрывает за мной дверцу. Садится за руль. Поспешно натягивает перчатки. Передо мной седовато-лиловый паричок его жены. От нее пахнет лавандой.

— Эмми не знает русского,— шофер разгоняет автомобиль.— Все покажу, как в туристском бюро. Северная природа — шик!..

Я молчу. Он называет площади, примечательные дома, парки. У него тягучий, басовитый выговор, несколько неожиданный для его суховатой фигуры.

— ...Более двухсот лет Хельсинки с моря охраняет Суоменлиннин,— басит он.— По-нашему — Свеаборгская крепость. Та самая, под стенами которой в 1808 году нашими была принята капитуляция шведской армии. О восстании нашего гарнизона в 1906 году вы, разумеется, слышаны.

Под светофором он поворачивается ко мне:

— Давайте знакомиться, Павел Петрович Румянцев. Здесь — Ниило Ристо. Честь имею! Ну, как Хельсинки? Конечно, не наш Петербург...

— Через четверть часа я должен быть в гостинице.

-- Не беспокойтесь. Мы вас с ветерком! Покупочки не желаете сделать? Магазины, дешево и преимущественно для русаков...

— А как сложилась судьба для вас, выходцев из России, в последнюю войну? — спрашиваю я.

В зеркальце заднего вида я вижу полоску его лба, узкую переносицу и уже по-стариковски маленькие красноватые глазки.

— Забрили, а как же? На передовую не попал, слава богу! Знаете ли, переводчиком оформили. Отбирать из пленных военнослужащих погранчастей. Как говорится, дело подневольное...

— И как? — Я вдруг понимаю, для чего производился этот отбор. Их уничтожали на месте.

В поверхности капота скользят отражения домов. Стеклоочистители смахивают воду. Эмми закуривает. Я вижу, как она мизинцем выдвигает пепельницу и кладет спичку. Бесшумен двигатель. Лишь по тому, как засасывает меня спинка кожаного сиденья, можно догадаться о скорости. На боковых стеклах ползет грязноватая водяная пленка. В кармане дверцы пачка газет. Я приоткрываю окно, чтобы выпустить сигаретный дым.

Колеса звонко разбивают лужи. Воздух кропит лицо влагой. Вода с силой хлещет в днище машины.

— Ну и как пленные? — повторяю я вопрос.

— Не дай бог! Я ведь не истукан... Зря вы... Не ведаешь, какому святому молиться. Посадили меня потом на трофейные документы: красноармейские книжки, письма, штабные бумаги. А пачки их приказов? Бомбардировать Мурманск, Петербург, Ладогу!.. Эх, построить бы храмину! Стоглавую! Своды и купола, как у собора в Романове-Борисоглебске, а рядышком, вроде детишек, махонькие куполочки. Десятки золотых маковок! Сложить бы такую церкву! Своими руками каждый камень пригнал бы, купола вызолотил — истинно говорю... А в ней свечи, хор и успокоение. Постоять бы у аналоя. Господи, всенощную бы, а? И жизнь, наконец, без сведения счетов. Забыть все! И среди тысяч свечей — твоя! И колокола! Густой настой звона. И все тропы скрыть к святыне. Тайные тропы. У бога для праведных мест много. Стояла бы белостенная веками, неоскверненная. Велик русский бог...

Я замечаю, что мы крутимся по одним и тем же улицам.

— Молчите? — вдруг говорит он. — А может быть, вы раньше меня деру дали бы из Петрограда? Я мальцом с родными по льду в девятнадцатом. Нищими ушли, нищий и есть. А слышал, как орут на допросах?! — он колотит кулаком по рулю. — Что мне, в петлю? А видел, как шьют из «шмайссера»? А как под лед живыми?..

«Стал бы ты меня катать в автомобиле тогда, — думаю я. — Ох и укатал бы! Сказать, что у меня в блокаду мать умерла?..»

— Помилуйте, зря вы это ворошите. Истинно говорю: не было виноватых. Кто скажет, в чем чья вина?

Я возвращаюсь холодными крайними улицами. Ненавижу русских в той серо-зеленой форме. Пожалуй, так не отпустил бы, если б не моя сила. Наверное, полквартала ехал за мной и материл.

В Сан-Франциско закончился чемпионат США. Альварардо получил гражданство США, осел в Кливленде у Мэгсона. Но это не все новости. Альварардо снял рекорд в толчке, но при этом повредил левую ногу. Вчера

же Альварадо соперировали мениск. Я благодарю Мальмрута, кладу телефонную трубку. Иду в бар. Значит, завтра надо поднимать еще больший вес. Рекорд теперь выше и впервые за восемь лет не мой. Веселенькая история! Я отворачиваюсь от всех и пью «кока-колу». Конечно, этот рекорд он должен был установить. На последнем чемпионате он уже пробовал его. Теперь прибавил в собственном весе почти четырнадцать килограммов. Не дают сучать!

«Кока-кола» леденит горло. Согреваю бутылку ладонями. Вижу только стену перед собой, точнее, плинтус и красный пластиковый пол.

Этот Альварадо настоящая грудa просоленного и промускуленного мяса. Подбородок сальный, синеватый. Челка липнет ко лбу. В морщинах вязкий прозрачный пот. Но молод, как молод! А с мениском у него та же история, что была у меня. Это всегда случается в одном положении — в подседе, когда неловко принял вес, точнее, вес загоняет в неловкое положение. Что-то тупое, чужое появляется в суставе и мешает. По горячке еще можно работать. Недолго, но можно. Я повредил мениск и все-таки пытался взять рекорд.

Хруст расплзся по всему колену и вниз по икроножной мышце. Колено стало чужим, неловким, раздутым. Под утро я проснулся от боли. Я был в кураже, а вот Поречьев зря послал меня на ту попытку. Я бы не добавил к менисциту растяжения боковых связок.

Кажется, нога приросла к мозгу. Боль из прикушенного суставом мениска проложила свои бешеные пути в голову. Я не мог кашлянуть, не мог шевельнуться. Колено почернело от подкожного кровоизлияния. С вечера в номере на окне стояло шампанское. Я ведь выиграл чемпионат, и Сашка Каменев все приготовил. Мы так и договорились: выпить вдвоем, а потом уж продолжить как бог на душу положит. Я любил полусухое и «Абрау-Дюрсо». Сашка купил полусухое и «Абрау-Дюрсо»...

Я позвонил Сашке, и мы выпили. Затем еще бутылку распили с доктором. На тумбочке стоял букет астр. Я не ел сутки и охмелел. Я ничего не хотел, мне было очень хорошо, хотя нога распухала и занимала всю кровать. Мне казалось, что она распухает, а в самом деле она лишь отекала. Мне вдруг очень понравились астры. Сашка спорил с доктором. Сашка не выносил Надсона, а доктор вызубрил Надсона. Сошлись они на «Опасном соседе»

Василия Львовича Пушкина. Оба по очереди цитировали и ржали.

Я запомнил очень длинные, игольчатые астры и слегка гнусавый голос доктора. Доктор мне тоже очень понравился.

Потом я ковылял через всю гостиницу к «скорой помощи». Ложиться на носилки я отказался. Я опирался о плечи Сашки и Поречьева и молчал ересь. Сашка сыпал анекдотами и строил глазки медсестре.

День обрадовал меня. Очень ясный, спокойный. В воздухе пахло угольной пылью, и уже облетали березы. Доктор тоже говорил комплименты сестре из «скорой помощи». По-моему, она их заслуживала.

После поездки в больницу у меня появилась длинная твердая нога. Я смело ступал на гипсовый каблук. И в тот же день безо всякой помощи уехал домой.

Через год я снова выиграл чемпионат. Как и Харкинс тогда после Вены, я свел тренировку к жиму. Я привязывал к поясу гири или диски и отжимался с отягощениями в сто—сто двадцать килограммов. У меня побаливали локти, но это был сущий пустяк. Я так прибавил в результате, что даже проигрыш в рывке и толчке Земскову не отнял у меня золотой медали чемпиона страны. Веса на грудь я тащил в высокую стойку, страхуя незалеченный сустав. Тогда же у меня впервые перестал болеть позвоночник. Его растянули отягощения, с которыми я работал на брусках. Мудрость силы — все бывшие травмы. А в газетах меня снова упрекнули за пренебрежение «техникой»...

83

Тренировки почти не оставляют энергии для других дел, если, конечно, это настоящий большой спорт и ты в нем один из первых. Из зала тащишься, чтобы отлежаться, отпить мышцы водой, найти покой и массажем вернуть мышцам работоспособность. Я стал своим в этой жизни, освоился, но сама по себе игра в силу не могла надолго увлечь.

Я еще по привычке тренировался и выступал, но уже тяготился рекордами и необходимостью подчинять им свою жизнь. Я не мог быть только мускулами и всегда мускулами. Каждый день и час были расписаны во имя силы. Я перерабатывал новые и новые сотни тонн нагру-

зак. Но нехитрый и однозначный смысл их не мог стать моей судьбой. Пожалуй, последним, что еще связывало меня со спортом, был эксперимент. Я все еще искал силу. Но большой спорт незаметно заслонил все остальные дела.

Однако эксперимент стал приобретать совершенно иное значение. Привычный смысл большого спорта я заполнил своим содержанием. Я приспособил его к своим взглядам и характеру. И опять я начал черпать вдохновение в поэзии крепких мускулов. И победа, сила нашли меня в формулах борьбы.

Я вернулся в спорт, хотя формально и не покидал. И я ни в чем не раскаиваюсь. Я лишь пережил всю меру отчуждения к жизни, когда творческая суть разума исключается из активной деятельности, а жизнь сводится к набору инстинктов.

84

— Внушительные скачки! Будто у Мэгсона какой-то свой особенный рецепт.— Перед Цорном бутылка водки, баночка икры, футляр с трубкой, табакерка, книги, которые он всюду носит с собой и готов проглядывать в любую минуту. Сейчас Цорн перевел репортаж о чемпионате США. Пирсон снова прибавил в сумме троеборья.

— С увеличением веса возрастает сила,— объясняю я.— Я против такой силы. Силу надо искать в более совершенной методике.

— Альварадо выступит на чемпионате?— спрашивает Цорн.

— В этом году нет, но вообще у нас не считают это серьезной травмой.

— Эффект тренировки на небольших весах в совокупности с препаратами равнозначен ударным нагрузкам,— говорит Поречьев.— Мышечная ткань стремительно преобразуется. Это путь к физическому безобразию. Он не формирует новую природу, а выдаивает силу. Их мощь в выносливости чрева, таблетках и стимуляторах. Они разъедаются до безобразия. Препараты Мэгсона изменяют существо спорта.

— Будто провозглашаете свой манифест.— Цорн прихлебывает из стакана водку.— Но кому дело до принципов? Сила — вот манифест! Надеетесь на признание? Скажи на милость, результат не самоцель! В обществе

результат всегда ценность и доказательство. И даже не преступления карают в этом мире, а промахи! Слава! Сила! Власть! Сколько же людей готовы превратить себя в отхожее место ради так называемых святостей славы.

Поречьев тычет в газету пальцем:

— Альварато, Пирсон! Чревоугодие для целого вида спорта становится программой, почти патриотическим долгом! Таким следует лечиться, а не выставлять свое безобразие на аплодисменты. Конечно, зачем пробовать, искать, работать? Глотай пилюли, в меру таскай «железо» и жуй, жуй!.. Ну ничего, высиживают орла — выведется курица! На наших результатах каждый килограмм лишнего веса станет обузой. Мы и без «химии» выходим на новые рубежи, доказываем возможность других путей...

— Вполтрубочки табаку,— говорит Цорн.— Подымяю, а?

— Дыми, коли невтерпеж,— говорю я. Шум с улицы режет слух. Опять там автомобильная пробка. Я беру у Цорна книгу: формулы, графики, уравнения.

— О свободных радикалах,— объясняет Цорн.— Фотография, реактивы, что-то стал почитать. Увлекся. Потом проштудировал все о свободных радикалах. Уж как ими заинтересовался, не помню. А это исследование западногерманских химиков. Оригинальные преобразования!— Он раскуривает трубку. Закрыв глаза, затягивается. У него усталое и очень бледное лицо.

Поречьев расхаживает по номеру. Он в синем шерстяном костюме. «Молния» расстегнута, открывая волосатую грудь в вырезе майки. Он сводит за спиной руки и, похрустывая связками, разминает плечевые суставы. Он кряжист, крепок и еще балуется со штангой. В первый год наших тренировок он назойливо пробовал мою силу. Не раз после тренировки возились. Я чувствовал его желание свалить, осрамить меня. Зачем, до сих пор не возьму в толк. Я остерегался пускать силу, а он все назойливее пытался сбить меня. Однажды он вошел в удачный захват. Он рассчитывал, что я задохнусь и сломаюсь. Он колодой повис у меня на шее. Я сгрел его и швырнул. С тех пор он забыл свое озорство.

— Жду соревнования,— говорю я. Слова обжигают рот. Стараюсь скрыть возбуждение.

Поречьев разгоняет рукой дым, хмурится. Он умеет

произвести впечатление своей угрюмой озабоченностью.

Я готов заснуть с открытыми глазами. Опять дурею сонливостью. Прихожу в себя, украдкой тру виски.

Цорн посасывает трубку:

— ...Сергей Владимирович, какой же я собственник? Сам в лаборатории. Сам работаю, сам прибираю. У себя же в услужении...

— Во что верите?!— Поречьев подступает к Цорну.— Что свято?— Поречьев упирается руками в стол, нависает над Цорном.

Поречьев принес с собой пачку московских «Известий». Любопытно, есть ли там о моих выступлениях. Читаю:

«Тупик горнолыжника»

Да, никогда больше не появится в протоколах соревнований имя выдающегося австрийского горнолыжника Герберта Хубера.

Шесть последних лет он принадлежал большому «лыжному цирку» — этому «гигантскому альпийскому предприятию, представляющему собой смесь лыжников экстра-класса, дельцов от спорта, промышленников по производству лыж, туризма и опасности, который кочует через Альпы от зимы к зиме». Так характеризует альпийский лыжный спорт западногерманский журнал «Морген».

Из года в год со скоростью гоночного автомобиля бесстрашно носился Герберт Хубер по отвесным склонам обледенелых трасс, чтобы удержаться в элите сильнейших. Вел спартанский образ жизни: бесконечные тренировки, бесконечные переезды из одного тренировочного лагеря в другой, бесконечные старты на трассах, которые не всегда отвечают элементарным требованиям безопасности. Прибавьте к этому несчастные случаи в гонках — иногда со смертельным исходом...

Двадцатишестилетний Герберт Хубер зашел в тупик и покончил с собой. Тот самый Хубер, который в недавнем прошлом победил в слаломе феноменального французского горнолыжника Жана-Клода Килли. Тот самый Хубер, который стоял рядом с Килли на олимпийском пьедестале почета в Гренобле. Тот самый Хубер, о смерти которого австрийские газеты сообщили так: «Он был достаточно сильным, чтобы побеждать, но недостаточно сильным, чтобы жить».

Австрийский журналист Мартин Майер сказал о Ху-

бере: «Этот спорт уничтожил его. Нервный приступ поразил Хубера во время чемпионата мира в Гродентале. Беспомощный человек с трясущимися руками был отправлен на машине «скорой помощи» в больницу. Все, что могла сделать медицина, было сделано...»

«Нарушено равновесие психических процессов,— думаю я о себе.— Чрезмерной работой истощил мозг. Теперь вместо отдыха добиваю себя новыми напряжениями. И в самом деле, став могучим, я одряхлел. Неужели мне жить среди уродств мозга?»

— Опомнись, участь Хубера — не твоя! — шепчу я. Губы кажутся мне огромными, примороженными и чужими.

— ...Фейербах — признанный материалист,— Цорн закупоривает бутылку,— а для него нравственность без блаженства — слово без смысла. Увы, наши судьбы написаны! Каждому заказано, что и где говорить, смеяться, возражать. Правда, я стараюсь приблизиться к состоянию, когда нравственность меньше всего черствая нравоучительная дама. Однако жизнь весьма скупко одаривает радостями. Почему же она так безнравственна? Да и только ли со мной?..— Цорн ставит стакан вверх дном.— Скверно, а? И до чего же справедливо! Боже, как справедливо!..

«Все, что могла сделать медицина, было сделано»,— повторяю я про себя строку из газеты. Я тоже в тупике! Там они все испробовали. Значит, из такого состояния нет выхода. Я обречен!

— ...Мы же не дети, Макс Вольдемарович. О чем речь, понимаете. Глупо играть в прятки.

— А почему не в жмурки?

— Я серьезно!

— Ну если о вере,— Цорн усмехается,— извольте, но сперва выпью. Рассуждать о подобном предмете трезвым противопоказано.— Цорн наливает стакан.— Недостаток веры, впрочем, как и избыток, ведет к алкоголизму. Я тому печальный пример.. Нет, нет, Сергей Владимирович, есть у меня свой идол! Набор идолов! Иначе, какой же я человек?— Цорн поигрывает стаканом.— Ладно, будем серьезны. Я, к примеру, ценю такое качество, как терпимость. Философия установила определенно: добродетельно то, что согласуется с выгодой каждого и всех. Значит, убеждения мы обязаны согласовывать с выгодой? Баста! Я безнравственен! Меня мутит от их выгод! Ноги

протяну, но другим не стану. Уверен в праве быть таким, каков есть!

Поречьев снимает мою рубашу с дверцы шкафа и вывешивает на плечиках. Обычно эта страсть к аккуратности, когда он раздражен.

Ежусь от холода. Знобит. Если отдаю отчет в том, что со мной,— значит, «экстрем» не всемогущ, значит, нужно ждать, необходимо ждать!..

Вытаскиваю из портфеля Цорна томик Овидия на французском языке — «Песни любви», «Героини», «Лечарства от любви». Кроме книг, в портфеле пачка трубочного табака и несколько журналов.

— Упражняюсь в переводах. Нравится Овидий?— Цорн выпускает облако дыма.

— «Песни любви» — да.

Цорн гладит бутылку:

— Закон не велит нам дружить.

Он поворачивается и разглядывает себя в зеркало шкафа:

— С годами начинаю походить на просиживателя штанов, этакое злостное неудачника. Женщины не задерживают на мне взгляда, и сие по-настоящему печаливает.

Из книги выпадают листки. Поднимаю. Угловатым почерком размашисто написана последняя строчка перевода: «Так было в книге судеб».

Цорн раскладывает газету. Читает заметку о Хубере, спрашивает Поречьева. Ржавые голоса. Голоса без смысла и чувства.

Мне зябко. Встаю, натягиваю свитер. Автомобильная пробка рассасывается. Слышу, как перегазовывают двигатели и свистят полицейские. В форточку ползет газ.

«Так было в книге судеб» — слова настаиваются ядом. Слепо мотаю головой.

— ...Согласно словарю Михельсона, — доносится откуда-то голос Цорна, — прелюбодейство — это любопытство до чужих удовольствий. Забавнее и не сочинишь, а?

Улыбаюсь тому месту, где должен быть Цорн, улыбаюсь шагам Поречьева. «Все, что могла сделать медицина, было сделано. Спорт уничтожил его...»

Усилием воли возвращаю себя в действительность. Вижу, как встает Цорн, как протез неловко скользит по полу, как он прячет трубку. Пенковая трубка в форме головы носорога желтовата, но не куревом, а цветом вре-

мени. Старая трубка. Футляр изнутри оклеен синим шелком. Золотыми буквами вытеснено: «Sommer, 1896». Шелк в нескольких местах прожжен. Вдруг вижу фальшь Цорна. Он кажется мне беспомощным.

Цорн снимает с вешалки плащ.

— Жаль парня,— говорит он о Хубере.— Гибнут наемники силы. Там, где чрезмерная самоотдача или супермастерство, там душа должна почивать. Почивать беспробудно — тогда успех обеспечен. Призовая сила и душевные потемки — сочетание в данном случае необходимое. Иначе судьба может сыграть на нервах скверную партию...

«Нет высших благ без разочарований»,— вдруг вспоминаю я слова Гете. Глумятся надо мной слова.

Цорн, прихрамывая, выходит в коридор. Машет шляпой:

— Сэр, ваша радость преждевременна. Я скоро вернусь.

В номере запах духов и табака. Отворачиваюсь, чтобы не выдать себя.

— Половину жизни прожили в гостиницах,— говорит Поречьев.— Цыганили по свету.

— Другую в залах.— Я наклоняюсь над сумкой с тренировочными вещами и делаю вид, что занят. Бинты и в самом деле следует просушить. Разматываю и вывешиваю их между стульями. Кидаю ключи Поречьеву: «Запрете. Я выйду. Ждут! Обещал автограф!..»

Никто не ждет меня. Бегу — от себя бегу.

85

Снова я на белой парковой скамейке. Она не обновлена краской, но чиста. Копоть смыта дождями. Влажная ватная тишина. Пальцы студит чугунная станина.

«Все, что могла сделать медицина, было сделано».

Ветер сорит стеклом дождя. Деревья перезревают соком дождей. Из луж пьют свою тоску все эти дни...

86

Моя обычная тренировка занимает до пяти часов, потом массаж — полтора-два часа. Без массажа я не успеваю «восстановиться» к следующей тренировке. Уста-

лость, непрерывность тренировок оборачиваются одиночеством. И у меня нет сил его преодолеть.

И даже в зале я одинок. Я должен пропустить через мышцы тонны «железа». Рядом со мной новички, разрядники. Они приходят, уходят. Мы обмениваемся ничего не значащими фразами — я всегда захвачен работой. Веса, на которых я работаю и к которым привык, не прощают неряшливости. Я должен быть внимателен и собран — иначе я не справлюсь с заданными нагрузками. И я снова никого не замечаю. «Железо» обрекает меня на одиночество.

К концу тренировки я думаю только об отдыхе. Я мечтаю выпить воды и отлежаться. Мне ничего не надо — только бы отлежаться. Замкнутый круг тренировок, постоянное преодоление усталости — на другую жизнь меня не хватает.

Вне спорта я по-прежнему вынужден подчиняться эгоизму «железа». Я лишь на время отпущен «железом», но я непременно вернусь. Любой пропуск обесценивает труд предыдущих тренировок.

Великий ритм силы подчиняет мою жизнь. Нагрузки растут. Новые результаты требуют новой работы, повторения старой работы и новых напряжений воли. Всегда воля! Гонка не прекращается ни на мгновение. Большой спорт скареден на расход энергии для другой жизни. Он всегда это дает почувствовать на тренировках. Это дают почувствовать результаты соперников. Все должно вскармливать силу, вынашивать силу, становиться силой.

87

Веки мои громадны. Не могу их разомкнуть. Очень хочу и не могу. И от этого даже во сне испытываю тревогу.

Даже первое мужество ребенка — не бояться снов, но мой страх сильнее рассудка. Отравлен всеми усталостями и ошибками.

«Где Хубер? Где?» — шепчу я.

Я в поисках исчерпал себя. Хубер доказал: возврата нет. Я отдан на милость неизвестного. Милость!

Слышу голоса, шаги, прикосновение и прихожу в себя. Портье подает конверт. Киваю ему. Со стороны незаметно, что я спал: глаза прикрывала рука. Смотрю на ча-

сы: минут десять забытья. Компания пожилых мужчин беседует в соседних креслах. У окна вяжет старушка. Ее не было, пришла, когда я задремал. Клубок нитей из воспоминаний моего детства...

Я окончательно прихожу в себя.

Женщина лет тридцати поднимается в бар. Она ступает томно и капризно. Боа из белого меха закрывает плечи, она привыкла к своим выхоленным рукам, вырезу, открывающему грудь. У нее надменные губы и нежный округлый подбородок.

Бармена не узнать. Как учтив этот бледный, усталый мужчина! Бар в бельэтаже, но я вижу ее лицо, юбку и ноги. Природа славно потрудились — это действительно совершенный экземпляр женщины. И алтарь ее явно не скудеет приношениями. Она бросает бармену несколько слов. Садится. Открывает сумку. Сузив глаза, закуривает. Бармен взбивает коктейль.

Вскрываю конверт. Листки на английском, немецком, французском языках. Читаю французский текст:

«Все, чьи души блуждают, — я служитель мирового духа! Плоть мою я взял в зубы мои и душу мою держу рукой моей!

Нераздельность сердец — вот завещание поколений! Люди отходят от пути праведного, заходят в пустыню и гибнут.

Господь, помоги за пороками, слабостями и обидами сохранить душу! Господь, вразуми! Человек, не бойся изранить руки о скверны ближнего! Лучше доброе имя, чем добрый елей. Зло оттачивает зубы в равнодушиях мира. Благополучны разбойничьи шатры. Не рассуждай о добре — твори его. Не бойся изранить руки ласками. Зло в привычке брать и только брать. К чему злые остаются жить, достигают старости в расцвете сил?

Королевская молитва Святейшей Девы Гваделупской — надежда наша! Молитвой направь свою судьбу, послужи вере и братству! Вырвем веру из мертвых рук! Возродится вера! Да святится вера!

Молитву Святейшей Девы Гваделупской первым по моему наущению сотворил синьор Сальвадор Родригес Валансуэлла. Королевской молитве назначено повернуть мир! Люди в смятении, люди слепы и слепнут в белом дне и под белым солнцем.

Синьор, снимите двадцать пять копий — не меньше и не больше. Разошлите их достойным. Достойные — они

рядом с вами, только повнимательнее приглядитесь. Запрещаю обращаться к волкам в человеческом обличии. Злых не оденешь в стыд.

Ни одного слова молитвы не должны увидеть глаза ваших близких. Иначе я предрекаю: горе поразит их.

Не обольщайтесь, если вы уже сильны, счастливы и безмятежны. Судьбы обманчивы. Познайте сладость молитвы — и вас коснется благодать. Разве можно быть безмятежным, если каждый миг кого-то за тридцать серебряников ввергают в ад!

Да, для дерева надежда есть, что оно, срубленное, оживет и побеги станет пускать вновь. А человек умирает — и его нет, отходит — и где его искать?

Сбросьте вериги корыстного довольства! Проникнитесь словами молитвы — и не познаете раскаяния. Синьор Хуан Диас из доблестной мексиканской армии получил вашу молитву. Он истово молился, и благодарность Святейшей Девы Гваделупской его не оставила. Выигрыш на скачках принес миллион песо. Синьор Хуан Диас сотворил святое дело — двадцать пять копий молитвы получили его верные друзья — и никто не пожалел. Судьба каждому воздала должное.

Генерал Гарсиа Альмаро, получив молитву, предал ее публичному осмеянию. Спустя три дня на боевых учениях случайная пуля поразила его в плечо. Он приказал синьорине секретарю переписать молитву и разослать по указанным адресам. Он не ошибся. Молитву получили достойные люди. Генерал творил молитву — рана затянулась, изуродованные кости срослись.

Синьор Педро Сеспедес, богатство которого исчислялось сотнями тысяч голов скота, десятками поместий, посмел в фельетоне высмеять молитву. Эпидемия сапа уничтожила стада, а родовое имение истребил пожар. На охоте утонул единственный сын.

Синьор Альфонс Бетанкур, вняв молитве и следуя ее наставлениям, изменил привычкам своей порочной жизни. Год за годом он творил святое дело. В 1953 году он выиграл дом на случайный билет лотереи, устроенной газетой «Эксельсиор».

Генерал Рудольфо Папуорт, получив молитву, кощунственно позволил себе разыграть ее в карты на офицерской пирушке. Он был убит через двадцать часов беглым каторжником...»

К молитве приложен листок веленовой бумаги со

странным водяным знаком — скрещенными руками. На листке красные буквы — текст отпечатан красной лентой:

«Ты не только должен молиться, но и разослать молитву. Твоя жизнь и жизнь твоих родных в твоих руках. Не спеши потерять дорогого человека. Все расы и народы должны соединиться этой молитвой. Верь молитве Святейшей Девы Гваделупской.

Не губи тело и душу. В молитве исцеление и путь к избавлению. Отступитесь, да не будет зла! Разве на языке моем ложь? Знаешь ли, что это искони, с тех пор как поставлен человек на землю, что не бывает долго ликование злых?»

Подзываю портье:

— Видишь даму в баре. Письмо для нее. Заклей в новый конверт. Что письмо от меня, ни звука.

— А если она нажалуется?

Я достаю бумажник:

— Пять тысяч марок. Они твои. Двигай, приятель.

— А если она вызовет хозяина?

— Письмо тебе передали, и тот господин производил вполне приличное впечатление. Ты всего лишь выполнил просьбу. Впрочем, на-ка еще полторы тысячи.

Портье отводит глаза. Застенчивый.

— Да благословит тебя Святейшая Дева Гваделупская, — говорю я по-русски.

Жаль, невозможно свидание этой ночной бабочки из бара со Святейшей Девой Гваделупской. Им было бы о чем потолковать и на темы вполне земные.

88

Успехи соперников, собственные срывы, отношения других не могут повлиять на меня. Слепую, бездумную веру могут опрокинуть обстоятельства. Чтобы побеждать, я должен подчиняться расчету, дисциплине борьбы.

Борьба представляется мне основным элементом созидания, внешним выражением непрерывности развития. В идее непрерывности развития мой подход к жизни. И нигде, как в большом спорте, я не могу пока с наибольшей активностью выразить этот основной принцип. Моя жизнь в спорте есть всего лишь практическое выражение этой основной идеи: созидательность как следствие непрерывности развития. Я отрицаю практику пустых сим-

волов. Я отрицаю жизнь, обособленную от принципов. Я соединяю идею с жизнью. Ищу связь идеи с действием. Отрицаю бессознательность, пассивность, уготованность путей. Логическое развитие идеи непрерывности — это неизбежность преодоления устоявшихся форм, препятствующих развитию. В своих методических принципах я исхожу из этих главных принципов. Они позволяют мне оценить тот или иной факт вне субъективности конкретной обстановки. Я побеждаю потому, что, сомневаясь во всем, верю, умею верить. Для меня не существует законченности развития. Спорт поневоле стал для меня великим упражнением в диалектике. Спорт противоречив, но велик. Я в союзе с «железом». Сильные мускулы мне нужны, чтобы лишать затхлость и глупость законченных выводов их невинности. Я наказываю их своими победами.

89

Я у витрины магазина головных уборов. Там несколько малорослых мужчин примеряют шляпы. Дела, заботы. Только я отлучен от всех смыслов. Жизнь ускользает. Никак не могу войти в нее.

Разве дело в рекордах? Кем же я был? Куда иду? В чем моя победа?.. Из переулков наползает отчаяние. Сколько еще будет этого отчаяния?!

90

Последние недели в Москве я не разбираю почту, а это письмо прихватил в день отъезда. Оно от Андрея Размятина — потому и прихватил. Письмо из Еревана. Отправлено два месяца назад.

«Совсем позабыл меня, дружище! А тоскливо здесь! Это не брюзжание одинокого старика. Что за турнир без тебя?»

Вот новость: Мэгсон здесь! Прилетел неожиданно. Его не узнать. Высох по-стариковски и вроде еще выше стал. Ходит прямо, сидит прямо. Редко кого узнает. Часами сидит в холле, выложив ножищу сорок шестого размера на стол. Меня затащил к себе, стал показывать своих ребят. Легковес не ахти какой. У Джеймса Радмэна (это их новичок в полутяжелом) бицепсы пудовые, а толку? Атлет для журнальных обложек.

На улице столкнулся с Сержем Ложе. Этот влюблен в тебя. Все вопросы о тебе. Славный парень. Только, по моему, бестолков в тренировках.

А нынче поутру конфуз на семинаре судей. Оскар Стейтмейер сбросил пиджачок, засунул свой широченный галстук в прореху полосатой рубашонки и вознамерился показать, как надоть поднимать «железку». Кашутин раздобыл ему палку от швабры. Надели два круга из прессованных опилок (и где их только раздобыли — в жизнь не видел таких). Срамное зрелище! Но этот гном в конце концов распоясался и пустился в аналогии ошибочных судейств. В качестве одного из них Стейтмейер привел историю твоего выступления в Берлине. Помнишь последнюю попытку в толчке? Стейтмейер ее воспроизвел, но на свой лад и подытожил: «Ошибка арбитра сделала чемпионом вашего атлета...» Тут вскочил Мэгсон: «Иранский арбитр, включивший белый свет, прислал мне записку: «Мистер Мэгсон, хотите я застрелю польского арбитра за его белый сигнал? Лично я поддался позорной слабости!» Мэгсон еще что-то плел. Жарков даже порозовел от удовольствия.

Тогда в зале поднялся хлипкий чудак: «Мистер Стейтмейер, пример не соответствует действительности. Мистер Харкинс в Берлине проиграл чисто. Отклонения в выполнении упражнения советским атлетом не выходили из правил. К такому же мнению пришло тогда и апелляционное жюри. Настоятельно требую, чтобы вы принесли извинения».

На этого хлипкого чудака зашикали, замахали, но он вновь потребовал, чтобы Стейтмейер извинился. Начальство поедало глазами переводчика. Однако тот вынужден был все перевести Стейтмейеру.

Этим чудачком был я, дружище. А неужто молчать? Что проще: мазнул грязью — загуляли сплетни. С судейства меня на всякий случай поперли и сунули в бригаду секретариата за бумажонки. Кашутин морщится и по сию пору: «Зачем наскандалил?» Жарков обвинил в политической близорукости: не учитываю современный курс на разрядку международной атмосферы, испортил контакт с самим Стейтмейером.

А этот «представитель международной атмосферы», пользуясь высоким положением одного из руководителей Международной федерации тяжелой атлетики, загоняет почетные значки, на которые имеет право лишь чемпион

мира, и не меньше как по червонцу за штуку. Заодно спекулирует и памятными медалями.

А наши-то принимают их: Мэгсону выделили особняк, Стейтмейеру — машину. А помнишь, как Стейтмейер нас принимал? Я помню... Да, брат, маловато у нас уважения к десятилетиям своего богатырского прошлого.

Что молчишь? Черкни несколько слов. Буду в Москве не раньше августа. Ложь не принимай всерьез! Не темни! Его результат в Париже, по-моему, чистая случайность. Я был на всех тренировках. У него слабоваты ноги.

Салют Поречьеву. Твой Андрей».

91

— ...Сколько же заповедей чтим!— говорит Хенриксон.— Какой подробный список добродетелей! Знаешь, их списки добродетелей вроде доноса на жизнь. Нет, я не блаженный. Зачем выдумывать жизнь?! Здесь все открыто, все обнажено, все для нас. Завиток волос на виске женщины — это уже много слов, очень много. И я — в забавах глупого мальчишки, в зубоскальстве циркового клоуна, в шелесте трав. Это для всех и все это мое. Люди не могут озлобить. Надо уметь видеть. Разве я пишу стихи, Макс?..

— Где грань терпимости?— говорит Цорн.— Где беспринципность? Как в притче: шумный ветер — твои слова! Шелуха пустых слов...

За моими плечами десять чемпионатов мира и еще те годы тренировок до того, как я попал в сборную. А Хубера доканали всего шесть лет большого спорта! Значит, эта болезнь все-таки существует?! Но болезнь ли?..

Время! Скоро мое время! Судьба моя затаилась в том зале. Тот зал уже знает, что будет со мной. Стальные диски стерегут мою судьбу...

Нам тесно в моем маленьком номере.

92

Ветер вольготно проходит через голые деревья и кусты. Я готов заснуть здесь же, на скамейке. Но я креплюсь; в снах я доверчив. В снах усталость экстремальных нагрузок раздувает угли всех болей.

«Человеческий дух безумен, потому что он ищет, он велик, потому что находит...» Я был просто глуп, невежествен для истин, на которые посягнул.

«Человеческий дух безумен, потому что он ищет, он велик, потому что находит...» Я нашел? Найду? Или ищущу? И сколько еще искать?..

«...Беспомощный человек с трясущимися руками был отправлен на машине «скорой помощи» в больницу. Все, что могла сделать медицина, было сделано...»

Дождь. Везде одинаковость дождя. Потоки грязной городской воды. Окурочно-пенная накипь.

Сотни тренировок взбесились во мне.

93

Вхожу в номер: Поречьева нет. На спинке стула сохнет нейлоновая рубаха. На столе томик «Тысяча и одной ночи», флакон с жидкостью для разогревания мышц, конверт с газетными вырезками.

Подсаживаюсь к столу, перебираю вырезки. Последняя в пачке — заметка о Хубере. На полях рукой Поречьева поставлена дата и номер газеты. Эта заметка скреплена с другой, тоже известинской. Читаю:

«Нокдаун или нокаут?

Загадочные последствия «поединка столетия». Поначалу газетные шапки и объявления носили шуточный характер: «Пропал новый чемпион мира по боксу в тяжелом весе Даниэль Риверс. Рост — пять футов одиннадцать дюймов, бицепсы — пятнадцать дюймов, особые приметы — распухшая челюсть, затекшие глаза. Где ты, Даниэль, отзовись!»...

В утро после «поединка столетия» Риверс покинул нью-йоркский отель «Пьер» и отправился домой в Филадельфию. С тех пор он не показывался. Он отменил все свои пресс-конференции и концерты (Риверс еще и певец), заявив через менеджера, что нуждается в покое и отдыхе. Вскоре выяснилось, что Риверса нет дома. Филадельфийские газеты сообщили, что у чемпиона сломаны ребра и разорвана сетчатка правого глаза, он помещен в госпиталь, название которого сохраняется в тайне.

Спустя некоторое время было передано заявление главного врача — некоего Рассела Лори. Главный врач заявил, что Риверс госпитализирован не столько из-за физических травм, сколько из-за нервного истощения.

Кроме того, у Риверса повреждены почки, но Лори беспокоит психическое состояние пациента. Стресс, вызванный физическими перегрузками, а также изнурительными поединками, грозит превратить его в инвалида. Во всяком случае, состояние Риверса критическое и он находится в специальной палате. Боксеру запрещено даже передвигаться по комнате. Чем закончится болезнь для Риверса, нокаутом или нокадауном?»

Здесь же на столе тетрадь с графиками и расчетами моих тренировок. Под выкладками последней тренировки жирная черта и торопливая скоропись:

«Я обязан дать отчет самому себе. Я поставил под разрушение уникальный организм, обрек близкого человека на страдания. Я не должен себя обманывать! В лучшем случае Сергей окажется вне спорта. Зачем я поддался его уговорам? Зачем согласился на этот кустарный и жестокий эксперимент? У Сергея нет будущего! А ведь существуют десятки новых приемов тренировки, более экономных и весьма эффективных. Например, дробление экстремальных нагрузок во времени. Сергей прав: это наиболее совершенный и перспективный прием»...

Еще одна тяжесть ложится мне на плечи.

94

Бармен откупоривает бутылку минеральной. Вытираю ладонью горлышко. За соседним столиком та самая дама, которой я переадресовал молитву. С ней верзила в синей авиационной тужурке. У него нагловатое лицо и насмешливые губы.

«Человеческий дух безумен, потому что он ищет, он велик, потому что находит...» Назидательно! Но холодно, чертовски пусто и холодно...

Слово за словом повторяю запись Поречьева. Боли нашли свои доказательства. Все доказательства замкнулись.

Разглядываю даму. Молитва Святейшей Девы Гваделупской не произвела впечатления: мила и болтлива. Свет расплывается в бутылках и металлической отделке стойки. Гремят стаканы. В шеренгах бутылок закупорены сотни радостей, ласк и разочарований. Сколько губ будут искать утешения и радостей в этих бутылках!

«Эй ты, бочка рекордов! — шепчу я себе. — Не хнычь! Умей платить по счетам. Не строй из себя мученика!»

Поречьев?.. Пусть пишет что угодно. Проигрывает тот, кто смирился. Все в этом — надо уметь подниматься.

Эксперимент открыл новые возможности — это уже доказательство правоты. Следовало идти через ошибки. Ошибки — единственный метод познания. Прорываться через ошибки — других путей нет.

В чем другой путь? Кто подставил бы себя ради меня?..

Он прав: никто не назначил мне эту жизнь, но я и не играл в жизнь. Все, что я делал и делаю, — единственная приемлемая для меня форма жизни. Вне ее нет и меня. И я не боюсь проиграть. Эта мысль не имеет для меня смысла...

95

Инстинкт самосохранения не может диктовать мне свои правила. Жизнь не исчерпывается материальным достатком, успехом и всеми прочими признаками благополучия. Борьба выше всех благ и в определенных случаях выше самой жизни. В борьбе жизнь доведена до своей высшей степени, все ее качества проявляются в высшей степени.

Познание непременно должно переходить в действие. Движение к цели уже есть победа. И преданность цели тоже победа.

Признание или непризнание не могут определять мою дорогу. Другим я не стану. Жизнь может как-то изменить черты моего характера, но не мои цели и мою борьбу. Для меня не существуют раздельно идеи и действия. Все должно соответствовать, пребывать в строгом единстве, страстном единстве.

Борьба и цель есть и существо и форма жизни. Я чувствую цвет, запах и тепло всех дней. Красный конь воли награждает меня юношеской вечностью этих дней.

Жизнь, подчиненная тирании обстоятельств, недостойна. И я топчу все дни уготованных судеб. Выше риска и выше борьбы умение вести себя по жару обыденных дней, умение найти и не потерять себя в исходе обыденных дней.

Я исключаю равновесие для создающей жизни — в этом существо всех моих дней. Я всегда нарушаю равновесия. Освоив новую силу, я продолжаю свой путь.

Я неизменный и я всегда другой. У меня те же глаза,

но они каждый миг видят иначе. Я неизменен в своих целях, но я другой. И каждый, кто захочет измерить меня, ошибется. Я жаден к каждому слову, распутываю новые судьбы, примериваю новые смыслы. Жизнь все время другая: новые солнца, новые лица, новый смысл старых слов... Жадность в беге моего красного коня воли. Жадность покрыть всю бесконечность дней.

96

Гладкая намытая лента асфальта уносит прохожих. Ржавчина поцелуев на тротуарах — желтые раздавленные окурки...

Зачем Толь настоял на приглашении Бэкстона? Или все подстроил Стейтмейер? Этот господин цепко держит в своих руках микрофон каждого чемпионата. Так крепко и долго, что сам вообразил себя силой. Не знаю, приятели ли Бэкстон со Стейтмейером, но они очень походят друг на друга. Тот и другой не поднимали «железа», по корчат знатоков и не чисты на руку в судействах. Мэгсон принимает их угодничество как должное.

В парке слякотно и пустынно.

Художник вырезает из станиоля профиль тщедушного юноши. Юноша скашивает на меня бесцветные выпуклые глаза. Облизывает губы.

Дождями зачернены высокие стволы елей.

Вхожу в павильон. Остро пахнет свежей краской. В дощатом нетопленном зале холодно. Над круглым бассейном пар. Над бассейном полка. Мальчишка попадает мячом в металлический круг. Полка с лязгом проваливается, и в воду срывается девушка. Мальчишки хохочут. Касса тут же — мячей сколько угодно. Мячи обыкновенные, теннисные. Мальчишки азартно галдят у барьера, ожидая, пока девушка снова поднимется на полку.

Обхожу пустой парк. Воронье жметесь к земле. Лес, отяжелев дождями, шумит низко, размеренно.

97

Казарменный режим опостылел, однако должен подчиняться. Теперь время отдыха. Но когда закрываю глаза, чувствую, что не засну. Не верю тишине. Не верю одиночеству комнаты.

Хубер проиграл всю партию от начала до конца. Не-

ясных мест нет. Вскиваю и шагаю по комнате. Каждый предмет подглядывает.

Я предал себя, бросил себя! Я закалял волю в чужих мнениях, желаниях, расчетах!..

Растерянность пялится из зеркала. Провожу ладонью по лицу, шее, рукам. Я чист. Кожа чиста.

Я вываливаю из чемодана вещи. Дрожат руки. Заворачиваю альбом в газету. Ван-Гог, Лотрек! Краски ранят. И линии рисунков — тоже боль, боль!.. Избавиться от чужих страданий! Торопливо одеваюсь. Запираю номер.

98

Хочу понять воспоминания. Четко и подробно вижу все поединки: рев, прожектора, слова, усилия, соперники!..

Харкинс однажды сказал мне, что теперь азарт подается бухгалтерскому учету. Он имел в виду атлетов, которые готовы волочить брюхо по земле, объедаться препаратами, калечить себя, но вышибать из своих хозяев деньги.

«Быть призером чемпионатов — не значит еще быть атлетом», — это говорил Торнтон.

Я научился верить в браваду слов.

Оглядываюсь: никого. В этом переулке никого. Ранние огни белесы.

Я знаю, этим сумеркам не суждено стать ночью. Город уснет в белом сумраке. И все улицы будут принадлежать мне.

Перелистываю туристский проспект. Водяная пыль оседает на плотную вощеную бумагу.

«...Столица Финляндии выросла из шведского поселения Гаммельстад, перенесенного из обмелевшего устья реки Ванды на гранитный полуостров в 1639 году. Старый Хельсинки окружен шхерами и островами. В восемнадцатом веке шведами у входа в порт была построена крепость с мощными фортами...»

Ничего не вижу, кроме своих мыслей: «...Двадцатипятилетний Герберт Хубер зашел в тупик и покончил с собой».

Стараюсь занять память и вновь читаю: «На знаменитой рыночной площади уже много веков стоят ратуша и дворец. Архитектурные достопримечательности столич-

цы — протестантский собор святого Николая, здания бывшего сената, университета, Атенеум, театры, а также рыцарский дом в стиле венецианского ренессанса...»

«...Беспомощный человек с трясущимися руками был отправлен на машине «скорой помощи» в больницу. Все, что могла сделать медицина, было сделано...»

Я резко поднимаюсь. Швыряю в урну проспект.

99

Примериваю себя к чемпионату. Пирсон, Ложье, Альварардо, молодой Зоммер... И конечно, Мэгсон! Ни одного чемпионата без Мэгсона! С его лицом не вяжется улыбка, когда он ободряюще похлопывает атлета. У него цепкие пальцы, он ставит диагноз силы не хуже самого точного прибора. Мускулы для него не таят силу.

У Мэгсона поразительная способность забывать всех, кто одряхлел для побед. Вспоминать — не в его обычаях.

Он сам «менажирует», сам выводит своих ребят и при случае не прочь сцепиться с судьями. Я для него кость в горле. Без меня быть бы его ребятам самыми сильными.

Когда я на сцене у ящика с магnezией, в проходе всегда Мэгсон. Поречьев едва достает Мэгсону до плеча.

100

— Нагоним страху на всю спортивную братию,— говорит Поречьев.— По-моему, ты в порядке!

— Сколько потребуется времени, чтобы отойти от выступлений?

— Дней десять-двенадцать. Как обычно.

— В этот раз четыре недели. Еще две недели ухлопали в турне. Пять недель без тренировок! Это больше, чем риск — это глупость! Чемпионат Европы через четырнадцать недель, чемпионат мира в Каире — через восемнадцать. Понимаете? Если даже пропустим чемпионат страны, не поспеем. А чемпионат страны необходимо пропустить!

— Тогда возьмут в сборную вместо тебя второго «полутяжа» или второго средневеса! И рекорд нужен! Иначе Жарков выведет тебя из сборной. Скажет, износился, возраст...

— Пусть болтают! Я должен привести себя в порядок.

— У финнов Нильсен знает тренировку, — говорит Поречьев. — Толковый парень. Он у них младший тренер.

— Значит, останется младшим.

— Завтра вставим фитиль Жаркову. Твой рекорд ему поперек горла. Всем внушает, будто ты мало смыслишь в тренировке.

— А ну его!..

— Надо здесь, именно здесь установить рекорд! Жарков уже с чемпионата в Мехико всем внушает, будто ты из-за возраста конченный атлет. Ты же знаешь, он никогда не щадит! Как вышиб Седова! Какого тренера оболгал! Ты ему поперек горла со своей славой, авторитетом! Ты должен сбить рекорд Альварадо! Этот спорт для настоящих мужчин! Эксперимент закончен. Теперь пойдет сила. Но еще раньше надо взять этот рекорд! Сколько от этого зависит, пойми!

101

Вижу свое отражение. Я согнулся над дверной ручкой.

Идиотизм! В лекарствах искать покой и волю. Плати и получай. Вон их сколько на полках! Любой набор чувств к услугам!..

Губы сводит дурацкий смешок.

Прочь аптеку! К черту это мужество в таблетках! Сочтись сам с «экстремом».

Людей много. Наверное, где-то кончился сеанс в кинотеатре.

Участь Хубера? Нет, я докажу свое! Это единственная правда, которую доказывают насилием и через насилие. Я пожадничал с силой — поэтому мне не по себе. Болезнь глупа, как садовая скамейка. Прозевал время отдыха — вот и все...

102

Где жизнь — подлинная жизнь, та, которую я любил, знал и которой радовался? Где настоящие и где выдуманные пути? В каком из миров я? Ради чего погоняю себя от одной цели к другой?

Где бредовая болтовня ветра в листве? Где чистые спокойные дни? Жизнь, почему ты лжешь? Почему перепутала все слова? Где потерял себя? Где мы разошлись?..

Французскую скоропись перевожу долго и скорее догадываюсь по смыслу, чем перевожу. Но подпись: Ингрид — выведена печатными буквами. Значит, это она подсунула письмо под дверь.

«Днем случайно увидела тебя. Я была в машине. Когда я остановилась и перешла улицу, тебя уже не было.

Очень хотелось бы увидеться, но освобожусь слишком поздно, а тебе следует выспаться. Обязательно выспись! Дай бог тебе крепкого сна! Если совсем не увижусь, будь счастлив! Ингрид».

Звонит телефон. Снимаю трубку.

— Когда на ужин, светлейший?— слышу я голос Поречьева.

— Часа через два.

— Я у себя. Много не гуляй, береги ноги.

— Я сейчас зайду.

— Тогда я подожду у подъезда, светлейший.

Тусклая серебряная сыпь дождя на стеклах.

— ...Надо подтянуть темповые упражнения,— объясняю я.— Из-за экстремальных тренировок нарушилась слаженность.

Поречьев пытается идти в ногу:

— Прежде всего нельзя завышать «объем». Небольшими нагрузками восстановим мышечный тонус.

— Мало этого. Я должен не только восстановить технические навыки, но и приложить к новым весам. Это те веса, ради которых мы пошли на экстремальные тренировки. По-настоящему, силовая работа реализуется года через полтора-два. Важно, что первая сила этих тренировок уже во мне. И на нее можно рассчитывать месяца через три...

Поречьев смотрит на небо, потом запахивает плащ:

— Погодка! Видел, полицейские в шинелях? И это конец мая!..

Первым атлетом, которого я увидел в своей жизни, был Владимир Жарков. Я случайно оказался в спортивной раздевалке. Там был Жарков, тот самый, который руководит сейчас сборной. Тогда он в третий раз выиграл чемпионат мира. Побеждать он умел.

Жарков расшнуровывал ботинки, снимал трико. Волнистые линии мускулов поразили меня! В эти мгновения состоялось мое мальчишеское посвящение в атлеты.

Ловлю ехидные взгляды портье. После рекорда Альварардо я «экс». Это всегда развлекает...

105

— Есть деньги. Шальные деньги,— объясняет Цорн.

Перед барменом на стойке журнал и чашечка дымящегося кофе. Эх, глоток бы кофе! Но всякое дополнительное возбуждение под запретом. Завтра удар самого мощного напряжения. Высшего напряжения! Никогда не думал, что придется пробовать рекорд в таком состоянии. И ставкой будет не слава и честолюбие, а я. Вспоминаю, как ночами ворочается мое сердце, как даже в коротком забытьи оно торопится напоить кровью мышцы. Поспешный и сбивчивый ритм его явственно слышу в минуты самого глубокого покоя.

— Выколотили гонорар из Ниеминена,— говорит Хенриксон.

Цорн ухмыляется и каким-то чужим распевным голосом читает:

— «В бутылках в поздний час душа вина запела...»

Хенриксон подхватывает:

— «В темнице из стекла меня сдавил сургуч, но песнь моя звучит и ввысь несется смело. В ней обездоленный привет и теплый луч!..» Вот и помянули Бодлера!— Хенриксон бережно поднимает кружку. Это для него характерно: бережное прикосновение к вещам.

Бармен кладет перед Цорном картонную тарелку с сосисками.

Делаю вид, что мне уютно. Беззаботно разваливаюсь в кресле. Белым обильным цветом распускается эта ночь. С любопытством и тревогой всматриваюсь в нее.

— Спорт — страсть, дело?— вдруг спрашивает меня Цорн.— Или вызов судьбе?

Я отделяюсь пожатием плеч. Цорн подвигает рукой протез ближе к креслу.

— Нужда!— говорит Хенриксон.— Я приучил себя обходиться мизерным, дабы быть равнодушным к своему будущему. Я избавлен от кабалы вещей.

— Весьма приближенное представление о бедности,— говорит Цорн.— Не зная тебя, счел бы слабоумным.

Голос Хенриксона хрипловато-тягуч:

— Приглядишься, мы измеряем свои несчастья дольностями других, успехами других. Бредим не радостями, а завистью и унижениями других. Отравленная кровь согревает нас. Я расстался с инстинктами, со всеми теми инстинктами, которые превращают нас в добычу всех этих хозяев жизни. Я стараюсь дать людям почувствовать жизнь, ее ценности и назначения, ощутить смрад выдуманных целей и страстей. В годы войны я прошел все стадии превращения. Насильственная смерть отвратительна — она требует отпора. Но смерть вообще — естественна. А я считаюсь только с естественным. Здесь и в этом — начало отсчета моих чувств. Ни в грош не ставлю все их ценности. Я богаче, сильнее! И я не питаюсь отравленной пищей вместе со всеми. Что ж еще они могут сделать со мной? Травить? Замалчивать? Как они умеют напускать этот ужас! Как мы умеем падать под тяжестью этого ужаса! Твой любимец Бодлер напрасно принимал их слишком всерьез, Макс. Он им доставил удовольствие преждевременной смертью.

— Оставь бодрячество, Гуго. Вспомни, как пухнул с голода.

— После войны я всех ненавидел. Всегда ненависть и только ненависть — это тоже вырождение. Надо пройти и через это испытание. Ненависть благодетельна лишь в частном и не может привести к победе общего, к прочному торжеству главного. Она деформирует цель — даже самую благородную. Я становился выродком в святостях своей ненависти. Одной лишь ненавистью невозможно прийти к большой, значительной и общей победе. Макс, ты воображаешь, будто знаешь меня, но даже год назад я был другим. И теперь те чувства смешны и нелепы прежде всего мне. Все непрерывно меняет свой смысл и свою ценность. Я буду считать жизнь конченной, когда сбудется это самое: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» Что гнуснее мира, в котором все заранее предопределено, все чувства вымерены, все навсегда одного цвета?..

Я с любопытством прислушиваюсь. Кто подсказал ему мои мысли?..

Цорн картинно поднимает кружку и прихлебывает пиво:

— Да, ты, милейший Гуго, только в своем воображении свободен. Ты их! Со всеми потрохами их. Ты тешишь-

ся выдумками. Эх ты, оплот оптимизма!— Он стучит монетой:— Пива!

В своем свитере и куртке Хенриксон похож на рабочего. И я видел его раньше — это факт!

Бармен приносит кружку черного пива, красноватыми глазами оглядывает меня и возвращается за стойку. Вместо обуви на ногах у него шлепанцы.

— Прячешься за наивной философией,—говорит Цорн Хенриксону.

— Рассуждаешь как политик, Макс.

— Милейший акробат, политика — это умение делать обман убедительным.

— То, что я пишу, не может быть товаром, Макс.

— Эти так называемые законники, моралисты, лидеры союзов — словом, все эти хозяева жизни твое слово тоже прикарманивают. Все здесь — их собственность, и все они оборачивают на свою пользу. Что ты для них? Они высасывают наши мозги, наживаются на наших страданиях. Ты для них еще не поэт. Погоди, приглядятся. Я еще спрошу у тебя: «И не надоело чувствами торговать? Не притомился, милейший?» Уж скольких превратили в прохвостов или немых — бессильных немых. Запомни: молчание, как и предательство, всегда есть финансовая операция. Это их хобби!..

— У нас отличный повод для веселья, Макс, а мы надрываем глотки. Виват, доктор Цорн! А?

— Звучит недурно,— Цорн шутовски раскланивается.

— Макс рассказывал о своей работе по свободным радикалам? — спрашивает меня Хенриксон.

— Нет.

— Конечно, пусть публика сама постигает значимость его личности! Вот этот тип со странным тройным родством: не то немец, не то славянин, не то швед — автор совершенно оригинальной разработки по органической химии. Ее опубликовали. И гонорар уже в наших кружках. Работу выполнил Макс, и выполнил без чьей-либо помощи. Он очень стыдлив, наш Макс. На монографии поставил другое имя. Он старается быть незаметным, наш скромный Цорн. И вот парадокс! Именно по этой причине вся ученая братия не признает его автором. Какой-то фотограф, литературный критик и вдруг автор оригинальной сугубо научной разработки? Специалисты принимают авторство Цорна за мистификацию. Макс ли-

шен возможности продолжать свою работу. Нужны средства, а... Ты же знаешь? Он разорен.

— Доказывать авторство?— Цорн достает трубку.— Работа доставляла радость — вот главное.

— Вспомни, сколько средств, душевных сил и мозга ты вложил в исследование! А тебя лишают твоих же прав! Ты бы мог обеспечить себя! Ты написал работу, достойную признания, а на ней нет даже твоего имени. И тебя еще высокомерно поучают.

— Жизнь в своей карикатурности неистощима. Словами Домье: «Вот уже тридцать лет, как мне всегда кажется, что эта карикатура последняя»,— Цорн выкладывает табакерку. Водит по резьбе деревянной крышки пальцем.—Ничто другое так не подло и развращающе по своим последствиям, как официальное искусство. Господствующий класс превращает нас в стадо, которое можно беспрепятственно стричь и гнать на убой. Что касается беспечности: мир не потеряет, если не напишу свой критический обзор по литературе. Верят тому, о чем трубят газеты, к чему стараться?.. Но ты, Гуго, совсем другое дело. Ты обязан писать. А чтобы писать, надо иметь хоть какой-то приработок. Серьезная литература невозможна без определенного материального достатка. Литература — не одноразовый стихийный акт. Все эти строки — я имею в виду настоящие строки — каторга. Создаешь строку за строкой и стираешь себя. Литератору нужно иметь мощь и запас прочности атлета. Иначе он отпадает от литературы прежде, чем что-то сделает. А ведь он учится. Он пишет и учится. Кое-что может возместить дисциплина. Суровая дисциплина. Впрочем, если человек постоянно выжимает свой мозг, это не выход. Это оттяжка конца, но не выход. Однако умереть, не завершив дело и лишь преодолев главные трудности, не только досадно, но и глупо. Выжить необходимо! И жить!

— Покажи,— говорю я. Цорн протягивает трубку. Она нацеливается на меня своим желтоватым рогом. Я впервые держу пенковую трубку. Увесиста только с виду. Аккуратно, чтобы не высыпать табак и не задеть мундштук, разглядываю резьбу. И внезапно вспоминаю, где я видел Хенриксона! Да, я видел! То же лицо, та же осанка. Ну, конечно, это фра Гортенсио Феликс Паллавеичино с портрета Эль Греко. Как же сразу не вспомнил! Та же манера держать руки, та же расслабленная поза, те же глаза — печаль глаз — и тот же скорбный рот.

Только Хенриксон сложен атлетически... Картина хранится в Бостонском музее изящных искусств. А репродукция настолько поразила, что я выкупил ее с альбомом у ленинградского коллекционера. Я совершил святотатство, вырвал репродукцию и окантовал. Теперь дома, в Москве она над моим письменным столом.

— Итак, Макс, в пятницу к Эстервальду. Заберем верстки последней части. Слушай, а не вышвырнет он тогда книгу?

— Снесла теленка, снесет и быка,— смеется Цорн.— Эстервальд весьма обязан мне...

«Может быть, засну вечером,— мечтаю я.— Засну крепко, глубоко. И настанет утро. Утро без горечи».

Цорн ревниво наблюдает за трубкой.

— Чья?— спрашиваю я и возвращаю трубку.

— Мой предок заказывал трубки у Соммера. Он был тщеславен. Ведь Соммер много десятков трубок поставил российскому императору. Одна из таких трубок была точной копией головы Николая II. Прадед заказал по этому случаю изображение своей головы. У него собралась коллекция. От отца мне досталась вот эта. С ней связано предание. Видите, подкладка футляра прожжена. Нет, не моя неряшливость. Но об этом в другой раз...

106

Разве в заученных словах есть сила? Не верю в сухое пламя символов. Разве только мать дарует рождение? Разве вообще кто-нибудь способен даровать жизнь?..

Молчит белая мгла — молчит за окном, молчит в коридоре, молчит в моем номере.

Перечитываю письмо Ингрид. Кто она? Что ей до меня?..

107

Горят высокие свечи бра. Расслабляюще веет ресторанным теплом. Мэтр в смокинге. Он строен и бледен нездоровой бледностью людей ночной жизни, в черных непомаженных волосах переливается свет.

Поречьев заказывает ужин. Он улыбается мне, и от этого его перебитый нос становится еще более плоским.

О себе Поречьев рассказывать не любит. До сих пор не знаю, где он закончил школу, когда приехал в Москву, кто его родители. Поэтому слушаю его с интересом:

— ...Наши пришли — и я заболел. Обтрепались: что прожили, что немцы отняли, что беженцам отдали. А морозы! Добегу до школы — и вроде сосульки...

Мать в узелок картошки, яицек — и спозаранку в райцентр на толкучку, а к вечеру уже дома. Я о ватнике мечтал, а тут черное пальто, а братишке куртка. Надел я пальто — и задохнулся: пуговики фасонистые, в два рядка, и кармашки косые. Я на двор и гоголем, гоголем по деревне. Сколько гонял с дружками — не помню. А только зуд: скребу себя, скребу... Дома разложили пальто, а оно по складкам шевелится и гнида на гниде. Мать его в чугунок — и в печь. Раздела меня, обрила. Пальто съежилось, пуговицы полопались...

А пальто-то с тифозного!

Мать еще в гражданскую дважды переболела, а мой братишка через четыре дня умер. Я постарше, я выдюжил. Сыпняк, оказывается, кишки истончает. Если пошел на поправку, жуй самую малость и осторожно. И только протертую пищу, жидкую. Дед в гражданскую заболел, ему сорока не было. Стал поправляться, горбушку черного с солью сжевал — и в четверть часа скрутило. Поэтому мать в санитарки — лишь бы со мной. Сама толкла черные сухари — другого нет, на яичках замешивала, слегка пропекала, и каждый час понемногу мне скармливала. От постели ни на шаг, вдруг кто пожалеет. Я хнычу, есть прошу, а она стережет...

Кельнер приносит фрукты. Позвякивают тарелки, рюмки. Из дверей бара выплывает табачный дым. За соседним столом читает газету седой розовощекий господин.

Разглядываю своего тренера. Темные волосы с круглой лысинкой на темени. Поперек лысинки складка, похожая на шрам. Шею подпирают трапецевидные мышцы — он раскачал их жимами из-за головы. Темно-синий костюм в полоску длинноват в рукавах.

Он смотрит на меня и улыбается своей особенной улыбкой. Он всегда стремится произвести впечатление человека, прочно стоящего на ногах.

— Цорн эгонст, — говорит Поречьев. — Я б на твоём месте близко не подпускал его к себе.

— Не надо об этом.

— А что у него на уме, кто знает?

Запись Поречьева не дает мне покоя. «Никто не может быть ближе к истине, чем он, — думаю я. — У него цифры,

графики. Неужели именно объективные данные приговаривают меня? Неужели крах?»

По настоянию Поречьева пью чай с пирожными. Он с хрустом надкусывает яблоко, подмигивает мне. Он пересказывает историю референдума во Франции, сравнивает де Голля с Наполеоном и говорит, что люди не отдавали себе отчета в величии генерала...

Легкость приходит от силы. А я свинцово тяжел. Веки придавливают глаза. Свет с трудом пробивается ко мне.

108

Часы отмерили мое время — пора в номер. Лелею мышцы. Нежу мышцы. Заискиваю перед мышцами. Завтра все доказательства сойдутся в них. Не будет такой, чтобы не впряглась в усилие. Тяжести всех чувств и назначений сойдутся в мягких, теплых мышцах...

Я неистово искал место, где можно было приткнуться, отмякнуть звоном уходящей боли, вздохнуть полной грудью. Улиц много, очень много...

Пытаюсь уговорить себя: «Все мое самоуглубление материализуется в силе и накале борьбы, способности выносить накал борьбы...» Я нравоучителен, как мой тренер. Я лжив, как правда, назначенная в оправдание.

Я кричу. Кричу всем тем улицам, которые отказывают в покое:

— Пусть для других мой эксперимент — опрометчивость! Пусть нелепость, кустарщина! Ждать?! Чего ждать?! Ждать, чтобы я стал другим?! Разве опыт — это не я?! Разве я могу быть другим? Я просто жил! Я был самим собой: риск экспериментов — это я! Я все умею, кроме жить поддельной жизнью! Жить! Жить!..

109

Портье клюет носом возле лифта. Администратор любезничает по телефону. Дождь и ветер за стеклами. Даже в своем ненастье погода непостоянна. Штормовая погода.

Входит Цорн. С ним человек в мокром зеленом плаще и зеленом берете.

Ощущаю руками насечку грифа. Только бы вес не загнал в глубокий «сед»...

Цорн неуклюже опускается в кресле. Плащ и шляпа в руках.

— Кто он?— спрашиваю я. Мне совершенно безразличен тот господин.

— Была тоска, а тут он. С Хенриксом я отказался пить. Ему надо работать.

— А это кто?

— Совсем не обязательно знать. Приветлив со всеми, даже с афишными тумбами— это помогает его маленькой карьере. Словом, из тех, кто составляет признанную основу общества. Милейшие люди! Судят искусство, подпирают политику, презирают бедность и все судят! Ревнителю веры! Каждого нельзя даже всерьез принять. Но как они хорошо дрессируются! Просто замечательно дрессируются...

Я незаметно ощупываю свои мышцы. Скверные мышцы.

— ...и все одинаковы,— продолжает Цорн,— лишь цвет галстука разный. Словом, как в стихах: «Опять одинаковость сереньких масок, от гения до лошадей...» Что за дикость за всеми этими дипломами, свидетельствами, патентами, званиями! Дикость в вытуженных костюмах, платьях, вежливости манер. Как прав Петрарка: «Если бы все дураки носили белые шапки, мы смахивали бы на стадо гусей».— Цорн вытягивает ноги, часто и с беспокойством оглядывается. Спрашивает:— Читал Гелбрейта?

— Нет.

— Рекомендую его «Новое индустриальное общество». Кстати, книга издана в Москве. Гелбрейт недурно сказал: для эффективного управления людям следует внушить, будто они свободны и независимы. Здесь преуспевают в этом искусстве.

Слабну в своих мышцах. В них ритм будущего усилия. Цорн читает:

Мясник существует,
Чтобы резать быков.
А бык существует,
Чтобы быть зарезанным...

Цорн потирает виски:

— Мало спал. Правил переводы Эриха Вайнерта... Тебе нравятся пьесы Паганини?— И говорит после паузы:— Я всегда помню слова Льва Толстого. Действитель-

но, если бы провалилась вся европейская цивилизация, стоило пожалеть лишь о музыке...

В полутемном углу та же молодая пара. В этот раз они обходятся одним креслом. Руки парня полируют маленькую гибкую фигурку. Они задыхаются поцелуями.

— Любишь Риту, Максим?

Цорн смотрит на меня.

Мне становится неловко: какое дело до их отношений?

— Никогда не любил. И она тоже. Нравились. Только и всего.

— Очень красивая женщина.

— Я жил как человек, которому обещано замечательное. Однако жизнь откладывала встречу... Тебе нравятся картины Мусатова? Та, которую я ждал,— это мусатовская женщина-видение. Всего лишь мечта, которой я поверил. И, как ни странно, жду. Возможно, мне просто не повезло и эта женщина прошла где-то рядом... Я не экзальтированный юноша, знаю женщин, но что они для меня? Ту, другую, я слышал, я чувствовал. Протяни руку, разведи дымку — и увидишь. Я же не обманывался: эта женщина была, она есть... До сих пор не пойму, зачем эта ложь ожидания? Кто внушил? Глупо, но жду ее по сию пору. Понимаешь, она как жизнь! Та, другая, светлая, незамутненная! Женщина для меня нечто большее, чем плотская привязанность, сходство натур или целей. Это как великая новгородская панагия — знаешь, есть такая икона в рост? Чудная икона двенадцатого века... Это как очищение! Несколько лет назад я узнал, что был в России художник Мусатов. Случайно прочитал, а когда увидел, поразился! Мазок уверенный, сильный, а холст просвечивает. Грубый холст — не каждый отважится на таком писать. И проглядывает рисунок углем. Какая же напряженность в вечернем сумраке — смещении вечера и ночи! Его женщины очень далеки от того, что мы принимаем за красоту. А странный изумрудно-голубой тон! Подернутые дымкой мечты полотна. Мне уже сорок, а я под иллюзией отрочества. И все же, зачем эта нелепая тоска ожидания? Зачем этот медленный ритм ожидания, грустный до одури? Зачем мираж красок: одиночество старых аллей, аромат шорохов и эти лица — доверчивые, печальные? Зачем эти губы, в которых отрешение от всех несчастий, обид, грубостей? Зачем вечерняя мгла и огни в старинном доме, заслоненном листвою, годами ожида-

ния, всей жизнью ожидания? Почему все светлое только мечта? Всегда мечта? Почему только в музыке и в красках мечта обретает реальность? Как поверить, что это никогда не сбудется?! Господи, почему все стирает, сминает, растаптывает жизнь?! Почему она так ненавидит эти чувства, краски, слова? Почему уродует прекрасное, которое в нас от рождения, и мы незаметно привыкаем к уродству? Зачем эта жизнь разменивает прекрасное на безобразное и тусклое? И почему это безобразное удобнее? Что за дьявол заставляет общество сражаться с прекрасным ради убогого и пошлого? Почему прекрасное должно чахнуть, задыхаться?! Странная жизнь. У меня чувство, будто я где-то потерял ее. Может быть, она потеряла меня. Или все выдумка? Музейные холсты, сонаты, книги — это выдумки?! Но почему мы предпочитаем худшее для жизни, а прекрасное загоняем в музей, в книги, в призраки?! Как верить в символы? Я живу лишь среди обозначения чувств, наименования чувств, обязанных проявляться в тех или иных ситуациях, а мои настоящие чувства, как картины, — в музейных запасниках. Кто-то жестоко измял меня, изувечил, и теперь я живу в мире, где все выцвело и фальшиво. Здесь все чужое. Как можно любить обрубки чувств и обрубками чувств? Я ощущаю этот чужой мир, невежественный мир. Это все символы, подделки, наборы животных инстинктов, насилие. Боже, какая-то спячка, дурман! Ведь у солнца такой яркий, чистый тон! И у неба, и у травы! И наши голоса неповторимы! Сколько же можно верить в символы? Ведь мы знаем, что больше не будем жить. И вот это все — единственное, а соглашаемся на обман, бредим обманами. Я чувствую себя как герой Ганса Фаллады: старик, но все еще живой среди миллионов молодых, уже умерших... Мы даже наедине с собой привыкаем фальшивить. Перед смертью и вечностью у нас не хватает мужества. Мы забыли назначение мужества... Возможно, я все выдумал. И жизнь в самом деле гадкая волокита. Музыка, искренность, солнце, краски, добро — все это грех моего воображения... А может быть, я просто не в состоянии воспринимать реальность? Навоз и величие сочетаются в великом и великих — так, кажется, сказал Гюго? Может быть, и о прекрасном так следует сказать? О чести, о всей жизни?! Но как примирить честь с навозом? Беду назвать счастьем? Инстинкты — любовью?.. Почему не могу жить каждым днем, плохим и хорошим?

Почему все вокруг будто нереально? Все слишком серо, неуютно, окаянно, чтобы звать жизнью. Вопреки рас- судку жду другую жизнь! Кажется, проснусь, встану... и всего этого не будет...

110

Я в комнате у Поречьева. Он по телефону уточняет место и время соревнований. На столе учебники по физиологии, анатомии, советские издания биографий де Голля и Наполеона, журналы «Наука и жизнь», французские и финские спортивные газеты. Верещанье в трубке — это объяснения Мальмрута. Поречьев сидит в кресле. Вставив запонку, он любит манжетом, потом неуклюже всем корпусом склоняется над телефоном:

— Никаких «но»! Повторяю: никаких «но»! В раздевалку я никого не пушу. Да, да, вы правильно поняли: любого! Вам цирк нужен? Работать будем только на рекорд. Никаких лишних подходов! Без фокусов...

Открываю журнал на том же месте, где заложен карандаш. Опять подчеркивания через всю страницу! Опять жирные восклицательные знаки! Мне кажется, я не читаю, а прикладываю очень горячие строчки к себе: «...Итак, беспристрастный анализ фактов заставляет согласиться с много раз звучавшей с трибуны конгресса формулой Фэтли-Уэйза (США): «Стресс в ряде случаев всеобъемлющее, прогрессирующее, эндогенное (зависящее и от внутренних причин!), болезненное угасание...»

Совокупность внутренних и внешних причин дает картину процесса. Ввиду этого мы не можем согласиться с формулой Фэтли-Уэйза, так как она не имеет всеобъемлющего характера. Формула справедлива для определенной категории случаев. Однако можно считать доказанным, что чрезмерные (их теперь называют стрессовыми) нагрузки существенно укорачивают жизнь...

Ряд докладчиков выступило с позиции крайности — это Гомперц, Кальден и Лукач. По их мнению, никакие влияния вообще не в состоянии остановить разрушительные последствия так называемых чрезмерных стрессов из-за необратимости нанесенных ими разрушений...»

Недвижен белый вечер. Сонно налег на дома.

— Куда?— Поречьев зажимает ладонью трубку. Молча закрываю дверь.

В мокром стекле вижу свое отражение. Высокий человек мнется перед дверью. Что я делаю? Зачем? Что изменят еще один день и одна ночь с болью? А завтра самое мощное напряжение? Самое бешеное и беспощадное напряжение.

Иду и смеюсь. До чего же просто: плати и получай любые чувства. Набор воли и чувств! Аптечный рай!..

Запомнил все подробности этой площади возле аптеки. Весело светятся окна кафе и ресторанов. Доносятся обрывки музыки. Вижу за стеклами танцующих. Люди пьют вино, смеются. Улыбки, улыбки...

Города моего турне. Везде дотошливость репортеров, требовательная благосклонность публики, казенная чистота номеров, казенный уют и сосущая тревога новых и новых неудач.

Нет, ночь в Париже запомню. Я отработал очень поздно. Магазины и лавочки были закрыты. Я не мог раздобыть минеральной воды. Я потерял вес и сгорал от жажды. Я исходил окрестные улицы, но все они спрятались за глухоту жалюзей.

Я обратился к портье гостиницы. Он предложил вина.

— Кисловатое, недурно утоляет жажду,— сказал портье.— А магазины закрыты до утра.— Бутылка с вином была круглая, оплетенная, литра на три, и хранил он ее где-то в самой глубине под стойкой.

Осборна я не заметил. Лишь когда он бросил из темноты тесного холла:

— Не спится? Разменяем ночь? Посидим у меня? Или в ночной погребок?

Только тогда я заметил, что здесь Морис Осборн и что он не один. Единственная лампочка горела за спиной портье над доской с ключами.

— Нет, спасибо,— сказал я.— Мне еще выступать в четырех городах. До погребка еще очень далеко, Морис.

Он подошел к стойке, такой же высокий, как и я, однако не такой массивный. Я увидел сухой горбатый нос и ежик волос. Я знал, что они рыжеватые.

— Стакан!— приказал Осборн и положил на стойку десятифранковую бумажку.

— Зачем деньги, месье?— проворчал старик.— Разве за такое платят?— Он очень выразительно выговорил это слово «такое».— Сейчас я угощаю.— Старик бережно налил в стакан вино. Черным было это красное вино в темноте.

— Может быть, и вы не откажетесь, мадам?— Старик выставил еще стакан.

— Нет,— сказал Осборн.— Она откажется. За будущий рекорд!

— Спасибо, Морис,— сказал я.

Вино пришлось по вкусу Осборну. Они выпили с портье еще несколько стаканчиков и понравились друг другу. Старик стал рассказывать о Шарле Ригуло, о том, как этот француз «загреб все рекорды и титул сильнейшего в мире».

Старик еще раз предложил вина. Я отказался. Две бутылки «кока-колы», которые принесла из своего номера подруга Осборна, ровно ничего не значили. Я мечтал о многих бутылках холодной минеральной воды. Когда я пил «кока-колу», кожа на губах лопнула и я ощутил солоноватый привкус. Бутылки пахли духами этой женщины. Я все не мог ее разглядеть.

— ...Пусть подавятся!— ругнул кого-то старик. Он и Осборн уже совсем поладили. Старик стал вспоминать знаменитый поединок Карпантье с Дэмпси. Старик все видел своими глазами. «Если бы не этот встречный справа!— сокрушался старик.— Если бы он чуточку больше заботился о защите...» Старик имел в виду Карпантье.

Никто не звонил в дверь. И Поречьев спал. Все постояльцы той маленькой гостиницы спали. На стойке у портье пищал транзистор, но когда смолкал транзистор и мы, в холле становилось так тихо, что я слышал частый и прерывистый ход своих часов и сипловатое дыхание старика. Это была тишина огромного, начиненного грохотом города. У меня болели шейные мышцы, которые я повредил еще в феврале. И я поворачивался всем туловищем, а голову держал немного вперед.

Осборн сказал, что он специально прилетел из Кливленда и Мэгсон недоволен, но ему плевать на Мэгсона. Он не получил за «железо» ни цента и плевал на все деньги. Он уверен, что я еще накрою много рекордов. По этому случаю они выпили со стариком. А когда старик

предложил подруге Осборна отведать вина: «Это не по-джентльменски, месье»,— сказал он Осборну, Осборн поставил третий стакан дном вверх и ответил грубовато: «Нет!»

Я облизывал губы. Губы спекались и лопались.

— Славную нашли девушку,— сказал старик.— В Париже такие штучки не проходят. Я не ошибся, вы настоящий мужчина, даже такая женщина согласна на все эти «нет». Поздравляю, месье... Простите меня, месье, но мы, мужчины, привыкаем к привязанности, позволяем не замечать ее. Понимаете, что я имею в виду?.. Ну как, еще стаканчик?..

— Нет!— сказал Осборн. И они пропустили со стариком еще по стакану. Я так и не понял, к чему относилось последнее «нет». Разливая вино, старик прижимал бутылку к груди и что-то бормотал.

Потом подруга Осборна ушла за своей сумочкой, и, когда спускалась по лестнице, я разглядел ее. У нее были узкие бедра и маленькая, обтянутая грудь. И сама она была не по-европейски смугла. В неправильных чертах ее лица было что-то привлекательное. Старик, пожалуй, был прав.

В холле и у стойки было темно. Темно и уютно. Старик выложил сигареты, но не курил.

Хорошо, что мы не могли рассмотреть друг друга. В тот вечер я совсем расклеился. На помосте я пробовал рекордные веса, и «экстрем» позаботился обо мне.

Я не спрашивал Осборна о Пирсоне. Такие вопросы не задают. Но Осборн вдруг сказал: «Пирсон не составит тебе конкуренцию. Вообще никогда. Это противоестественно. Но Альварадо в подходящей форме».

— Они меня не волнуют, Морис,— сказал я.

— А кто эти господа?— спросил старик.

— Есть такие,— сказал Осборн.— И один из них все не может стать чемпионом.

— Значит, тужится,— сказал старик.

— Да,— Осборн рассмеялся.

— Передай привет Бену Харкинсу,— сказал я.

— О'кей,— сказал Осборн. И они снова принялись за вино. Вина было много, и они никак не могли его распробовать...

На чемпионатах с Осборном что-нибудь да случалось. Или он зарабатывал нулевую оценку сразу же в первой попытке, или выбывал из-за травмы, когда все уже, ка-

залось, было сделано. В страсти к риску ему не откажешь.

Я не спрашивал Осборна, но он наверняка занимается культуризмом. Я мало видел такое обилие мышц. И крепление каждого пучка обозначено. Вкраплено ничтожное волоконец. Сплетения сочных побегов мышц! И ноги тоже избалованы стройностью мышц. И при всем том Осборн пренебрегает конкурсами красоты, хотя шансы на любой из трех призов у него. Международная федерация тяжелой атлетики, кроме наших чемпионов, проводит атлетические конкурсы красоты. Соблазн для многих. Даже знаменитый Мунтерс священнодействовал на подиуме этих конкурсов. Зрелище опьяняющее. Страсти бушуют в мышцах. Мощные жизни в этих мышцах...

После чемпионатов или такого выступления, как мое в Париже, Осборна не узнать. Он даже зрителем испытывает потрясение. Для него спорт не спектакль и не подстроенное зрелище, а столкновение судеб, обнажение судеб, риск, истинность страстей, великие страсти поединков! Осборна мучают непонятные страницы дней. Эти страницы вложены в большую книгу его жизни. Его символ веры — борьба...

Ближе к утру, когда я уже давно был в своем номере, подруга Осборна вдруг принесла целую сумку бутылок «Виши». Сомневаюсь, знал ли об этом Осборн.

«Экстрем» вел со мной разговор один на один. Вечер застрял над Парижем. Вечер слился с утром. Стены, пол, потолок горели жаром моих чувств...

Девушка постучала и вошла. Вошла бесшумно, быстро. Номер не был заперт. Наверное, она видела свет в моем окне.

Юркие случайные автомобили били ревом моторов в железные шторы улиц. Стаи птиц тянули в небе. Рассвет рисовал линии в хаосе камня. В омутах неба стояли плоские облачка.

Она расстегнула куртку. Закрыла за собой номер на ключ. Поставила сумку на пол. Номерок был тесный, в три шага стена от стены. «Голубятня», как назвал его Поречьев.

Я услышал холодок ночи, разгоряченное дыхание, запах бензина и пряность духов. Под замшевой курткой с длинными острыми лацканами сбилась мужская рубашка, небрежно застегнутая. До того небрежно, что почти открывала груди. Маленькие, но налитые груди. Рубашка

была надета на голое тело. Желтые расклешенные книзу брюки выставляли полноту ног, ширину подвижного крепкого живота. Узкую талию стягивал кожаный ремень с грубой металлической бляхой. Шея, плечи и груди...— все дышало неизбежностью ласк и неудержимостью ласк. Она умела любить, она знала это, обещала и не сомневалась. Все в ней было этим обещанием.

Совсем близко я увидел ее глаза, они смотрели на меня снизу, блестящие, крупные, уже подернутые истомой предвкушаемой ласки. Волосы, упав на спину, открывали уши с тонкими кольцами. Не знаю, но я почему-то запомнил эти кольца. Они оттеняли необычную смуглость кожи и белизну выгоревших волос. Невероятно крупные желтоватые кольца...

Потом из сбивчивой маловразумительной речи я уяснил, что она исколесила город в поисках минеральной воды.

Я скорее оборвал бы себе руки сумасшедшим «железом», чем прикоснулся к этой женщине. Она была обманута мишурой зрелища. Все мои попытки были азартным зрелищем. Животная близость, которую сулила эта встреча, была все той же платой за силу, за спектакль силы.

Париж. Далекий Париж, так и неоткрытый мной. Гигантский непонятый город. Одна из коротких остановок в моем пути.

Сизоватым и безмолвным было то утро. Улочки поражали своим запустением. Рассвет открывал подробности этих улочек. Где-то в центре Парижа нарастал грохот. Острее и выше становились гребни крыш...

«Экстрем» складывает свои немудреные формулы, разрушает, снова складывает. Я действительно безумен. Я мечту нарекаю своей судьбой.

Белый потолок номера. Там тишина отсчитывает мое время. Сколько еще будет гостиниц в моей жизни?..

113

— Раскройся в подрыве,— говорит Поречьев.— Пристань на носки — и раскройся! Плечи откинь, руки прямые. Мышцы все отдадут! Снимай с выключенными локтями и не спеши, иначе завалит вперед. Раскройся — и сразу под вес. Как выполнял уход Шеппард? Вот так же камнем, но мягко, эластично...

С неприязнью думаю о Цорне, Хенриксоне и всех,

кто расточителен на слова, за все рассчитывается словами: «Передельыватели мира! Потрясатели воздуха! Возы слов! Вместо жизни вымыслы, абстракции».

Ценю лишь слова, обожженные риском, оплаченные днями и годами собственной жизни. Я задыхаюсь добротой людей, участием людей.

Поречьев приседает, ловит воображаемую штангу на грудь. И снова объясняет, как важно не клюнуть корпусом перед посылом.

— Будем отступать, сохраняя боевые порядки,— говорю я.

Поречьев с хрустом сжимает кулак:

— Рекорд твой! Ему просто некуда деваться.

— А страницу мы все же перевернули,— говорю я.

— Что?

Я молчу. И это молчание словно выцеживает тревогу из тишины.

— Великий атлет должен верить только себе, слышать только себя,— говорит Поречьев.— Ограниченность— это не издержка спорта, а необходимость! Осознанная необходимость!

— Пусть теперь бесится,— я киваю в сторону, будто здесь с нами «экстрем». Я встаю.

— Что ты все загадками говоришь?

— Цорн где?

— А что, нужен переводчик?

— Он звонил?— спрашиваю я.

— Он у Риты, ей плохо. На всякий случай оставил телефон Мальмрута.

114

Улица съедает мой шепот, обреченность шагов, загнанность сердца. Кто я, куда иду, зачем?..

Мотаюсь по белесым залуженным улицам. Глазею на рекламы кинотеатров. Жадно прислушиваюсь к чужой речи, ворую тепло чужих слов. Поглядываю за собой в стеклах витрин, телефонных будок, автомобилей и выражении чужих глаз.

Вижу дни своей юности. Выбеленные солнцем дни. Волосы сухи жаром тех дней. Ветер обрывает листву, валит высокие травы, смешивает запахи всех трав. Я неутомим и ловок в прохладе всех вод. Горячее дыхание земли — все ласки этого горячего воздуха—на моем лице,

руках, груди. И все в том мире близко, понятно, дорого...

Тяжеловесен белый сырой воздух этой ночи. Редает поток прохожих. Желты и блеклы огни...

Бреду за воспоминаниями...

115

— Рассчитываешь на пожизненное признание?— спрашивает Цорн.

— Лучше выпей,— говорю я.

Я достаю из чемодана бутылку и ставлю на стол. Хочу до предела сократить пустоту последней ночи. Да и ему некуда деть себя.

— Кто ты?— Цорн подсаживается к столу.

— Это лучше всего знают газеты и публика.

Цорн вышибает пробку, наливает стакан до половины, делает несколько глотков.

Пробегаю взглядом свое интервью Пьеру Ламбару: «...Этот громадный человек говорил в микрофон очень спокойно. Он производит впечатление человека, у которого в жизни все выверено и прочно. Полагаю, что неудачное выступление русского — тонко рассчитанный ход...»

Поречьев поглядывает на Цорна. Уже одиннадцатый час вечера.

Тормошу Цорна вопросами. Пусть говорит. Я сегодня примерный слушатель.

Поречьев подходит ко мне, ощупывает плечи, руки.

— Сядь поудобнее,— просит он и осторожно встряхивает мышцы. Слабну под его руками.

— Двенадцать бутылок пива входят в недра этого чудесного портфеля.— Цорн укладывает книги в портфель.— И еще остается место для старого джентльмена. Разве «Гордонс драй джин» не джентльмен с пробки до донышка?..

116

В нагрудный карман пиджака засовываю платок. С особой тщательностью причесываюсь. Черт побери, я не так плохо выгляжу! Крутые плечи, тяжелые, налитые руки. Почти шестнадцать лет «вбиваю» в себя силу.

Рукой веду по руслам мышц. Что могу подарить им, кроме этой ласки?..

Прикидываю, как сбереж их. Ведь даже на таких весах можно чисто сыграть, если напряжение всех групп мышц слить. Сыграть без пауз. И я сыграю эту партию на своевременности усилий.

Мысленно прилаживаюсь к грифу, контролирую готовность каждой мышцы, вывешиваю рекорд на мышцах...

Я перед зеркалом. Смотрю на свое отражение и не вижу: гриф бьется в моих ладонях. И я окончательно прихожу в себя. Меркнут ощущения столкновения веса с моими мышцами. Огромные блестящие глаза смотрят на меня из зеркала — это я...

Я один в этом парке. И для меня зажжены все фонари и угодливо пусты все дорожки. Белая ночь навязывается в подруги.

Надо идти. Шаги приручают мысли. «Экстремные» мысли могут обессилеть раньше, чем выйдешь на помост. Подчинить себе лихорадку! Взять себя в руки!

Как в старинной китайской книге: все в этом городе заросло высокой травой, и не ступает здесь нога человека. Белые травы северной ночи. Заросли этих белых, бесконечных туманов.

Перебираю в памяти цифры нагрузок: в числителе дроби — порядковый номер подхода, в знаменателе — количество повторений упражнения. Какое же количество повторений оптимально при тренировках методом экстремальных факторов?..

Кровли домов пропадают в сумерках. Сумерки превращают дома в ряды высоких стен.

Возвращаюсь в гостиницу. Цорн, наверное, поужинал. Мы еще посидим перед сном. Нам спешить некуда.

В памяти та запись Поречьева в тренировочной тетради. Где и когда он оставил меня? Или я ошибся в нем? На Востоке говорят: меч этого правдолюбца вложен в ножны предательства. Этот мастер великой резьбы слов Пу Сун-линь заметил: «Когда подлый стремится к добру, он как бы сажает куст, чтобы собрать с него цветы...» Рисую в памяти иероглифы этого афоризма.

Женщина в синем вечернем платье шутиливо дергает рассыльного за лакированный козырек каскетки. Искусно подвитые пепельно-седые волосы подчеркивают румянец

ее щек. Узнаю мадам Танго — так я прозвал за капризно-томный шаг женщину, которой переадресовал послание Святейшей Девы Гваделупской. Лифт уносит ее.

Цорн окликает. Сбрасываю плащ, приглаживаю волосы. Иду и сажусь рядом с ним.

— Парад ночных бабочек,— говорит Цорн.

Двери ресторана проглатывают гостей. У подъезда гостиницы выстраиваются автомобили.

Выходит метрдотель. Закуривает. Учтиво пропускает своих клиентов. Перебрасывается замечаниями с администратором. Порой он весело отстукивает лакированной туфлей ресторанныю мелодию.

Цорн засовывает книгу в портфель:

— Преподносят гадости, как букеты роз. Еще изволь переводить эту мерзость.

— Отдохнул бы от переводов.

Метрдотель, одернув смокинг, исчезает в ресторане. Кажется, все эти люди жили ради этого часа, делали все, чтобы получить этот час.

— Я что-то озяб.— Цорн встает.— Как говорят в России: глоток водки — лучшая шуба.

Я вижу, он бодрится. Он осунулся, бледен и скучен.

— Пойдем,— говорю я.

— Ба! Эльза!— Цорн сворачивает к лифту. Церемонно целует руку девушке. Она краснеет и что-то говорит. В руке у нее букетик синих гвоздик. Черный свитер и черные брюки делают ее похожей на мальчишку. Она вставляет гвоздику в петлицу Цорна. Он снова целует ей руку...

Поднимаемся с Цорном. Я по спортивной привычке обхожусь без лифта. Цорн упрямо следует моему примеру.

— Ее зовут Ангел Смерти. Работает без сетки и без ловлита, то есть без партнера. Она не признает страховку. В любом случае без сетки...

Бар раскачивается в дыму. Парни в женских цветных блузах. Хриплоголосы женщины, истощенные, как манекенщицы. Желтится пиво в пинтовых граненых кружках. Белый пот на этих кружках. Бутылки стерегут столы...

— ...Ее предок Эмиль Гравэлэ. В 1859 году прошел по канату через Ниагарский водопад. Двадцать пять тысяч зрителей собралось посмотреть, как он разобьется. Гравэлэ посмеялся над всеми. Над водопадом он изжарил яичницу в своей миниатюрной печурке и преспокойно ступил на другой берег. Имя его стало легендарным.

По афише он был Блонден и служил в качестве канатоходца у Александра Гверры... А не глотнуть ли пива?..

— Не мешай с водкой, развезет.

— Алкоголь примиряет меня с действительностью. Мне всегда мнится, будто я неудобен людям. Себе-то уж определенно неудобен. Глоток спиртного лишает этого комплекса неполноценности. У каждого свинства свое идейное обоснование... Что остановился?.. Тебя прельстила эта ночная ваза?..

За стойкой бара Ингрид. Она сидит на крайнем табурете. У нее тяжеловатые бедра и тонкая талия, и со спины она действительно вроде тех ваз, что лепил Пикассо. Ее не узнать: рыжие волосы накрывают плечи. Она поворачивается, отводит волосы и смотрит на меня. Ее глаза ничего не выражают.

Черт побери, это здорово, что здесь так накурено и всем нет до меня дела!

Она соскальзывает с табурета. В губах улыбка. Она в облегающем светло-сером костюме. Янтарная заколка в форме скарабея стягивает воротник блузы. Ее руки замирают в моих ладонях.

— Я воспользовалась тридцатью минутами перерыва.— Снизу на меня смотрят огромные серые глаза.— Видишь, я не ошиблась: ты пришел.— Она говорит очень тихо. И в этих огромных глазах выражение какой-то отрешенности.— Ты очень сильный — знай это. Пойми, другие не могут видеть и понимать себя — это только для сильных. Верь в себя, милый!.. Я испытала на себе грубую власть других. Как бы я хотела, чтобы ты стал моей силой! Так ждала тебя! Столько ждала! Вот и все мои слова, милый. Забудь их. Ладно?..— Она достает из сумки ключи от автомобиля и почти бегом спускается по лестнице. Портье выходит навстречу. Подает ей плащ. Я вижу, как дверь-вертушка захватывает ее..

— Прости,— слышу я Цорна. Пенковая трубка исторгает на меня клубы дыма.— Я вел себя по-хамски. Прости, Сергей. Она славная.

— Ты носорог! Ты понял?

— Принимаю все... А знаешь, у нее недурное меццо. Голубоватые плафоны встречают нас в коридоре.

— Что делает здесь Эльза, Максим?

— Эльза... Влюблена в Гуго...

— В Хенриксона?

— Он был неразлучен с ней, когда она болталась на

костылях. Она репетировала трюк своего предка и разбилась. Теперь снова репетирует. Очень довольна. Скоро состоится этот дьявольский шабаш... Боги благие! А не подрабатывал ли наш Гуго в цирке? Уж очень профессиональны эти сальто-мортале. Да он же с ней там и познакомился, наш акробат!..

Вдруг отчетливо вижу спортивный зал. На меня надвигается этот зал. Я в тепловатом ожидании этого зала.

Мне не нужна другая жизнь. Я не выкуплю силу, не выкуплю все эти годы, не верну ни одного мгновения, но я зову эту жизнь!

В номере светло и сумрачно. Я одергиваю штору.

Цорн кладет трубку:

— Маргарет Ярвинен обещана жизнь... до следующего приступа. Выпишут через две недели... если ничего не случится.— Буроватый пенковый носорог берет разгон из зарослей крепкого дыма. Цорн, ссутулясь, смотрит на меня.

Я наливаю в стакан водку.

— Нет, не хочу,— говорит Цорн.— К черту!

Я иду в ванную и выливаю водку.

— Я книжник,— говорит Цорн.— Живу по книгам. Прикладываю все книжное к жизни. Упрекаю Гуго, а сам хуже книжного червя. Ну, милейший, что лучше, быть гильотинированным или гильотиной?.. Ладно, у меня скверно здесь.— Цорн прижимает руку к груди.

Я киваю. Но я далек от него. Я отрекаюсь от всех иных смыслов и слов. Расчетливо веду себя навстречу каждой минуте.

Долго смотрю на Цорна, пока, наконец, доходит смысл его слов. Трубка потухла. Тускло отсвечивает ее желтизна в пальцах Цорна.

— ...Зачем им Бодлер, Байрон? В лучшем случае знают их имена. Озабочены выгодами, пенсиями. А ведь холуи! Вылощенные, благообразные, но холуи! Великие завоевания культуры!

— Этот мир неизбежно станет другим, Максим. Не может не стать. Все будет иначе, пойми! Но мы нужны для этого. Всегда нужны!

Разглаживаю ладонями лицо. Умываюсь сухим жаром ладоней. Не отрекаюсь от прошлого. Я просто впервые начинаю слышать. Слышать себя и всех...

— Мир в нарушениях равновесия, Максим. В последовательном восстановлении утраченного равновесия, в новых качествах равновесия. Мир, основанный на неизменности равновесия, — паразитный, возможный лишь насилем и в насилии. Неизменность равновесия противна законам природы. В ничтожных и громких победах мир утрачивает равновесие. Он жаждет равновесия, чтобы потерять его. Сложные, примитивные, грубые, святые истины... — бесконечный мир равновесий. Жизнь существует лишь в победах, в этой высшей активности природы. И даже наши чувства — из этого мира нарушений равновесий, побед равновесием. Мы части громадных процессов, мы подчиняемся всеобъемлющим законам бытия. Глупость, гениальность, добро, напыщенность, торжество, алчность, безрассудство, подлость, вера... сталкиваются, разрушаются, снова сталкиваются, непрерывно сталкиваются. Все вечно лишь в этой непрерывности! Непрерывности изменчивостей! И боли, и счастье, и мерзость — жизнь! Непрерывность, как таковая, и возможна лишь в нарушениях равновесия. Мир нереален без этих нарушений. Мир вынашивает свои противоречия. Мир теряет устойчивость ради новых равновесий. Мир постоянно опробывает новые равновесия. Мир потому и существует, что в победах терял равновесие, победами обретал равновесие. Всегда вызревают новые победы! Можно их презирать, ненавидеть, любить, проклинать, но они вызревают. Каждый миг вызревают. И вся наша жизнь в этом: что ты есть для победы? За работой, заботами, страстями, рождением и смертью — яростное натяжение равновесия, рев этого равновесия и новые свершения! Всегда грядет новый мир! Победы созидают жизнь! Мы из побед!..

Цорн приминает табак в трубке и поглядывает на меня:

— Сила обычно не на пользу разуму. Сила подтачивает умение трезво мыслить... Как тебе Брамс? Не раздражает композицией?

— Брамс?

— Я уже говорил. — Цорн кладет трубку на блюдце для графина, смотрит на меня. — Я объяснял тебе, победы вообще не аргумент и еще ничего не доказывают. Философ-материалист утверждал: «В твоей победе за-

ключается твое поражение».— Цорн подбрасывает спичечную коробку. Забавляясь, крутит ее пальцами.

— Если в победе видеть конечную цель, то да. Но у развития нет конечной цели.

Цорн закрывает рукой глаза и читает, постукивая коробком:

...Ваши очи были птицы,
Утонувшие в огне.

Говорит после паузы:

— Возможно, прав ты. Возможно, я. Но побеждают мальцаны.

— А ты их переводи, Максим,— говорю я.— Переводи! Побольше и постарательнее. Пойми, мы утверждаем, если действуем. Природа развития в действии. Мир вкрадчиво переходит к новым равновесиям, мир рывками пере скакивает на новые равновесия. Мир ищет равновесия. Всегда грядет новый мир! И этот новый мир четко откладывается в нас. Он еще не скоро свершится, порой не очень скоро. Но этот грядущий мир через нас станет жизнью. Становится жизнью. Он в нас ищет силу. Он из нас — из нашей силы. И прежде в нас свершает свои великие изменения. Он всегда начинает с одного человека, многих... Эти изменения или калечат, или убивают нас, или делают людьми. Но грядущий мир никого не обходит. Ищет нас, находит нас, когда мы даже не слышим его. Всегда грядет новый мир! Он побеждает тем, что делает нас лучше, чище, активней. Из столкновений со старым мы познаем новое и черпаем опыт. Нами новый мир подступает к своему утверждению. Жизнями расплачивается мир за свои великие цели частного...

Цорн складывает из спичек геометрические фигуры. Кажется, он весь ушел в это занятие. Потом поднимает голову. Смотрит. И вдруг улыбается. Эта неожиданная улыбка сбивает меня. Цорн говорит:

— В конце концов самое важное, когда есть точка опоры.— И спрашивает:— Помнишь последнюю попытку в Оулу?

— Да.

— Я уже решил, есть рекорд.— Цорн встает, подходит к окну. Водит ладонью по своему отражению. Шепчет:— Ряженный.— Прикрывает ладонью отражение своего лица и произносит твердо и внятно:— Я ряженный.

Мы смотрим на эту ночь, которая вдруг потеряла свои

краски. Бестелесен этот город. Кажется, он поднялся и витает в светлой дымке. Выжженный белой мглой город. Северная ночь.

119

Идем с Цорном. Неоновое пламя витрин обозначает линии стен.

Меня бьет лихорадка. Я между светом, мраком, надеждой и отчаянием. Завтра! Все завтра! Люди с билетами на мой спектакль уже спят.

— Я следую заповеди своего отца, Максим: во всем сомневаясь, оставаться убежденным. Если это можно назвать девизом, то это он.

«Китайцы говорят: хочется любить, как ласточке,— думаю я.— Хочу любить жизнь, а у меня все, как выгорело».

Завтра мне работать. Завтра я проверю все слова. День окончен. Я выполнил все предписания режима. «Экстрем» тому свидетель. Оборачиваюсь к Цорну:

— А ведь хорошо сказано: у страха есть свои герои.

— Смотри, снег!— говорит Цорн.

Снежная крупа с шуршаньем скользит по плащу, заслоняет дома, скачет по асфальту и замирает, оплывая водой.

— Надо принимать этот реальный мир, а не мир добрых пожеланий и абстракций,— говорю я.— В этом, а не в выдуманном мире отстаивать духовные и материальные ценности. Боль — дурной советчик, в тебе очень много боли, Максим. Единственный способ выжить — борьба, даже если ты один, если измучен и все они против тебя. Светл и безумен всякий, кто посягает на истины этого зверинца. Ничтожность твоих сил — не значит поражение и совсем не значит, что ты не прав. Все отрицать — это уже давать им шанс! Они очень ловко подводят других к отрицаниям. Понимаешь, тогда нет ценностей вообще и все бесплодно, бессмысленно — это самый выигрышный ход зла...— Я киваю на сизое охвостье этой снежной майской ночи:— Не бери в советчики ночь, Максим. Даже если эта ночь белая и очень красивая.— Глазами ищу табличку с названием улицы.

У атлета должен быть крепкий сон и спокойные глаза. Разбираю постель. Боюсь сна.

Поречьев ловит мою руку и выкладывает на ладонь белые таблетки:

— Лекарство, успокоит, на координацию не влияет. Уснешь. Проверил на себе — хватит двух таблеток.— И он снова повторяет все свои доводы. В живую кровь вливает ханжество слов.

— Рекорд наш!— говорит Поречьев с порога.— Тебе еще сомневаться! Наканифоль большой палец. Я всегда так делал. Пусть приклеится с ладонью к грифу. Руки как плети — для подрыва это все... А теперь спи. Заглотай таблетки и спи! Пусть соперники не спят!..

Коридор отstroчен светлячками-плафонами — плоскими синеватыми дырами в потолке. Мутна белая ночь в коридоре.

— Спокойной ночи,— говорит Поречьев.

Я медлю несколько секунд, потом закрываю дверь. Ноги вязнут в бобрике. Отношу туфли в ванную: промокли насквозь. Ставлю на горячую трубу.

Ждать соревнования — дело привычное, хотя всегда тягостное. И в этот раз я бы просто механически выполнял все, чему научили другие ожидания, если бы не «экстрем». Я бы не мотался по улицам, не горел бы как новичок. Эту лихорадку не заговоришь словами.

Но если и позабыть месяцы «экстрема», все равно, сколько можно выжимать из себя? За последние годы я увеличил мировой рекорд в толчковом упражнении на тридцать пять килограммов. А ведь были еще рывок, и жим, и все тренировки. И была другая жизнь. И никаким отдыхом не стереть следы напряжений. Везде оставлял себя.

Выщупываю пульс. Гонит, как после подхода к штанге. Этот «экстрем» сожрет силу еще до рекорда. Разжижен температурой. Швыряю таблетки в корзину: к черту! Быть рекорду или нет — решать не сну и не усталости! Пока я хозяин себе!

ГЛАВА III

Я остался на своем начальном весе. Потом этот вес с третьей попытки взял Джордж Сигман. А Майкл Ростуу взял на семь с половиной килограммов больше. И мне стало не по себе. Я решил, что я загнал себя прикидками, что теперь и рывок и толчок тоже пойдут плохо. Это был мой первый чемпионат мира.

Зал ворочался в желтых сумерках. Потом вспыхивали прожекторы и зал исчезал. Я терял представление о пространстве. Я казался себе каким-то тупым и сонным.

Я привык на тренировках к спортивному костюму, и сейчас без него мне чего-то не хватало. И от этого мне казалось, что движения на помосте обязательно не сложатся.

В хороших движениях всегда удается преодолеть эту чуждость «железа». Я старался держаться поближе к грифу, но все равно вес зависал где-то вперед и обрывал руки.

Я был виден всем, но сам не видел никого.

За ярким белым светом я улавливал беспокорство зала.

Конечно, в том, что я пересоллил с прикидками, была своя правда. На этих последних тренировках перед выступлением разминочный зал всегда был забит публикой. Репортеры каких только газет не брали у меня интервью! А болельщики! А тренеры всех команд! Я не слушал Поречьева. Точнее, каждый раз умел убедить, что именно этот вес — очень большой вес — мне, право, необходимо сегодня попробовать. Конечно, я здорово размотал силу к своему выступлению. И все же в жиме я сорвался не потому. Меня сбили с толку команды судьи. Я брал штангу на грудь. Дальше всегда следует команда судьи-фиксатора. Это выжимание штанги с груди по команде введено для того, чтобы исключить работу грудью и ногами. И вот эту команду судья затягивал. Я принимал старт, а он не давал команды. Я держал вес в очень невыгодном положении: горло сдавлено грифом, грудь заломлена, а поясница и ноги напряжены.

Судья медлил с хлопком. Я думаю, что хлопок он подавал где-то на пятой секунде. Тогда я уже был задушен «железом». Поэтому я и засох на первом подходе.

Весь год после чемпионата я работал в жиме только под хлопок. Поречьев вслух считал: «Раз, два, три...» Он не делал исключений даже для самых больших весов. Но теперь я стал готов к са-

мому худшему, и никто не смог бы сбить меня с толку. Я уже приспособил стойку, дыхание к этому режиму.

И на разминках я уже не удивлял публику. Нет, меня все равно подмывало попробовать большие веса, но Поречьев не спускал с меня глаз. В конце концов я привык. Точнее, не привык, а научился удивлять публику обычными весами. Я работал так точно, мышцы держал так расслабленно, что движения мои казались совершенно воздушными. Я только прикасался к «железу», я только напрягал мышцы, а штанга залетала на прямые руки. Накануне соревнований это тоже было не очень полезно. Я ведь выкладывался в такой работе. Но совсем стать другим я не мог.

Сколько ж легкости в этих движениях! И эта сила, ласкающая «железо»! Эта точность и скупость движений! Я ощущал упругость своего тела, готовность к поединку — и был счастлив. Когда я погружался в такие усилия, я был счастлив. Все дни, когда я мог работать так, отмечены в моей памяти...

121

Я включаю приемник, усаживаюсь в кресло. Смотрю на свои заскорузлые ладони. Это не ладони, а какие-то подошвы, наждачные, грубые.

Рэй Чарльз поет свою знаменитую песню «Джорджия».

Тоскливой и никчемной предстает жизнь. На что ушли годы? Терял себя. Слава отравляла искренность. Что я знал, кроме своих забот? Как озабочен я был этими заботами!

Снимки, афиши, похвалы. Какое отношение к моим целям и всей жизни имеет восхищение других?

Ночь подслушивает меня. Смотрю на белые стекла.

Я обречен странствовать по чужим городам, искать в странствованиях громкие слова. Я уже обучен верить громким словам, гнаться за громкими словами. Ими измерять дни и годы...

122

Обхожу какую-то улицу. Здесь работы. Посреди улицы канава и острые кучи щебня. Раскачивается на свету красный фонарь. И снова шум ливня, витрины в потоках воды, пустота мостовых...

За неделю до чемпионата страны в Новосибирске я впервые испытал «экстремное» потрясение. Истощенные

экспериментом нервы каждый миг превратили в пытку.
Ядовитые краски той ночи!

«Вся беда в одиночестве,— шепчу я.— Будь проклято одиночество! Эксперимент, тренировки, слава, «железо»,— я все время один. «Экстрем» жиреет этим одиночеством...»

Дождь гаснет. Шагаю по странным светлым улицам. Город лоснится сытостью луж. Ночь кажется еще более светлой после полутемной, погруженной в сон гостиницы. Ветер меняет направление, и в его дыхании все явственнее ощущается тепло.

Ищу себя. Забрасываю ночь словами. Отгораживаюсь от боли и зла словами. Возвожу преграды из слов.

Хубер, Риверс... Нокдаун или нокаут?..

«...Никакие влияния вообще не в состоянии остановить разрушительные последствия так называемых чрезмерных стрессов из-за необратимости нанесенных ими разрушений...» Необратимость разрушений! Необратимость!..

Формула Фэтли-Уэйза... болезненное угасание...

Почти шестнадцать лет я упражнялся в искусстве быть первым. Я разучился понимать другой язык, кроме языка поединков и силы. Выгорая, все чувства становились одного цвета. Честолюбие завербовало меня в атлеты. «Экстрем» должен был найти меня...

Поднимаюсь пешком на свой этаж.

Щелкает дверь: мадам Танго! Вот уж не знал, что мы живем на одном этаже и через три номера. Вижу воспаленные припухшие глаза и тщательно запудренный синяк.

Я оглядываюсь. Она идет, опустив плечи. Немолодая усталая женщина.

123

Кладу голову на руки и слушаю приемник. Даже в затасканных словах песен для меня сейчас свой смысл.

Ночь лениво накатывает свои минуты. Пытаюсь занять себя. От отца я унаследовал страсть к китайской литературе. С томиком Лу Синя вообще не расстаюсь. Его стихотворения в прозе «Дикие травы» не надоедают перечитывать. Перелистываю книгу. Мелькают в глазах помеченные карандашом строки:

«Когда я молчу, я чувствую полноту жизни, собира-

юсь заговорить — и меня сразу же охватывает ощущение пустоты...

Друзья желают мне радости и покоя, враги прочат гибель. А я продолжаю жить — пусть не в радости, пусть не в покое, но я не гибну, а живу...

Как и надежда, отчаяние лжет!..»

Пробегаю взглядом эти слова. Их много. Я отрицаю слепые шаги судьбы. Для меня нет слепых шагов судьбы и судеб.

124

Жду ту большую усталость, когда засну наверняка. Пусть всего на несколько часов, но уже без пробуждений. А эта усталость пока не обещает надежного сна.

Прихожу в себя. Смотрю на часы: спал минуты четыре. Слышу шаги в соседнем номере. Ночь прилипла к окну одними и теми же красками. Во все глаза гляжу на эту ночь. Приемник бубнит свои новости.

Крохотные минуты сна успели отравить своими выдумками. Отграненная ночным безмолвием тоска и отчаяние сужают мир чувств.

Смотрю на свои мускулы. Крупные — им, кажется, нет места под рубахой. Им вообще тесно — моим мускулам. И даже я мешаю им. Им нужно много жизней.

Ладонью проверяю изгибы мускулов, надежность связок, узлы крепления мышц. Что им до меня? Читаю свои мускулы. Перебираю мускулы, благословляю мускулы. Зачем эта великая правильность всех мускулов?..

Подпираю голову рукой, закрываю глаза, вытягиваю ноги. Спать! Надо спать. А то и в самом деле можно спятить — ведь уже сегодня — да, да, сегодня! — самое мощное испытание. В секунды усилия должен буду вложить энергию целых лет обычной жизни. Должен суметь вызвать эту энергию! Раскалить себя этой энергией. Стать победой.

В памяти мешаются строфы стихов из сунских новелл.

Подернуты дымкой вдали голубеют хребты,
Гусей призывает из странствий дыханье весны...

Неужели все, что я делаю, никому не нужно?! Неужели только тщеславие? Неужели все только ошибки? Где граница моей искренности?..

Густой аромат напоил эту теплую ночь...
Весенней ли ночи букеты такие вдыхать?!

Сколько мне осталось будущего? И в чем оно?!
За обилием моих слов — ночь. Она приклеилась к окну, белесая, слезливая. Во мне странная усталость. Усталость, замешанная на огромной силе.

125

Мои соперники по «железной игре»...

Легендарный Торнтон выступает в цирках. Газеты о нем вспоминают весьма скупо.

Росту служит в частной торговой фирме.

Сигман спился. У него нет профессии, ничего не умеет, кроме как быть атлетом.

Сазо... Не знаю, что с ним. Говорили, беден...

Роджерс... После травмы стал никому не нужен.

Кейт погиб во Вьетнаме. Как будто его и не было.

Кирк спивается. У него нет профессии, а его сила никому не нужна без рекордов.

Харкинс. О нем все молчат.

Сколько каждому было посвящено статей, телевизионных репортажей и пышных встреч!

Бывшие мои соперники. Воистину для них спорт противоречив, но велик. Зато неизменно благополучны все столпы этого спорта, все блюстители его правил, чистоты и благородства духа...

Вот только Гартинг... Он выступал на чемпионате мира в Москве против меня и Сазо. Этот Гартинг стал журналистом и нередко пишет пакости о своих же бывших товарищах.

Разве понятие «атлет» это не определение отношения человека к жизни вообще? Разве это не славное племя людей, которое презирает смирение и длинный табель о благоразумии? Разве оно не безумно расточительно на свою силу и все удары своего сердца? Разве понятие «атлет» не определение моего поведения в жизни? В жизни, для которой мы всегда атлеты... И разве звание «атлет» защищает нас от жизни, и разве оно для того, чтобы защищать?.. И разве не обнажены мои товарищи ударам судеб, как обнажены они перед «железом» и всем миром на помостах?..

«Не хнычь! — шепчу я себе. — По-мужски встречай испытание!»

Весна исчезает, гонимая воплем кукушки,
Из клюва у птицы кровавая пена течет,
Такие покойные, длинные дни наступают,
Что кажется, будто совсем темнота не пройдет...

Китайский язык я изучил в совершенстве, если владение вэньянем есть совершенство. А я владею классическим древним вэньянем. В часы покоя я рисую иероглифы, рисую с упоением. День за днем почти двадцать лет я изучаю китайский язык. Не одну магнитофонную ленту я разлохматил, упражняясь в вариациях произношения. Я не печатаю свои переводы, хотя кое-какими горжусь.

«Латинская буква властным жестом утверждает, что вещь такова, — писал знаток Китая Клодель, — китайский же язык есть та вещь, которую он заменяет...»

В жестокость моего одиночества вдруг вплетаются нежнейшие строфы Чжан Ши.

Строки чудных стихов приносило бегущей водой,
Чувства нежные зрели в душе, глубоки и чисты...

В причудливом строе этого письма дыхание поцелуя, стройность бамбука.

Один из друзей моего отца, знаток китайского языка, говорил, что в русском алфавите самая сложная буква «щ». В ней пять графических черт, а один из наиболее ходовых иероглифов «юй», что значит «густой, роскошный, огорчение», имеет двадцать девять черт...

...Алые губки — что сочные вишни плоды,
Белые зубки — что ровные яшмы ряды.
Крохотной ножки почти незаметен шагок,
Песнею иволги нежно звенит голосок...

Я влюблен в этот язык любовью своего отца, проведшего в Китае полтора десятилетия. Его друг задыхался словами, когда говорил об иероглифах, забывал о времени, о собеседниках и стынущем глинтвейне. Вдохновением дышало каждое его слово: «Вы говорите, иероглифы притупляют восприятие и познание? Только наследственный кретин может утверждать подобное! Иероглифы — это мир бездонной и величавой красоты. Созерцание иероглифов ничем не отличается по характеру от созерцания творений искусства. Первые иероглифы создавали

только художники — эту энциклопедию письменности в рисунках. Рисунками люди научились читать. Посмотрите на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, рыбы, феникса... Голая, широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает ладонью низ живота. Вглядитесь в эти иероглифы! Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами, изогнув гигантское туловище, летит по сине-зеленому небу. Иероглифы совершенствовали философы, упрощали торговцы и литераторы, но в каждом сохранилась крепкая красота знака...»

Я оглядываюсь на ночь. Какие иероглифы еще принесет? Что еще вспомнит? Что нашепчет? Она как старый оборотень — лис из древних легенд, бесконечна в своих превращениях.

Прозрачная ночь. Ночь, рожденная далекими северными снегами, мглой белых снегов, вечностью этих снегов. Серые настойчивые ветры.

Чуждачества мозга. Чуждачества всех этих минут, часов, месяцев.

127

Когда ветер разносит тучи, ночь преображается. Свет этой чистой белой ночи печален. В ней ласка обещаний. В ней обольщение.

Белая ночь хозяйничает в моем номере. Распахнув шторы, встречаю эту ночь. Прожитые дни опадают в моем сознании лепестками лотоса — ни горечи, ни сомнений — мирный и мудрый исход чувств. Ночь нашептывает милые, непонятные слова. Глажу холодные стекла. Улыбаюсь этим белым сумеркам.

Мокры, залуженные улицы ведут ночь к моему окну и ладоням. Да, я пришел в жизнь, только теперь пришел...

Я пришел в жизнь! Наконец пришел!..

Я ни в чем не ошибался. Какова бы ни была плата за мой мир, готов ее платить. Ничто не остановит моего продвижения к цели. Самая долгая жизнь в этом движении к цели. А все остальное — слова, пустые слова, пыль слов...

Жаром окатывает меня лихорадка. Напрасно твержу, что не мог оборвать опыт, что обязан отстоять новую силу и рекорд необходим. «Экстрем» злопамятен. Зной источают стены.

Я шепчу черным мыслям — бреду, который пытается меня: «Слышишь? Ты встал между мной и жизнью! Ты мешаешь. Прочь! Уйди!..»

Опять эта болтанка! Опять, опять! Но, может быть, это черное смятение чувств для того, чтобы я, наконец, понял себя? Навсегда понял...

Лихорадка разбивает все доводы. Снова убеждаю себя в том, что ничего не умел, кроме как любить себя, драться только за свое превосходство, ценить только успех. И уже верю, будто растратил себя и потерял жизнь. Навечно потерял...

«Высокая психоэмоциональная напряженность влечет за собой изменение нормальных функций...» — с этого, кажется, начинается статья в том номере журнала «Наука и жизнь».

Да, да, изменения в моем организме за чертой восстановления! Я обречен!

Сытый покой ночи вызывает отвращение. Ночь предает меня...

Кто потерял меня в этой ночи?..

В памяти четко и ярко оживают другие ночи. Ночи, когда я верил, что никогда не умру, что жизнь — это всегда стройное послушное время. А я бесконечен в этом времени.

Я погружаюсь в воспоминания. И в этих воспоминаниях огромная притихшая ночь ждет меня. Я включаю свет, распахиваю окна и пускаю ее к себе — ту далекую ночь... После обильного дождя пахнет землей, соком трав и горечью тополей. Счастьем будущей жизни мигают мне отмытые звезды. Я задыхаюсь от щедрости ночи, звезд, тишины. Я не могу привыкнуть к этому ночному нашествию: волнянки, мелкие коконопряды, непарники, пяденицы... Бабочки кружат вокруг лампочки, с сухим пощелкиванием ударяются о стены. Их становится все больше и больше. Они засыпают на стенах, но вдруг

во сне начинают трепетать крылышками и тут же опять замирают. Я не дыша разглядываю их. Эти длинные нитевидные усики, кровлеобразные крылья, сложенные плотно и заботливо. На крылышках кленовых пядениц черные дорожки. Рисунки дорожек затейливы.

Сколько жизней в моей комнатке! Как причудлива и богата жизнью эта комнатка моего детства! Я в восторге перед своими ночными гостями. Они жадны стремлением жить. Это обилие жизни волнует! Я влюблен в эту ночь и все другие ночи, завидую бабочкам. Завидую их полету, чистоте и совершенству форм, напряженности чувств.

Все новые и новые бабочки отыскивают меня и хоровают вокруг лампочки. Иногда они присаживаются мне на руки, ноги, грудь и ползут, трепеща крылышками. Но их излюбленное место на стеклах рамы. Коконпрядов и бражников я сразу узнаю. Это мохнатые, ловкие и страстные создания. Иногда ловлю их, осторожно прячу в ладонь. Они продираются к свету, выставляя пушистую, острую мордочку с крупно отсвечивающимися глазами и гребенчато-изящными усиками. В их движениях нетерпеливость. Я уже знаю из книг, что большинство взрослых ночных бабочек ничем не питаются, разве только отдельные бражники, которые на лету высасывают нектар из цветов. Единственное назначение множества этих крохотных жизней — оставить после себя новую жизнь. И они летят на свет ради встречи, ради новых будущих жизней. Природа расточительна на их совершенство...

Часто я так и засыпаю в углу комнаты среди сухого треска крылышек, пощелкиваний, мелькания теней, глубокого дыхания ночи...

Я не могу удержаться от соблазна, иду и распахиваю окно. Окно в финскую северную ночь. Сырой теплый воздух подхватывает шторы. Откуда-то из белесой мглы на подоконник срываются капли.

«Ладно,—угovarиваю я себя,—в Париже, Лионе, Тампере, Оулу я притирался к весу. Теперь должен работать. Мышцы ни при чем. Надо загнать себя под вес, а я боюсь — все в этом...»

Я обожжен назойливостью чувств, повторениями болей. Кажется, я помешался на одних и тех же словах. Рот мой полон этими словами.

Восточный мыслитель сказал: «Одни живут, будучи

мертвецами; другие, умерев, живут». Я путаюсь в словах. Ищу настоящие. Стараюсь запомнить настоящие.

Я вижу свое отражение в окне: плосок и скучен, как кирпичная стена.

«Экстрем» досаждаёт мелочной опекой. Я изнурен допросом этой ночи, однако упрямо отрицаю чье-либо право быть мной...

130

Окна светлеют. Слоняюсь по комнате, складываю свои вещи. Прячу бутылку с водкой в шкаф. Цорн сегодня изрядно выпил, но держался неплохо. Делаю все нарочито медленно, чтобы занять себя. И все же настороженно слежу за собой. Я презираю этого второго человека с моим именем, но избавиться от него не могу. Буквально за все должен оправдываться перед ним. Устал от всех доказательств. Почему я должен оправдываться? Я устал. Мне даже в тягость собственное тело. Тот второй человек беспощаден. Убеденно и страстно он выкладывает свои новые слова.

Как реальность измученных мышц, реальность усталости «экстремных» тренировок и лихорадку заговорить словами?

Тот второй человек упрям. Я расхаживаю по комнате и уговариваю себя: «Есть вещи, которые боль не измеряет, успех не измеряет, беды не обесценивают...»

Сон валит меня на кровать.

131

Я спал не больше четверти часа. Какой-то провал памяти.

Роюсь в чемодане. Вот томик Тютчева — подарок Цорна после моего выступления в Тампере. Пожалуй, так целую библиотеку домой привезу. Со школьных лет не перечитывал Тютчева. Мне по душе равнодушие Тютчева к судьбе своих стихов. Чувства, мысли выражены — остальное не суть важно. Тогда, в юности, я принял это за дряблость души, недостаток жизненной энергии, аристократическую пресыщенность.

Часы после полуночи отличное время для свиданий с прошлым. Читаю стихи, посвященные Елене Александровне Денисьевой — последней любви поэта.

Я стою посреди комнаты. В руке томик стихов, но я те-

ряю слова. Кто напялил на меня эти одежды скомороха?..

Подхожу к окну. Белая ночь во всех окнах. Омуты стекол.

На все согласен, лишь бы найти, в чем бесконечность воли. Это не бред — я найду формулы бесконечности воли. Я хочу вложить в свои дни гораздо больше, чем им назначено. Только бы подобраться к этим формулам. В победах развитие всех форм жизни.

132

Запираю номер. На ходу набрасываю плащ. Рекорд? Зачем дурачить себя? Хубер испробовал все. И в слова тоже наигрался...

Администратор с любопытством надевает очки, подслеповато шурится. Перед ним батарея пивных бутылок. Он без пиджака. Верхняя пуговица рубашки расстегнута, галстук приспущен. Углы вестибюля, лестницы, высокий потолок размыты ночными тенями. Красно горят сигнальные цифры лифта. В выпуклом стекле часов над головой администратора искры отраженных огней. Вспоминаю парижского портъе... Похожи...

Дверь-вертушка выталкивает меня в молочные сумерки. Приглядываюсь к ночи: дымчатые контуры деревьев, призрачно-хрупкие фонарные столбы, погашенная строгость домов, лужи под белым гляncем. Снова я в ночном дозоре. Иду бритыми пустыми улицами. Всю жизнь у меня не было времени рассмотреть себя — теперь есть. Я был обманут покоем своих ночей.

Полирую мостовые ботинками. Хриплым дыханием пытаюсь обогнать свои шаги. Кружится голова. Еще не хватало, чтобы я свалился в обморок. И это я?! Я — самый сильный?! Я, который всей огромностью силы беспомощен?! Но жалким, быть жалким?..

Ноги листают страницы улиц.

133

Гонка с «экстремом» продолжается. Придвигаю кресло к окну, сажусь и смотрю на эту белую ночь.

Ночами я один. Я могу расшнуровать все свои чувства и ни к чему не примеривать их. В ночах много добра. Без этих встреч с собой, наверное, совсем потерял бы себя.

Волнуюсь. Поглядываю на часы. Думаю о рекорде.

Я следовал всем предписаниям силы; я вел себя, как покорный механизм. Мне было несладко, но мышцы получили отдых, пусть незначительный, но отдых. В этот раз мне хватит и нескольких часов сна. Одна ночь для моего физического состояния значит немного. Я выстоял. Я должен подчинить «железо». В семнадцати попытках взять рекорд в Париже, Лионе, Тампере, Оулу, я хорошо притерся к весу.

Единственное средство выжить — это борьба. И чтобы потом все пригодилось людям. Рекорд докажет мою способность управлять собой. Превратить волю в самый надежный мускул. Тогда уже ничто не собьет с ног! Случайностей быть не должно. Случай должен подчиняться моим расчетам.

Странно, прожил тридцать три года и вдруг находишь в себе подлоги. Ты из набора инстинктов, из чужих мнений, из выжеванных истин...

Я сижу в кресле. Крыши большого города плавают в дымке северной ночи.

Воля есть нечто способное к изменчивости, а значит, упражняется. Значит, падения и срывы происходят из-за несоответствия воли и цели. Следовательно, сообразно целям должна совершенствоваться воля. И ее необходимо упражнять.

Я стараюсь держаться расслабленно. Эти часы тоже должны пойти на пользу мышцам. Расслабленно полужу в кресле. Я очень тяжел мышцами.

Я кропотливо распутываю свои мысли, чувства. Моя ошибка не в формулах тренировок. Нет! Конечно, нет! Если бы это была ошибка только в расчетах силы, я давно поднялся бы. Я умею подниматься...

Я очень тороплив. Рекорд уже примеривается к моей силе.

Я должен подгрести штангу одним усилием под себя и уйти в «сед», чтобы обогнать штангу и принять вес в самом выгодном положении. Надо обогнать штангу, тогда она ляжет на грудь точно, без удара. И сразу вывести локти вперед.

Мах! Без чистых, расслабленных мышц это движение невозможно. А я? Я в зачумленных усталостью мышцах, в узлах надсаженных мышц.

Мой шанс — это точность. Все элементы должны быть идеально состыкованы. Я должен очень точно сыграть

свою партию. Я должен вести штангу по наивыгоднейшей траектории. Усталости будут вышибать ее из этой траектории. Я должен контролировать прохождение веса. Я не смею потерять на возникающих вредных рычагах ни грамма усилия. Я должен слиться с «железом».

И конечно, старт. Не обмануть себя в старте. Расслабиться, вывести плечи слегка за гриф. Не зажать гриф. И ступни в этот раз поставить чуть уже — мощнее работают ноги...

Далеким ритмом начинает оживать будущее усилие. Оно ищет меня. Отбрасывает залежалые слова. Пробует все слова. Я прозреваю мышцами, такт за тактом проигрываю будущее усилие.

134

Ночь прожорлива на мои слова. Ночь слушает все слова. Налегла на меня — белая, бездонная тварь.

Каждой мышцей вспоминаю «железо». Я перевязан горячими мышцами. Порой у меня кружится голова. Но завтра этого не будет. Почему завтра? Сегодня! Уже сегодня! Считанные часы отделяют меня от поединка.

Ночь любопытна. Я понимаю все ее вопросы, тишину ее вопросов.

Нечто могучее наперекор отчаяниям и здравому смыслу связывает меня с жизнью.

Особенная ночь. Особенности часы. Незвестность будущих часов. Самых важных часов.

«Одомашим и этот рекорд», — шепчу я ей.

Жить не сказками музейных холстов, не книжной пылью и бредом похвал. Слышать свой голос.

Все вспомнить. Все забыть и все вспомнить. Стать другим.

Все только начинается. Пока есть возможность ставить эксперимент — буду тренироваться. Хубер зря поспешил. Есть выход.

Я встаю и смотрю на ночь. Мы так и стоим напротив друг друга: я и она во весь рост. Странная ночь. Ночь, обряженная в мускулы рекорда. Мои выдуманные страсти.

135

Мышца проявляет наибольшую силу в определенном положении — единственном положении. Годами я шлифовал эту точность движения.

Смотрю на ночь. Не видел прежде майских северных ночей.

Веду штангу по мышцам. Слышу все усилия, все переключения. Раскрываюсь в подрыве. Я даже включаю мышцы стопы. Их натяжение прибавляю к последнему усилию. В самый последний момент привстаю на носки. Замираю в этом последнем натяжении. Я замираю прежде, чем обмануть вес и уйти под него, когда он еще будет ползти вверх.

Снова и снова проверяю напряжение мышц, настраиваю мышцы. Чувствую сопротивление грифа.

Гроздя двадцатипятикилограммовых дисков раскачивают гриф, осаживают меня, лишают дыхания. Но встать, встать! Губы шепчут все злые слова команд.

Прихожу в себя. Пробую руками мышцы. Надменно не замечаю сомнения. Обхожу все сомнения.

136

Я должен поднять уровень срабатывания своего стрессового механизма — поднять свой «стрессовый порог». Вывести эту борьбу на новый, гораздо более высокий уровень — вот результат «экстремного» поиска. Еще больший накал борьбы — вот итог потрясения, вот выход! Вот что я не мог найти!

Главная задача — поднять порог срабатывания стрессового механизма. Тогда ничто не будет связывать меня. Природа человека должна отвечать целям и задачам, которые он ставит перед собой. Она не должна ограничивать задачи разума. И я должен превратить стрессовый механизм в свое орудие. Становиться другим, быть другим, быть в вечном изменении, быть выражением изменения. Волей изменять свою организацию, знать направление этих изменений, заново создавать себя.

Жар нашей крови, ветры суровых зим и облака дерзких надежд. Я принуждаю разум прислуживать моей воле. Я всегда спешу. Я жаден. Я отрицаю все конечные цели. Твари стерегут нас в законченности целей. Нет конца, не может быть конца. Воля не признает ограниченность смыслов. Воля дарует будущее. Я поклоняюсь неизбежности будущего.

Я переберу все дни, смешаю все дни, спутаю все дни.

Приговоры всех неудач не отнимут у меня смысла моих шагов.

Я беспечен. Я спокоен. Я безразличен. Я равнодушен. Я жаден. Я нахожу себя в пыли старых книг и пыли всех дорог — в бесчисленности всех будущих жизней. Я беспечен и равнодушен, потому что отрицаю ограниченность всех помыслов, заказанность чувств.

Я смеюсь над всеми, кто пытается придать смыслам и целям убогий смысл единственности. Как может быть неизменным то, что по природе своей вечно, изменчиво — Бытие, частное и общее. Я смеюсь над непогрешимостью и непогрешимыми. Я презираю удачи. Я юродствую, когда слышу о совершенстве. Совершенство — это приговор для больших надежд, это холодные, мертвые руки. Это только мертвые руки. Я всегда вижу лишь начало совершенства. Все логические построения в великом движении, в смещении и хаосе. Извлекать их из жизни — это и есть разум, вечность каждого и всех!

Бытие во всем вечном своем изменении не может стать совершенным, лишь приближаясь, но не становясь совершенством, опрокидывая все прежние гармонии. Нет конечной цели, нет конечной формы — движение вечно. Мысль — элемент Бытия и потому находится в вечном движении. Бытие по своей внутренней природе опрокидывает все предыдущие формы Жизни. Жизнь есть движение, неугасимое и бесконечное.

Тысячелетия дней манят меня.

Я не смею измерять жизнь тех, кто ищет. Им мало жизни, они не уместились в жизни, они не вложились в жизнь. Как измерить, что вдруг прервано и что отнимает у нас ограниченность нашей жизни?

Я ласкаю каждый уходящий день. Я тоскую о всех прошлых днях...

Белый подоконник. Белые сумерки. Мои белые руки. Темноватые улицы за белыми сумерками. Неподвижность светлых улиц. Светлое небо без туч. Глубокое и чистое свечение воздуха. Ночь без сна.

Я играю своими руками. Сплетаю пальцы. Разглядываю белые пальцы. Забавляюсь белыми пальцами. Любуюсь странностями белых пальцев... Я снисходителен, я не тревожусь: разве покой — только сон? Разве сила — только отдых и сон?..

Возьму штангу на грудь — и сразу вверх! Ни одного мгновения не засиживаться! Всю энергию сберечь для посылы. И ни одной трусливой мысли, робкой мысли. Каждая мысль находит свои мышцы, губит напряжение всех мышц. Не дать мышцам-антагонистам связать движение. Я должен войти под вес уверенно. Руки сами замкнутся в плечах. Штанге некуда будет деться.

Росой оседает утро на стеклах.

Смотрю на часы. Почти три часа пополуночи.

Разве победы — это лишь зал и громкая тяжесть «железа»? Разве это не для всех?! Разве все мы не назначены друг для друга?! Разве стойкость одного это не стойкость всех?..

Ночь свертывает свои часы. Ложится в тяжесть стальных дисков.

У победы высокое небо, чистое небо, яркое солнце всех судеб, утро всех судеб...

На пороге Ингрид. Она входит, снимает плащ, туфли.

— Лежи,— говорит она.— Пусть все так, будто меня нет. Читай, слушай приемник или молчи. Я знала, ты не спишь.

Она перебирает книги на столе. Потом выключает приемник:

— Пошлая музыка. К тому же тебе пора спать.

Она подходит к лампе. Лампа накрыта моей спортивной курткой. Я лежу и не шевелюсь. «Экстрем» стынет в моих глазах.

— Ты сейчас уснешь, милый,— говорит она. Это слово «милый» — оно так неожиданно, я вздрагиваю.

Я молчу и смотрю на лампу. Я накрыл ее, чтобы мрак не поглотил меня.

— Я слышала тебя,— говорит Ингрид.— Тебе плохо.

Ингрид отбрасывает волосы на спину: «Прости за мой туалет. Я только приняла душ. Полчаса как вернулась».

— Кто ты?

— Я?.. Немного пою. Неплохо играю. Мой инструмент — фортепиано. Кроме того, в богатых домах нужны умелые партнерши для старого танго или твиста... Ты видел когда-нибудь свои глаза?

— Конечно.

— Ты ничего не видел. Иначе не спрашивал бы, почему я пришла.

— Это любопытно. Тогда расскажи, почему я не сплю.

— Если ты даже зажмешь себе рот — боль все равно будет звать.— Она ставит стул рядом с кроватью. Садится, закидывая ногу на ногу.— Я люблю эти часы: город спит. Это мое время, когда город спит. — Она показывает на стол:— Водка? Ведь ты выступаешь?

— Это пил Цорн.

— Кто?

— Наш переводчик, Ингрид.

Она идет к столу. Наливает на донышко стакана водку:

— Я буду противно пахнуть водкой.— Она выпивает водку.

Я смотрю на окно.

— Нравится ночь?— спрашивает она.

— Да, Ингрид.

Мы молчим, очень долго молчим.

Сотворение мира в белых окнах. Ингрид выключает лампу. Утро размывает белый сумрак.

Ищу ее руки. Она не противится. Я держу ее ладони.

Белая мгла, белый смутный овал лица, тишина — и быстрые французские фразы. Какое-то наваждение...

Она наклоняется и целует меня. Это легкое мгновенное прикосновение. Руки ее вздрагивают и слабеют в моих руках.

— Ты счастливый. Ты так поглощен собой,— говорит она.— Ты ничего не видишь. А ведь беды не только твоя привилегия. Ты, наверное, и столкнулся с настоящей бедой впервые. Не обижайся, это очень хорошо, что впервые. Слушай, не обгоняй слова. Больше тебе не будет плохо. Ты станешь другим. Ты учишься жить...— Она расстегивает мою рубашку и осторожно гладит меня. Потом наклоняется и целует. Я вдруг чувствую слезы на своем лице. Я даже не верю и рукой провожу по своим глазам. Нет, это не мои слезы. Я плакать не умею.

— Кто ты?— шепчет она.

— Почему ты плачешь?

— Ты прости... Зачем тебе две боли? Ты сейчас заснешь. Я умею колдовать. Ты сейчас крепко заснешь. Я у тебя здесь для того, чтобы ты заснул. Все твои мыс-

ли — это подушка мачехи. Не думай ни о чем. Разве заснешь на подушке из злых мыслей?.. — Она гладит меня. Мы молчим. Потом она тихонько напевает:

— «Можете изменить мою песню, но меня никогда не измените, никогда...» Нравится эта песня? — спрашивает она.

— Да.

— Я же знала, что это твоя песня, из всех твоих песен.

Усталость укачивает меня, и я засыпаю. Это даже не сон, а забытье. Сквозь пелену каких-то обрывочных видений ко мне прорывается шепот Ингрид. И я слышу, как она осторожно гладит мой лоб. Я ловлю ее руки. Она мягко освобождает их и шепчет:

— Спи, дорогой, спи...

Потом резкий удар в моем мозгу снова возвращает меня в белую ночь. Я не знаю, сколько я спал: десять минут, полчаса.

— Кто ты? — спрашиваю я Ингрид.

— У тебя горячие руки, милый.

— Кто ты?

— Не волнуйся, спи. — И она потихоньку напевает.

Лежу и слушаю. Лишним движением боюсь спугнуть песню.

Она молчит. Она думает, что я сплю. Но я осторожно прикасаюсь к ее руке.

— В одной из восточных книг женские глаза названы осенними волнами, — говорю я. — У тебя осенние волны, Ингрид.

— Ты же сказал, у меня глаза совы.

— Я проглядел твои глаза.

— Спи.

— Я не засну, Ингрид.

— Подвинься. Нет, нет, халат я не сниму — это не нужно, нам не нужно. Я знаю, я все это знаю; когда больно, надо быть с кем-то очень родным. Боль засыпает, если ее стерегут. Ты забудь обо всем, закрой глаза, милый. Ни о чем не спрашивай. Я ведь сова. Сове все можно. Совы умеют стеречь боли. Спи, боль...

Я чувствую ее тепло. И усталость с каждым ударом сердца теряет зло. Ингрид гладит мою ладонь. Я протягиваю руку и ишу ее плечи.

— Не смей, я не женщина! Слышишь, я не женщина! Спи!..

— Ночь успокоения,— сонно бормочу я.

Она обнимает меня и шепчет слова, какие шепчут матери своим детям. Я расслабленно придремываю. Ее пальцы отсасывают все жары лихорадки. Сквозь дрему слышу непонятные слова. Она бережно баюкает меня своими словами, теплом своего тела. Я отпускаю вожжи сна.

И снова резкий удар возвращает меня в действительность. Мозг привычно проверяет мою готовность к борьбе доводами «экстрема».

— Ты славная, Ингрид.

— А ты, оказывается, умеешь льстить. Льстят те, кто выздоравливает. Bravo, милый...

— Ты сиделка?

— Лежи смирно.

— Ты сиделка?

Она прижимает ладонь к моим губам.

Сон придавливает. Я даже не успеваю лечь удобнее. Это настоящий сон. У него пудовые покрывала. Что за блаженный покой!

Я улыбаюсь. Приятно узнать старого приятеля. Этот сон укладывает меня, подставляет свои плечи. Крепкий и чистый мир здорового сна.

«Ну, трогай»,— шепчу я, проваливаясь в забытье...

Большой сон трогает свой экипаж. Настоящий, добротный ход у этого сна.

139

Просыпаюсь внезапно.

Я вижу: Ингрид рядом. И она не спит.

— Зачем ты открыл глаза?

— Я долго спал, Ингрид?

— Два часа.

— Ты боялась пошевелиться? Я измучил тебя?

— Ты спал, а у тебя шевелились губы.

Мы молчим. И я снова засыпаю.

После зимних тренировок у меня стала болеть спина. К августу я уже с трудом ходил. Боль была такая, что через каждые сто метров загоняла меня на корточки. Я делал вид, что зашнуровываю ботинок, а сам налегал грудью на колено. При этом позвоночник растягивался и боль слабела.

Поречьев доказывал, что «спина вот-вот отпустит», и уговорил поехать в Ригу. Там мы решили тренироваться последние шесть недель перед чемпионатом мира, а команда собралась в Сочи.

В Риге мне стало совсем плохо. Поэтому я очень строго планировал тренировку. В считанные подходы я должен был успеть дать хоть какую-то нагрузку главным группам мышц. Спина вела счет каждому подходу, пока, наконец, не наступал такой, после которого я уже не мог тренироваться. Болезнь постепенно сокращала число этих подходов. И я уже опускался на корточки через двадцать-тридцать метров и совсем не мог стоять.

Именитый хирург сказал после осмотра, что я обязательно попаду к нему. Он исключал самоизлечение.

Когда боль на тренировках совсем начинала мешать, а мне нужно было работать, я обязательно повисал на кольцах или турнике. Тренер обхватывал меня вокруг пояса и тоже повисал. И боль рассасывалась. Ноги становились легкими, и я мог тут же продолжать тренировку. И вот на это лечение я рассчитывал. Потом, когда я повредил мениск и стал работать на параллельных брусьях, чтобы не потерять силу, я совсем залечил спину. Но для этого понадобилось почти восемь месяцев. А тогда болезнь лишила меня нормальной тренировки. Я приходил в зал, разминался с пустым грифом и работал в станке для жима лежа. На другие упражнения я был неспособен.

Четыре недели я разминался с пустым грифом. А потом внезапно почувствовал силу. С каждым днем этот напор силы делался ощутимее.

И дни, посветлев, жадно вставали за окном гостиницы. Линялое голубоватое небо. И солнце, которое я не видел из окна, потому что оно рано утром пряталось за углом. Номер накрывала тень карниза. Но я видел жар солнца на стенах домов — они белели. И солнечная желтизна подсвечивала обильную листву. Весь июль

шли дожди и листва была тучная, зрелая. И тени глубоко западали в кроны деревьев.

И этот прилив силы притупил боль. Я смог бродить по городу. Я бродил между каналами, в парках, в древних узких улочках.

А погода новая сила почти стерла боль. Я осторожно пошел по весам. Я забавлялся, издевался над всеми весами. Я еще опасался возвращения боли и работал особенно точно. Я стремился, чтобы тяжесть исключительно точно раскладывалась в суставах...

Я выиграл чемпионат. Я установил рекорды в жиме, рывке и толчке. Сумма троеборья получилась тоже рекордной.

Я работал спокойно. Только последние ночи спал чутко и мало, но не чувствовал себя разбитым. Я даже испугался своего спокойствия. И впервые нацедил литровый термос кофейной гуцци. Мне казалось, что я буду сонным на помосте. Я пил этот кофе, но спокойствие не терял. В этот раз я видел все вокруг себя. Во всяком случае до момента прикосновения к грифу во всем отдавал отчет. Я прислушивался к разговору в раздевалке, на параде разглядывал зал. Мне хотелось быть красивым. Я слегка развел плечи и напряг прямые мышцы живота. Их не было видно за полурукавкой, но они сжали живот, и плечи от этого стали массивнее. Ярусы кресел поднимались высоко над сценой. И я, закинув голову, разглядывал самые дальние из них. Я переминался с ноги на ногу, и под кожей играли массивные четырехглавые мышцы бедра — они запластовывали бедро спереди. Плечи накрывали мои самые любимые мышцы — дельтовидные. Их передний пучок очень активно работает в срыве — он выступал из мышцы тугим посом, а под ним, расширяясь, уходили вглубь основные мышцы. Я мог по памяти вычленивать переход дельтовидной мышцы в большую грудную. Эти мышцы были настолько развиты, что мечевидный отросток где-то утопал между ними. И я видел свои запястья. Разгибатели пальцев были очень натренированы. От этого запястье казалось узким, а ладонь маленькой. И когда я шагал с парада в свою раздевалку, мне нравилось, как люди смолкали, заметив меня. В коридоре горели лампы дневного света. Мои загорелые мышцы казались черными. Я ловил изумленные взгляды и гордился: эту силу выковал я. Я взял и вынес мечту о ней из далекого детства. И я не прятал их. Я разворачивал и показывал всем.

И все ожидание, и разминки перед каждым подходом я был спокоен.

Движения на помосте были очень точными. И мышцы сбросили излишнюю твердость. Они расслабленно принимали усилие, взвешивали «железо» и, выступив из общей массы спокойных мышц, раскалялись напряжением. И я видел, как они вычерчивают идеальное движение. И я никогда так не чувствовал штангу. Тонкий гриф

отзывался колебаниями на усилия мышц. Это была невидимая для публики вибрация грифа, но я отчетливо воспринимал ее. Она возникала в доли секунды. И я успевал, чуть задержав движение, совместить очередное напряжение мышц с поступательным гребнем вибрации. Штанга сразу сбрасывала тяжесть. Мышцы подхватывали «железо». И я слышал, как, выиграв в усилении, отключаются мышцы.

Я продвигал штангу в мышцах. Я терял мышцы, сбрасывал мышцы и ту же, ту же натягивал главные мышцы.

Я опережал усталость. Я все время видел светловатую алую кровь, чуть-чуть обрамленную чернотой. И движение штанги было звонким, стремительным. И все время ко мне прорывался свет и отдельные выкрики. Я успевал их отмечать сознанием.

Я был движением. Я не имел осязаемых форм. Штанга скользила, цепляясь за новые мышцы, и это движение было плавным, ритмичным. И в нем все было понятно.

И даже когда я брал рекорды, я ни разу не въехал в жгучую темень чрезмерного усилия. Я все делал так же, но только точнее. Я был скрупулезно точен. Я расставлял ступни под грифом. Расставлял, пританцовывая, очень долго. Я уже вминался в будущее усилие, опробовал положение будущего усилия и, когда узнал его, оставил его в себе. Я положил руки на гриф. И стал пробовать различные хватки, меру стартового «седа». И снова замср, когда попал в то единственное схождение суставов и мышц. Я убрал все приближения к идеальной работе, я исключил неточности, даже самые ничтожные. И когда я это сделал, я удивился себе. Я расслабил мышцы так полно, как никогда до сих пор. Я с удивлением следил за собой. Мышцы были выведены, но не скованы. И все засасывали кровь, уступая будущему усилию все новые и новые волокна. И команды следовали стройной чередой. Сознание высветляло эти команды. Мозг посылал их в мышцы, и они взводили мышцы, будили мышцы, находили мышцы. Я был очень легок, когда мышцы вывешивали «железо»...

Я закончил выступление, а был полон силой. Я совсем не устал. На этих соревнованиях я ни разу не сменил полурукавку. Она даже не промокла, я был свеж, чист и не отравлен усталостью. И я слышал все мышцы и чувствовал, что ни одна не будет ныть завтра и будущие дни. Крупные мышцы не скатывались в комки, и мышцы бедер не затвердели. Я вызванивал их короткими напряжениями, и нигде не было утомлений.

Я установил рекорды в жиме, рывке и толчке. И рекорды сложились в самую внушительную сумму троеборья. Это была моя первая настоящая сумма. И я достал ее в своем третьем зачетном подходе. Я заказал тогда рекордный вес. Пять часов соревнований

в этот раз не измотали меня. Напротив, я был спокоен и силен, как в первые минуты борьбы. И усталость не коснулась зала. Я воспринимал взволнованность зала, слышал, как напряжен зал, жаден зал.

Этот зал я считал своим. Он узнавал мои усилия, наполнял чистотой мои желания, был той светлой завесой в глазах, из которой на меня обрушивалась победа.

Я еще не видел такого возбуждения за кулисами. Все сгрудилось у выхода на сцену. Это было забавное и трогательное зрелище. Я уходил с помоста. Толпа расступалась. Сотни слов на разных языках кричали об одном и том же, а коридоры пустели. Грохот бежал за мной.

После рекорда в толчке и взвешивания сначала штанги, потом меня — зал пел. Я не видел, чтобы на соревнованиях пела публика. Не какая-то группа восторженных соотечественников, а весь зал, все люди. Я попал в множество рук. Я не вырвался, если бы меня не вызвали для вручения медали на сцену. Тут же меня снова окружили люди. Я болтал какие-то глупости. Я совсем ослеп от фотовспышек.

А после, когда я вымылся, оделся и вышел из раздевалки, люди снова обнимали меня. И на улице перед автобусом молча стояла толпа.

И в гостинице меня окликали незнакомые люди. И администратор гостиницы — высокая женщина с яркими подкрашенными губами — постучала в дверь. Я открыл. Она стала говорить по-немецки слова поздравления. Она подала мне голубые розы. Я никогда не видел голубых роз. Я стал ей об этом говорить. Она засмеялась. Я оторвал цветок и стал просовывать его в петличку жакета. Я старался проделывать это осторожно, но все равно я чувствовал ее грудь и дыхание. И потом почувствовал ее губы. Я чуть повернул лицо, и ее губы, вздрогнув, соскользнули на мои губы. Помада была сладковатой, а губы очень теплые. Я почувствовал, как они уступили мне, и я впитал в себя теплоту дыхания, несмелое ответное движение — меня обожгло это движение. Я вдруг услышал эту женщину всю.

И когда я опустил руку ей на плечо, я уловил округлость плеча. И ее волосы упали мне на глаза и заставили зажмуриться.

Эта женщина и раньше нравилась мне. И я понял, что женщины знают, когда они нравятся.

Тот уверенный в себе врач так и не дождался меня. Боль в позвоночнике ушла навсегда. И я познал еще одну мудрость силы: до сих пор я выступал переутомленным. Я очень хотел победы и вбирал в себя слишком много нагрузок. Сила не успевала созреть к соревнованиям. К тяжести «железа» добавлялась остаточная уста-

дость тренировок. Я поставил за правило, если и ошибаться в планировании нагрузок, то только в недоборе их. И я жестко придерживался этого правила, делая уступки лишь экспериментам.

140

Бред? Но подушка рядом сохраняет запах Ингрид — запахи духов, непонятных слов и шелка волос.

На ночном столике лист чистой бумаги. На листе чистые помадные отпечатки губ — ее привет и память...

После завтрака я в своем номере. Со мной Цорн. Читаю интервью американского спортсмена Александра Хеллера: «Моя мечта — стать лучшим горнолыжником мира, единолично завоевать мировое первенство, не разделяя ни с кем. Суметь победить всех: огромное удовлетворение. Поэтому я не успокоюсь, пока не добьюсь своего. Достигнуть чего-либо упорным трудом или просто натолкнуться на удачу — вещи разные. Но случайная находка может оказаться даже ценнее...»

«Случайность, — размышляю я. — Случайность... Зависеть от случайности?..»

На первых полосах газет описания церемоний в память президента де Голля. Вспоминаю Париж в первый свой приезд. Мы опоздали на соревнования: полицейские перекрыли улицы. Накануне стреляли в де Голля. Чтобы сбить с толку террористов, в городе перекрывали сразу несколько улиц, ведущих в центр с различных направлений.

— Как Рита? — спрашиваю я Цорна.

— Она поправляется. — Цорн складывает газету удобнее, читает: — «Американский актер Марлон Брандо заявил: «Успех сделал мою жизнь удобнее. Я сумел заработать немало денег, расплатиться с долгами... Но это не принесло мне радости. Я не переставал чувствовать, что над моей личностью свержается насилие... Все продается и покупается: личность, обаяние. И каждый день, просыпаясь, оказываешься лицом к лицу с обществом торговцев...» Цорн выглядит франтом: под блейзером голубая рубашка с серебряными запонками, серые, в мелкую клеточку брюки, слегка расклешенные книзу. Поясной ремень по моде широковат, но не чрезмерно. Цорн умеет скрывать свое настроение. Он не забыл ни

одного даже самого пустячного поручения. Он исполнителен и точен.

— Итак, ты веришь философии, а я чувствую,— говорит Цорн.— Я невысокого мнения о философии и ее адептах. Все это в конечном счете для обуздания духа. Грызи камни и сотворяй свой обособленный мирок — вот конечная мудрость всех построений. Ощипанные, горькие радости жизни — их маленькие награды. Со временем превращает в заслугу собственное бессилие.

— Ты набил оскомину на дурной философии. Влиять на социальную психику — значит влиять на исторические события. Стало быть, в известном смысле, личность может делать историю и добиваться изменения определенных процессов в обществе, отношениях людей, утверждении каких-то новых принципов. И этой личности нет надобности ждать, пока эта история кем-то «сделается» или будет фатально развиваться. Перед такой философией я преклоняюсь.

— Кто этот философ?

— «Случайность есть нечто относительное. Она является лишь точкой пересечения необходимых процессов», — это больше, чем замечательные слова, это уже энергия поведения, сила сопротивления. Классическое определение! И это тоже Плеханов.

— У тебя неплохая память.

— Все, Максим. Я пас, больше ни слова. Ты где потерял ногу, Максим?

— Вот здесь ее осколком. Ваши все простреливали. Лежи в воронке и не рыпайся. Я распорол голенище, наложил жгут. Звать своих? Там все простреливали. Те, кто звал, уже потом никогда никого не звали. Спасла водка. Сосал из фляги. Жрал снег. Растирал лицо и плакал.— Цорн упирается руками в стол и встает. Я вижу серые внимательные глаза, воспаленные веки.

— Пойду-ка сжую в баре несколько сэндвичей,— говорит Цорн.— Я не завтракал. Значит, найдем рекорд на сегодня?

— Стал бы я связываться с рекордом ради рекорда. Эх, Максим, Максим...

Есть формулы, самые убедительные формулы. Но что значат для заезженных мышц самые мудрые слова? Через

четырнадцать недель чемпионат Европы, через восемнадцать — чемпионат мира! Я пропустил месяц тренировок.

Левое колено потуже забинтовать, подстрахую боковые связки. Сократить разминку. Учесть каждое движение, экономить на каждом усилии. Восполнить разминку растиранием. Не массажем, а растиранием и легкой проработкой мышц.

Бреннер, Колпсон, Борден, Уитл отменные судьи, все высшей международной квалификации. Из них отберут троих... Потороплюсь с фиксацией, Борден и Уитл вряд ли засчитают попытку. Эти врубят красный свет... Говорят, во всех правилах мудрость поколений. На эту мудрость тоже надо сделать поправку...

Не дрогнуть в первое мгновение, когда в руки ляжет вся тяжесть, руки будет обрывать эта тяжесть.

Экономность в средствах — закон борьбы. Изощренности всех технических приемов — ради этой экономности. Движения должны быть предельно краткими и точными.

«Экстрем» выводит меня на другое понимание жизни. Я не приспособлен к ней. В ней нет равнодушия, и я мучаюсь: я задавлен потоком ощущений, не справляюсь с потоком ощущений. Впрочем, об этом я уже думал. Старые мысли в новом дне.

В том, что мне больно, своя логика. Должны были сойтись причины и следствия всех поисков. «Случайность есть нечто относительное. Она является лишь точкой пересечения необходимых процессов».

Я стою перед окном. Город опять в заботах. Только я в шумном одиночестве жизни.

Меня слегка лихорадит. Но это уже другой озноб — предстартовый.

Строптивя тишина моего номера.

Поглядываю на часы: «Скорей бы соревнования!»

Форточка распахнута. Прохладный воздух омывает комнату. Не могу надыхаться этим воздухом.

Входит Поречьев. После завтрака его интервьюировали. Мой тренер считает, что спортивная пресса фиксирует лишь форму событий. «И все потому, что не знают, с чем это кушается, — говорит он в таких случаях. — Пишут как квалифицированные болельщики. Надо подставлять себя под все испытания — тогда верные слова сами найдутся...» Поречьев отодвигает кресло в сторону от форточки, садится.

Мускулы угадывают каждый мой жест. Я знаю эту угодливость мускулов и сдерживаю себя, стараюсь быть неторопливым. Расслабленно покачиваясь, брожу по комнате. Эту походку навязывает мне сила. Нужно превратить себя в сонливую грубость мышц, зорко следить за всеми чувствами, сторожить все чувства. Нельзя запускать механизм возбуждения раньше времени, расходую себя до поединка.

Я расхаживаю по комнате, складываю вещи, отвечаю тренеру, что-то сам рассказываю, но делаю это с ленивой расчетливостью. Я не играю. Сейчас я должен быть ленью. И я не навязываю себе это состояние. Я лишь контролирую свое поведение. Десятилетие борьбы, законы этой борьбы стали моей натурой. Еще рано будить силу. Слишком рано. Я рассудочно правилен в каждом своем действии. Я терпелив и спокоен.

Поречьев ворошит газеты, разглядывает заголовки, фотографии. Декольте киноактрисы Лили Шерп производит на него впечатление. Он начинает вспоминать знакомых ему красивых женщин.

Я развязываю галстук, сбрасываю пиджак, рубашку, майку и надеваю на голое тело свитер. Между шерстью свитера и кожей не должно быть ткани. Тогда мышцы в настоящем тепле.

«Экстрем» отпустит. Я убежден. Этот засушенный лист просто отпадет. Сам отпадет.

Поречьев что-то рассказывает. Когда за завтраком он стал вдруг пичкать меня анекдотами, я понял, что он в крайней степени возбуждения. В таких случаях анекдоты просто сыпятся из него.

— В жиме сделаем один подход.— говорит Поречьев.— Ты почувствуешь зал, публику. Рывок отдадим братьям Халоненам. В толчковом упражнении вся разминка за кулисами. Там отштампует и начальный вес. И баста! Все подходы пустим на рекорд. Из четырех один, да удастся.

142

— Иду тернистой тропой гонораров.— Цорн копается в записной книжке, набирает номер, с кем-то разговаривает, опускает трубку.— Автомобиль подадут, как условились.— И добавляет после паузы:— Отрава готова. Остается испить зелье.

— Сама по себе победа — ноль. Важно направление

победы. Я ведь знаю, что ты имеешь в виду, Максим.

Цорн кивает на газеты:

— Истину и правду можно потерять за обилием лжи.

— Читал о Брюсе Миллере?

— Нет.

— На наших чемпионатах занимал пятое место, шестое... Смотри, все газеты о нем. Задался целью найти приемы, с помощью которых можно управлять собственным весом. За год увеличил собственный вес до ста восьмидесяти двух килограммов. Врачи сказали, что ему крышка: нет ходу назад. А он за семь месяцев сбросил вес до девяноста килограммов и сейчас в Чикаго занял третье место на конкурсе красоты. Полюбуйся...

— А Пирсон намного тяжелее тебя?

— После этого турне на все тридцать шесть килограммов.

Мы выходим в холл. Цорн не может без своего табака.

Я вытираю лоб: когда же мой час? Пора! Я готов! Пора!..

143

Поречьев осторожен. Сейчас мышцы опасно по-настоящему тревожить. Сколько же я натворил глупостей, пока понял это! Механически переносил прежний опыт, а массаж — это работа мышцам, которые массируют. И глубокий массаж — большая работа. А я после мощных нагрузок закатывал такие массажи!

— Жарков напечатал статью о внедрении графически-математического метода.— Поречьев вытирает пот со лба, засовывает галстук в прорезь рубахи. Говорит:— Положи руки удобнее, «дельты» напряжены.— И уже другим тоном продолжает:— Понимаешь? Метод нами найден, испытан, а мы ни при чем. Предупреждал тебя: не откровенничай.

— Где напечатал?

— В «Теории и практике спорта».

— Вот шельма, а ведь высмеивал нашу тренировку.

— Обобрал! Присвоил! У него ученая степень, у него книги. И он будет решать нашу с тобой судьбу. А мы?! Мы?! Жарков вывел Каменева из сборной. Сашка еще мог года два-три выигрывать, ему бы поправить тренировку. Омолаживал сборную? Сашка умнее, а это для Жаркова уже недостаток. Что ухмыляешься? Он

ведь под тебя клинья бьет. Всех убеждает, будто ты износился. Возьмут на чемпионат второго «полутяжа», и не выступать тебе! Что ты без условий тренировки сборной? А ты ему графики объяснял. У меня кровью сердце обливалось, когда он по нашим тренировочным тетрадям рыскал. Мы всю жизнь шли к этим тренировкам, мы искали, а кто мы?

— Общие принципы это еще не тренировка. Нужны выкладки. А эта методика не универсальная. Определенному типу нервной системы она вообще противопоказана. С повышенной нервной возбудимостью, например. И уж во всяком случае она только для атлетов экстра-класса. Всей жизнью надо быть подготовленным к подобным нагрузкам. Иначе они сомнут, задавят... Ноги не массируйте. Подождите, перевернусь. Спина затекла. А ноги-то ничего. Если бы руки были такими. Забиты лапы...

Поречьев набрасывает мне на ноги простыню и начинает осторожно встряхивать бедра. Мышцы грузно раскачиваются.

— Ноги в большом порядке. Смотри...— Поречьев выщупывает крепление мышцы.

Я смеюсь, цитирую Овидия:

«...чтобы оставаться здоровым, страдание надо нести».

— Рекорд докажет, последствия эксперимента временны. Думаешь, не понимаю, что мы влипли с этим турне? Ни один человек в твоём положении не способен выдержать и доли того, что ты хватанул. Уже одно это доказывает, что ты в порядке, что последствия экстремальной тренировки обратимы. Ты готов к борьбе.

Слова усыпляют. Покачиваюсь под мерными движениями рук. Приятные слова.

— Гриф поближе к себе,— говорит Поречьев.— А там все решит экспрессия чувств.

Лениво ловлю слова. Так же лениво раздумываю: «Значит, видит, что со мной. Видит не только по спаду результатов и недомоганиям. Плохо я скрываю свои чувства. Он заметил, Ингрид заметила...»

Поречьев знает мышцы. Он осторожно снимает нагрузку с самых важных участков. При всем том массаж легкий, спокойный. Я улыбаюсь.

Поречьева подбадривает моя улыбка, и он говорит, говорит...

В глубине сознания я настороже. Любая тревога или сомнения — пусть совсем невинные — насторожат мышцы-антагонисты. И я стерегу все мысли. Я забегаю вперед мыслей. Сегодня я не смею терять ни грамма усилия.

— Если это и риск, то я к нему подготовлен, — говорю я. — Я не новичок, с которого требуют больше, чем он может. Это мое дело. Я к нему подготовлен. Срыв исключен.

144

Я лежу на диване. Приемник наигрывает вальсы.

Жизнь очень крепко засела во мне. Чистотой каждой мышцы убеждаюсь в этом.

Думаю о Харкинсе. Разве я могу сравнить свои мышцы с теми, какие были у меня в тридцать лет! Я «восстанавливался» мгновенно. Сон, тренировки ощутимо вливались в меня строем новых мускулов. Теперь я, кажется, весь помечен «железом». А ведь Харкинс работал в сорок пять! И я не мог ручаться за исход ни одной встречи с ним! Он умел накормить соперника.

В Берлине Харкинсу было тоже несладко. Правда, после жима и рывка он отыгрывал у меня двенадцать с половиной килограммов. Его поздравляли — никто не сомневался в его успехе. Но я-то себя знал. Я потому и выиграл, что знал. Тут дело не в исключительности — просто это надо самому испытать. Харкинс загонял себя под веса, каждый из которых грозил новой травмой. Ведь годом раньше в Вене он повредил позвоночник. И эта травма могла повториться.

Мы оба были на пределе. Чтобы отыграться, я должен был толкнуть вес на пятнадцать килограммов выше своего личного рекорда. Я боялся за кисти. Когда-то в подвороте я опоздал и штанга буквально воткнула мои локти в бедра. Левая рука опоздала больше, удар в основном пришелся на ее кисть. Тогда все обошлось. А вот трехкратный олимпийский чемпион Ямабэ на моих глазах сломал кисть в толчковом движении — тоже опоздал с подворотом. И у Ганса Шрейнера на правой кисти тоже нарост величиной с грецкий орех — костная мозоль после перелома. С тех пор я всегда бинтую кисти.

На Берлинском чемпионате я загнал вес на пятнадцать килограммов выше своего личного рекорда. Это обеспечивало преимущество в два с половиной килограмма в сумме троеборья. С равной суммой я не мог

выиграть: я был тяжелее Харкинса. И вот в момент, когда я должен был ударить гриф грудью, я понял: движение холостое. Повторение допускается, если гриф не успел оторваться от груди. Я успел погасить движение, не сняв гриф. Я перевел дыхание и послал вес на прямые руки. Все было сделано чисто. Но Мэгсон подал протест в апелляционное жюри. Он утверждал, будто я снял штангу с груди. Может быть, он увидел то, что ему очень хотелось увидеть. Стейтмейер объявил перерыв на пятнадцать минут.

Даже дыхание свое помню, глаза помню, сиротливость раздевалок помню. Скучные минуты! Я сидел в раздевалке. Мне не хотелось шевелиться. Старый Трэй был тогда президентом Международной федерации тяжелой атлетики. Нельзя сказать, чтобы он питал к нашей команде слабость, но именно он настоял на отклонении протеста Мэгсона.

Наши ребята были в зале. Все были в зале, кроме меня и Поречьева. Публика требовала от жюри победы для Харкинса.

Потом на банкете Мэгсон подал в знак примирения руку. Я протянул навстречу рюмку. Мы чокнулись. Харкинс проворчал через весь стол, что «Мэгсон зря затеял всю эту кутерьму». Наш переводчик громко перевел это для всех.

Харкинс отличался грубостью. Ему ничего не стоило пинком вышибить из раздевалки репортера или нахамить болельщику. Харкинс сказал, что выиграл бы у меня, если бы знал, как я плох, но больше у него такой возможности не будет.

От всей той истории остался гадкий привкус. Я увидел, как радуются твоей неудаче, как просто может быть смыта память побед и усилий, и какова цена всех этих побед и усилий в глазах зрителей. Я побывал на спектакле. Всего лишь на спектакле — эта мысль потрясла. Зрелище! Азартное зрелище! Случайный проигрыш мог превратить смысл большого поиска, лишений, борьбы в ничто. И тогда я стал догадываться, почему были так бесцеремонны с публикой и партнерами по «железу» великий Торнтон, Бешеный Харкинс, знаменитый средневес Теодоро Муньони и трехкратный олимпийский чемпион Шёстэдт. Я не оправдывал их. Но знать, что ждет тебя, и все же не жалеть себя, оставаться атлетом — отравленное счастье. Гнать себя на результаты, которые

иссушают силу, которые лишают соперников права быть атлетом, гнать себя в беспощадность этой спортивной жизни и быть добродетелью они не могли. И тогда я впервые понял этих ребят. Нельзя сказать, чтобы они расчетливо мстили. Но что они презирали славу, которой поклонялись зрители,— это факт. И я знал уже, какую славу они презирали. Славу, которая была пустотой и обещала лишь пустоту будущего. Да, спорт велик, но противоречив...

Разве я здесь только оттого, что хочу быть всегда первым, и мне плохо оттого, что не хочу никому уступать своей славы?

Разве это так просто отказаться, уйти? Разве не целый мир в этом отказе? И можно ли так просто оторвать себя от него?

Сколько же у меня слов! И еще нет человека, которому я открыл бы свои слова. Неужели мне всю жизнь одному нести эти слова?

Я не могу быть и «железом», и тенью себя, и мишенью, и жизнью самых нежных слов...

145

В памяти своей я ласкаю руками волосы Ингрид, слышу звон этих волос, насыщаюсь запахом ее кожи... Запах свежего утра. Ее волосы пахнут утром...

Колышутся ветви деревьев. Подсыхают тротуары, крыши, земля. В ясную даль отодвигается город. Тротуары разгораживают город. Ни на одно мгновение не рдеет толпа.

Настраиваю приемник на музыкальную программу. Снова просматриваю утренние газеты. На последних страницах сообщения о моем выступлении.

«Рекорд должен зацепить, — думаю я о себе, — и обязательно. И эти дни не бессмысленны. Все, что со мной случилось, это не отрицание цели, а неизбежное в таких случаях состояние. Как может быть гладким путь в неизвестное? Я здесь первый. Тот первый, у которого все — исключение»...

Еще раз перебираю в памяти подробности неудачных попыток в Тампере и Оулу. Память обострилась и скопила множество ненужных мелочей.

Расхаживаю по номеру, разглядываю себя в зеркало. Надо побриться. Мне важно все — даже внешняя

подтянутость. Во всем должна быть моя убежденность. Иду в ванную. Намыливаю помазком щеки, бреюсь. Надо сказать Цорну, чтобы горничная выгладила брюки и галстуки.

До чего ж запали щеки! Еще немного и окажусь в новой весовой категории — первом тяжелом...

И все же Хенриксон очень похож на фра Гортенсио Феликса Паллавечино. Но ведь Хенриксон другой? Он совсем не тот страдающий фра Гортенсио Феликс Паллавечино. Чему верить: словам Гуго или наваждению портретного сходства?..

Эль Греко... Он родился и вырос на острове Крит. Настоящее имя художника — Доменико Теотокопули. В 1575 году этот грек появился в Толедо. Испанцы нарекли его Эль Греко. Каков бы ни был сюжет любой картины Эль Греко, в каждой иступленность страсти и мысли. В мастерской Эль Греко всегда были приспущены шторы. «Дневной свет мешает моему внутреннему», — говаривал он...

Звонок прерывает мои размышления. Снимаю трубку. Цорн спрашивает, не нужны ли фрукты.

— У Аальтонена приступ благотворительности, — говорит Цорн. — Он готов скупить для твоего рекорда всю фруктовую лавку. Я уже нагрузил его, как мула. Нам это не помешает. Во всяком случае будет чем закусывать...

146

Я убежден в необходимости математического расчета движения к цели. Без этого расчета не может быть настоящего результата. Осознанность действия и его будущего — это современный спорт. Чувство не управляет движением, но освещает цель. И оно ведет к победе все осознанное, все математически выверенное. Нет начала и завершения цели без могучих чувств. Без воли чувств.

Я в предельном режиме работы. Напряжение распяло меня. Все ошибки познания сошлись в этом напряжении. Я теперь знаю: нет опаснее противника, чем ты сам. И счастье, которому трудно сыскать равное, — это верить.

Кто выжил, чтобы лишь выжить, — умер, ибо что такое жизнь без постижения и чести? Все дни животного счастья не стоят мига постижения.

Я нашел то, что можно было найти лишь через испытания. Я искал воздух, которым могу дышать. Я дышу этим воздухом. Не отказываюсь ни от одной ошибки, ни от одного прожитого дня. Приветствую зло всех дней.

Механизм, который я испытывал, был я сам. Подставлять себя, не бояться потерять — цель всегда лежит за этим испытанием.

Каждое мгновение жизни — результат схождения необходимых процессов. И я буду вызывать эти процессы, управлять и видеть. Знать все необходимости, которые вызывает цель. Соразмерять все эти необходимости. Не бояться потерять себя.

С виду все, что я делаю, слишком примитивно, чтобы называться программой поведения, но за этим опыт десятилетия. Даже сидеть я должен по-особенному: ноги вытянуты и расслаблены. Руки за день не устанут, а ноги можно забить даже обычной ходьбой. Еще нужно уметь не верить вялым мышцам. Сила жжет, прячется, нагоняет сонливость.

В день выступления каждая минута выжевывает, каждая минута отнимает силу. Как бы ни обманывал себя, как бы ни верил себе — возбуждение тлеет, возбуждение посягает на силу.

Я рад, что сегодня ко мне вернулась выучка всех лет. Я сижу и бездумно отдаюсь времени. Это тоже суровая выучка — ни о чем не думать, уметь отключиться, стать безразличным к времени, словам, жизни.

147

Из Москвы пришел запрос, не согласимся ли мы на выступление в Вене. Поречьев срочно уехал в посольство.

Небо все такое же белое. Приоткрываю окно. Шум врывается в мою комнату. Славно дышать весенней сыростью, угадывать в ней запахи полей, лопнувших почек, студенной воды.

Черным густым потоком льется толпа. Сверкают витрины. Размалывает воздух рев под светофором. Я набрасываю куртку и возвращаюсь к окну.

Что ждет меня?..

Да, сейчас я измучен, но все это нужно и все имеет свой смысл. Великий «экстрем» внушил мне отвращение

к привычке все оценивать выгодами успеха. Как можно измерить плеск воды, доверчивость рук, смешение лунных теней — медленный танец расплывчатых теней. Для счастья нужно все и не нужно ничего.

Я рискнул потерять жизнь — и вырвался из мира символов, набора слов, пустоты...

Впервые для меня рекорд — не самодовольство плоти. И доблесть выхоженной силы привлекает меньше всего...

«Рекорды придуманы в насмешку, — размышляю я. — Каждый рекорд обязательно станет заурядным. Неужели позволю всей этой заурядности растоптать себя? Рекорд! Рекорды! Их и называю рекордами потому, что в них страх и почтение, признание своей слабости, оправдание слабости».

Подчинить себе риск. А сомнения? Из сомнений складывается решение. Без сомнений нет решения. Искать сомнения. Не уступать сомнениям. Чем безвыходнее положение, тем настоятельнее необходимость действовать. Ошибки в конце концов подводят к правильному решению, бездействие — никогда. Всегда бороться! За обыденным слышать веление судьбы, свершение судеб, исход и начало новых целей. Назначать судьбу, узнавать себя и свои цели. И всегда видеть свой шанс.

148

В холле выставлена копировальная машина. С утра в банкетном зале совещание сотрудников скандинавских филиалов концерна «Эрикссон». Со скукой слежу за этой публикой: чинное благообразие манер, почти уставная экипировка — белые воротнички, строгие галстуки, серые костюмы. Когда холл пустеет, Цорн воровато закладывает в копировальную машину страницу из журнала с изображением обнаженной девицы, программирует, но на выдачу копий аппарат не запускает. Теперь Цорн ждет, когда в машину заложат официальные документы. Цорн запрограммировал наибольшее число копий. Однако перерыв заканчивается, и никто не подходит к машине.

— Ничего, — говорит Цорн, — машина не дура. — Он достает из портфеля альбом репродукций:

— Издание венской фирмы «Файден». — Листает альбом, не спеша, со вкусом поясняя: — Взгляните на кофту,

юбку, лицо: полная согласованность цветовых гамм... А этот поколенный портрет исполнен размашистой кистью. И композиционно организован — каждая деталь взвешена... Этот старец написан вдохновенно, без оглядок на традиции и школы. Тени не тяжелы и не черны. Я видел на выставке. Выдержан в серебристо-серой гамме. Изящен и отменного тонкого письма... А качество репродукции! Чувствуешь эту кладку — красочную, плотную, хотя и писан неровно... Кто следующий? Не встречал сего имени. Лик явно суховат, не в пример мундиру и орденам...

— Ты не в родстве с портретистом Цорном?— спрашиваю я.

— Моя тайна.— Цорн достает табакерку. Это другая, такую я не видел.

— Покажите,— просит Поречьев.

Мы разглядываем табакерку.

— Перегородчатая эмаль,— рассказывает Цорн.— Табакерка принадлежала Жемчужникову — одному из соавторов Козьмы Пруткова. Жемчужников подарил ее моей бабушке Марии Павловне Ковалевой, а мама мне. Мама недолго училась в мастерской Репина. Замужество нарушило ее планы. Что за коллекция работ Репина была у Монсона! Мама восхищалась Репиным 1880 годов. Часто повторяла, что никто в мировой живописи не умел писать рук так, как Илья Ефимович. И еще удивлялась широте его мазка. Репин был далек от деликатностей французской школы. Но широким и точным мазком достигал в портретах живописных вершин... Здесь одна из репродукций. Не поверишь, что картина написана за один сеанс. А глаза? Знаю, если над зрачком поставить блик, это создаст эффект поворота взгляда. Портрет как бы станет следовать за вами взглядом. И технически это весьма несложно, однако не могу отделаться от чувства восхищения: одухотворенный холст! Повсюду встречаешь этот взгляд. Эта особенность поразила меня в портрете Лосевой работы Валентина Серова.

— Вы воевали?— спрашивает Поречьев.

Цорн стучит табакеркой по протезу:

— Мелодичное свидетельство моих боевых заслуг.

Я вдруг замечаю, как тщательно одет Поречьев. На его лице сосредоточенность и тихая торжественность. Таким я вижу его первый раз. И тогда я вспоминаю ту записку в его тренировочной тетради...

— Что вы не финн, я убедился, — говорит Поречьев, — слишком много слов для финна...

Цорн ухмыляется. У него очень выразительные губы. Все его чувства в губах. Теперь говорит Поречьев, а Цорн слушает. И лицо его постепенно становится неподвижным и холодным. Оно застывает в гримасе вежливости.

Что будет на помосте? Вот за этой чертой на циферблате — моя судьба. Что ж будет? Когда Хубер решил, что нет надежды?

Воля смотрит на меня своими холодными пустыми глазами.

149

— Мы нарушили свое же правило: не пробовать большие веса при объемной тренировке, — говорю я. — Что взять тогда от мышц, какую скорость и точность? Вспомните декабрь, январь. Я стал бояться даже обычных весов. А как быть? Выводить себя из работы для отдыха? Но смысл всей тренировки в непрерывности. Это из самой природы силы. Тогда как быть? А выход есть. Наш старый прием: пробовать веса в классических упражнениях только после периода сброса нагрузок. А мы? В этом причина неудач в Париже, Лионе, Тампере, Оулу! В любом случае я готов к рекорду! Даже с зачумленной экстремальными тренировками силой я мог зацепить рекорд. Какую силу я уже наработал! Что для нее этот паршивый рекорд? Но в том-то и дело, что я боюсь его. Всю зиму я пробовал веса в темповых упражнениях огрубелой силой. Силой, лишенной слуха, чуткости, свежести. Когда нарабатываешь большую новую силу, забудь о точности, координации, скорости. Не смей тогда и думать о темповых упражнениях...

— Почему ты должен уйти в тридцать восемь или в сорок два года? — вдруг спрашивает Поречьев. — Твоя сила исключает традиции. Но если так будешь относиться к себе, тебя действительно не хватит. Откажись от опытов. Не изнашивай силу!

Номер благоухает дарами Аальтонена: апельсины, бананы, яблоки и даже гроздь винограда. Тут же на столе в красном футляре золоченая фигурка штангиста — почетный знак финской федерации тяжелой атлетики. Полчаса назад мне вручил его господин Яурило. Он был верен себе: любезен, шутлив.

— Оставь эксперименты — и еще десяток лет будешь хозяином помоста, — продолжает Поречьев. — «Пики», «горбы» — каких там назвать еще?.. Они кого угодно сделают горбатым.

— Сверхнагрузки вообще не очень полезны. Но результаты? Как быть с результатами большого спорта? Как к ним подбираться?

— Не валяй дурака! Надо, я сам настаиваю на больших нагрузках. Но то, чем мы занимались, — это ошибка. Торнтон, Харкинс, Земсков!.. Ты за год преодолеваешь расстояние, на которое они вместе потратили десятилетие. Они сменяли друг друга, а ты пробиваешься один. Что молчишь?

— Разве? А мне кажется, я болтлив.

— За утро и сотни слов не сказал.

— Вам привет от Размятина.

— А-а, Андрей.

— Письмо завалилось. Только вчера прочел.

— Звонил Кемплайн. Пожелал удачи.

— Где Цорн?

— В холле. Не хочет тебя беспокоить. Там переполюх из-за копировальной машины. Заложили таблицы, а она начала выдавать копии журнальной фотографии какой-то натурщицы. Срам!

150

Усталость вдавливают в кресло. Возвращение «экстрема» неожиданно и беспощадно. Опять остро чувствую, как разбит усталостью.

«Сколько еще терпеть? — шепчу я. — Когда иссякнет любопытство людей? Какое к черту лечение? Эта публика в залах не прощает, подсчитывает и взвешивает любую неудачу, любой успех. Их доброта...»

Бреду по комнате. Меня знобит. Я полагал, с бредом покончено, но, оказывается, у него долгие счеты.

И тогда я заставляю себя думать о соревнованиях. Я не должен этого делать. Еще рано запускать механизм возбуждения, но я обращаюсь к чувствам, которые сильнее «экстрема». Не думаю ни о чем, кроме рекордных попыток. Это напряжение мышц, это последовательность включения мышц, удары несостыкованных переходов — я знаю, где они могут быть.

Сегодня я должен опрокинуть старое правило. На

усталых мышцах я должен сработать точно и в оптимальном режиме. Мышцы должны сыграть свою партию. Заставлю их быть расслабленными и чуткими...

Я улыбаюсь. Нет, в этот раз рекорду не будет прощения.

151

Цорн потягивает пиво с барменом. Кресла сдвинуты к стене. Уборщица щеткой натирает пол.

Цорн составил для меня выписки из английских, финских и немецких газет.

«Беги, сообщай: русский засыпался! Штанга не ракета, сама не поднимется!»— это из спортивного обзора Джорджа Бэнсона.

Бэнсон мой давнишний знакомый. Мы с ним «на ты». Он всегда располагал к себе: веселый, готовый к шутке, щедрый на похвалы. Я помогал ему брать интервью у лучших атлетов. Достаточно было назвать Джорджа своим приятелем...

«Последние месяцы господства русского»,— заключительные слова обзора Бэнсона.

Пробегаю взглядом выписки. Будто сговорились: «Золотая медаль чемпиона мира ждет нового хозяина», «Мэгсон заявил: «золотая и серебряная медали будут у моих ребят!», «Крах русского чемпиона», «Новая эра в тяжелой атлетике»...

Итак, возраст, неудачи турне, «плохая техника»— значит, я изнашивался. Деловой подход!

Кто знает, что я вынужден выступать с перегруженными мышцами и это неизбежно сказывается на «технике» и особенно на скорости? Терять пять-шесть недель и выводить себя из нагрузки к любому выступлению я считаю неразумным. Я не смогу тогда набирать расчетную силу. Даже после месячного отдыха я два-три месяца лишь наверстываю упущенное, а к чемпионатам всегда надо выходить на новую силу, надо успевать накапливать эту силу. А из экстремальных нагрузок и за месяцы не выйдешь.

Не принимаю ни одного упрека!

Силу определяет способность организма переносить оптимальную нагрузку в определенный промежуток времени. При относительно равных возможностях побеждает тот, кто за годы тренировок перерабатывает наибольшее количество тонн при определенной интенсивно-

сти. Искусство тренировки в том, чтобы существенно уплотнить рабочий цикл. Тренироваться — значит выигрывать время. Время решает судьбу силы.

Цорн, пришаркивая ногой, опускается в кресло.

Подходит Поречьев, нервно поглядывает на часы.

— Я буду зрителем,— говорит Цорн.— Обыкновенным крикливым болельщиком.

— Не удастся,— говорит Поречьев.— Мальмрут не помощник.— Поречьев объясняет роль каждого на соревновании.

«Когда снижать объемные тренировки и «садиться» на классические упражнения? — раздумываю я. Совмещать такие элементы невозможно — это факт. Кроме того, циклы «объемно-пиковых» тренировок следует чередовать с периодами пониженной активности, а не эпизодическими тренировками-отдыхами. Периоды между «пиками» мы определили, но необходимо найти периоды работы на восстановление. Успех борьбы за новые результаты определяет нервный потенциал. Об этом мы ничего не знали. Следовательно, ничего не знаем о характере и продолжительности этой новой необходимой части цикла. Итак, снова поиск! И я обязательно буду опробовать новые пути, которые потом станут надежными и короткими. Но самые короткие достанутся другим...»

— Пора,— говорит Поречьев,— через тридцать минут соберемся у Сергея.

В последний раз я бросаю взгляд на перевод репортажа Бэнсона: «...сто тридцать килограммов мускулов безуспешно обрушивались на рекордную тяжесть штанги...»

— Ну и занятыце вы себе сыскали,— говорит Цорн.— Даже хлебнуть для храбрости нельзя. И вообще все нельзя!.. Я найду к Эльзе Гравэлэ. Она в 571-м номере. Может быть, Гуго у нее...

Конкуренция с каждым годом жестче. Результаты звинчиваются. Все реже и реже я могу себе позволить спады в нагрузках. При налаженной «технике» сила решает исход борьбы. Для приобретения силы нужны годы, и этот процесс бесконечен. Технику же упражнений можно за год-полтора отшлифовать до совершенства, то есть сила несравненно более консервативный элемент. Так

смею ли я разбазаривать время на зубрежку «техники», если она давно поставлена? Я теряю незначительно в качестве исполнения элементов, но непрерывно выигрываю в силе.

Я должен быть растренирован в период, когда работаю на силу. Это самый главный, черновой этап тренировки. Он исключает тренировку классических упражнений. Поначалу это выглядело устрашающе: я по несколько месяцев не пробовал рывок и толчок. Потом привык. И были циклы, когда я по семь-девять месяцев не работал в темповых упражнениях! Я отметил нечто разительное: «техника» выиграла от этого. Я работал свежо и четко — во всю мощь нерастраченных координационных возможностей. Это была находка! И она тоже давала ошутимый выигрыш во времени!

К тому же к большим соревнованиям я тренируюсь по специальному графику. Мышцы должны отдать новую силу. Я освобождаюсь от усталости, и сила обретает скорость, точность.

Первые годы в спорте я мучительно прибавлял в силе. Я не мог себе позволить отказаться от канонических взглядов на тренировку. А затем сломал все! Свел количество выступлений в году к минимуму, чтобы не отвлекаться от силовой работы. Выступления с перегруженными мышцами противоречат простейшей логике. Ведь все тренировки вообще — это подведение мышц и организма именно к соревнованиям. Кроме того, в усталых мышцах даже обычные веса утяжеляются. В усталых мускулах помимо воли откладывается страх перед большими весами. Усталые мышцы плохо отзываются даже на обычные веса. На заурядных соревнованиях следует работать на средних весах, хотя все требуют и ждут рекорды. Но и тогда нужно уметь не пустить ощущения усталых мышц в память, не дать стать им памятью. Усталые мышцы ищут своего способа выполнения упражнений. Стиль усталых мышц калечит «технику», приучает к ложным приемам. Надо уметь гнать штангу по вызубренным траекториям, не доверяя ощущениям, не слушая усталую силу.

Жаль потерянные годы. Я слишком поздно понял, что общее во взглядах, это не обязательно верное...

Я складываю вещи. Всё! Теперь уже всё! Иссякли все часы игры в слова.

Должен! Должен! Должен!.. Кто выдумал и нашел

эти слова? Подменил жизнь формулами, естественность — надменностью целей...

Эх, будь здесь Сашка Каменев, все было бы по-другому. Сколько часов коротал с ним перед выступлениями! Вообще с Сашкой невозможно быть серьезным.

153

Я не надеваю, как обычно, спортивный костюм. Я в накрахмаленной рубашке, синем галстуке и новых тесноватых туфлях. Для меня во всем этом свой смысл.

— Возьми победу,— говорит Цорн.— Присвой удачу!— Он наливает в стакан водку и бормочет, пародируя молитву:— Прими, господи, не за пьянство, а за лекарство. Не пьем, господи, а лечимся. Не через день, а каждый день. Не по чайной ложке, а стаканом. Разольется влага чревоугодная по всей периферии телесной. Аминь!

— Присядем,— говорит тренер. Он исподлобья смотрит на меня.

«Будет ли мне еще досаждать «экстрем»?— думаю я.— С меня довольно! Не для того я вынес столько! Сейчас я проверю все эти бредни!»

— Толь рассказывает, что Альварато принимал до двенадцати таблеток мэгсонского препарата «зэт» в день,— говорит Поречьев.— Это при норме больным — таблетка в сутки в течение недели, один-два курса в год. Препарат был создан ведь лечить крайне ослабленных больных. Альварато глотал по дюжине в день и круглый год! Они готовы жрать раскаленные угли, чтобы стать первыми! — Поречьев сжимает кулак.— Оказывается, определенная группа этих препаратов Мэгсона воздействует на организм только определенное время, конечно, при постоянном увеличении дозы. Сейчас Альварато переключился на новый препарат, производный от «зэт». Этот препарат в секрете от всех. Так, Макс Вольдемарович?

— Да, Толь мне рассказывал. Альварато сам делает себе инъекции. Что вводит, никто не знает, но этот препарат помог ему побить твой рекорд. Толь видел Альварато и говорит, что он растет в силе, как на дрожжах. У них, на Западе, все перешли на «химию». Залы похожи на аптеки. У каждого мешочек с различными препаратами.

— Докатились!— Поречьев грохает кулаком по столу.

— И еще,— продолжает Цорн.— Печень не справля-

ется с подобной нагрузкой. Ее заставляют работать другими препаратами. Какими именно, Толь не сказал. Но якобы у Пирсона печень изрядно разрушена. И он живет на этих препаратах.

— Теперь понимаешь, как важен рекорд!— говорит Поречьев.— Мы доказываем возможность иных путей!

— Понимаю ли я?— Я смеюсь.

— Поймите, Макс Вольдемарович,— говорит Поречьев,— тренировка по методу экстремальных факторов предполагает существенный выигрыш во времени, ибо за то же время спортсмен может выполнять несравненно более полезную работу. Человеческий материал — я имею в виду спортсмена с определенными данными — во всех странах одинаков. И почти любого из таких ребят я могу сделать самым сильным. Для этого надо уметь выигрывать во времени. И достигать результаты первых. Этот метод был жесток лишь для первого.— Поречьев показывает пальцем на меня.— В схватке с неизвестным он отстаивал право на новые ритмы тренировок. Он научился прибавлять к неделям и месяцам много дней, которых нет в календаре.

Мое сердце срывается на стартовый ритм.

— Черт бы побрал этого Мальмрута! — Цорн смотрит на часы.— Условились: не опаздывать!

Поречьев смотрит на меня:

— Все идет, как и должно идти. Для нового — новые напряжения, неведомость новых напряжений. Семнадцать раз ты брал вес на грудь и поднимался — какую тебе еще силу нужно? Ты начинен ею. Накроем рекорд. И потом еще много других! Пусть давятся своими препаратами! Верь себе! Ты готов! Ты в порядке! Ты заправишь вес, обязательно заправишь!

ГЛАВА V.

В газетах печатали интервью и фотографии Кирка, Пирсона, Ложье, Альварато, Зоммера. А мне было безразлично, кто выступает. Здесь, на девятом чемпионате мира, для меня имел значение результат. Только результат.

Исход борьбы был предрешен тренировками. Я знал цифры, из которых складывалась победа. И месяц за месяцем добывал на тренировках силу. Меня совершенно не интересовали ни отношение публики, ни судьи, ни мои соперники, ни даже собственное состояние. Я знал, какие килограммы должен взять и что для этого нужно. Я знал чувства, которые обнажают силу, и не давал им воли. Я знал, когда и как их пускать в дело.

И ожидание не тяготило. Каждое движение было выверено, каждое слово знакомо. Я знал, моя сила определена расчетом и я вне конкуренции, если верно подведу себя к выступлению.

Я знал, что сила будет самой большой в день и час моего выступления. В точности этих выводов я уже убедился. Я скрупулезно следовал тому, что обеспечивает концентрацию силы к назначенному сроку.

Иногда все подавленные чувства внезапно оживали. Я вдруг чувствовал, как безумно легки мои шаги, как отжаты от усталостей, чисты и послушны мышцы, как заманчивы каждый звук и красота этого мира. Все сбрасывало свой привычный смысл. Я начинал слышать.

Я заводил знакомства с большими деревьями, с домами, которые врезались в синь неба, с площадями и улицами, вытоптанными поколениями людей.

Я волновался, когда ловил взгляд женщины, я бредил ласковостью слов.

И утром, еще не проснувшись, я вдруг начинал слышать эту музыку чувств. И когда я вставал, я видел голубоватое небо в пелесах белых облаков. Я видел лучи в кронах, шевеление листьев, матово-глянцевую поверхность листьев и прерывистую игру света. Этот свет кропил листву крохотными белыми огнями. И я слышал, как тяжлы мои руки. Я был выложен упругостью мышц.

Этот рассвет, движение теней и одиночество улиц сливались с той музыкальной чувств.

Воздух был пахуч солнечным теплом.

И в парке по дороге на тренировку я входил в прохладу неподвижных деревьев, в трепет высоких деревьев, в стройное течение листвы.

Травы обесцвечивало нестерпимо яркое солнце.

Солнце дробило парк на полуденную кучость теней. Деревья млели зноем. Жар налегал на тучные кроны. Ветер приносил душную пахучесть трав, автомобильных газов и камня.

Я не смел быть этими чувствами. Я оберегал силу, вынашивал силу. Вся энергия чувств назначалась мышцам. Я знал свои мышцы. Если бы даже они оказались не вполне готовыми, я сумел бы их поставить в режим высшей отдачи силы.

Ярость грядущей борьбы подчинялась расчетливости. Все вдохновения замыкались на формулах.

Это лето осталось в памяти, как лето высоких деревьев и солнечных запахов...

154

Табачный дым слоится над залом. Похоже, в этот раз не будет свободных мест. Газетами обещан спектакль. Конечно, Альварардо подыграл своим рекордом.

Расхаживают продавцы мороженого, конфет, кока-колы. Трансляторы наигрывают свинги. Если не ошибаюсь, это записи оркестра Гендерсона. Киношники с лампами, штативами, кинокамерами, шлангами берутся прямо под рампой — взъерошенные, в разноцветных модных одеждах, не угадать, кто мужчина, кто женщина.

В первом ряду замечаю белую нить пробора Аальтонена. Вижу испитое лицо бывшего борца. Вспоминаю имя—Иоахим. Цорн прозвал его «ресторанным борцом»... Вот так новость: Осборн! Из Парижа махнул на мое последнее выступление! Вот чудак. Наверное, только прилетел. Даже среди дружно белоголовых финнов голова Осборна выделяется своим соломенным цветом.

Я на сцене за каким-то размалеванным щитом. Обычно меня не интересует зал. Но сейчас я с каким-то болезненным любопытством впитываю его подробности.

Рядом с Осборном легковес из финской сборной. На плечах Осборна замшевая куртка. Воротник полосатой рубахи расстегнут. Эти рубашки Поречьев называет «нефтяной кризис», так как они вошли в моду во время нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Ловлю себя на том, что улыбаюсь Морису. Черт побери, мы же работали не один год вместе! Приятно

видеть своего. Я бы сделал из него чемпиона. В первом тяжелом он «задушил» бы канадца Дейва Аллена и нашего Геннадия Щелканова. Я вижу, чего недостает Осборну. Но это не поправишь словами — надо вместе тренироваться.

Я испытываю одновременно и тревожную напряженность и спокойную уверенность. Привычная обстановка чемпионатов вызывает уверенность. Во всяком случае здесь я знаю, что делать. И, наконец, наступило время действовать. Теперь все зависит от меня.

Проход из зала на сцену перекрыт полицейскими. За центральным пультом Уго Бреннер — это совсем неплохо. Бреннер не станет куражиться, команду даст точно. Я знаю, Бреннер не из тех, кто сводит счеты. Бреннер пробует сигнализацию. Вспыхивают белые, красные лампы. Вид у Бреннера не из лучших. Видно, вчера закончил званный ужин в другом месте.

Джозеф Бэкстон за столом почетных гостей. Значит, Бреннер отстоял свое право. Впрочем, черт их там разберет...

И тогда я догадываюсь, зачем здесь Бэкстон. Это гончий пес Мэгсона. Они хотят убедиться, что я выхожу из игры, что мне крышка: я стар для «железной игры».

Музыка наступает четкостью ритмов. Слышу соло «шагающего» фортепиано. И музыка, и я, и сласти на лотках — все к услугам публики. Не могу оторваться от зрелища. Стараюсь понять людей.

155

Мы стоим за кулисами. Здесь, в коридоре, холодно-вато. Костюм придется сбрасывать на сцене. Надо беречь тепло. Цорн что-то объясняет Мальмруту. Здесь на спортивном спектакле салонно-галантные жесты Мальмрута и его старомодное пенсне на черном шнурке производят более чем странное впечатление. Так и хочется вернуть его в кадры какой-нибудь старой киноленты.

— Да сними ты свою овечью привязь, — дергает меня за галстук Поречьев. — Пойдем переоденешься. Пора...

— Закажите черный кофе, — говорю я. — И в кофе ложку коньяку.

— Мы же не дома, — Поречьев пожимает плечами. — Где возьму коньяк?..

— Будет коньяк, — Цорн усмехается.

— Только никому ни слова. Скажите, для тренера.— Поречьева не узнать. Говорит грубо, отрывисто.

— В соревнованиях я ничего не принимаю,— объясняю я.— Но после нашего турне кофе с коньяком не помешает. Я обычно возбуждаюсь сверх меры, и мне нужны скорее успокаивающие средства, хотя и без этого тоже обхожусь. Но сегодня...

— Да, сумасшедшие были деньки,— перебивает Поречьев.

— А-а, Гуго! — Цорн подталкивает к нам Хенриксона.— Как же тебя пропустили?

— Как видишь,— Хенриксон пожимает нам руки.

— Где ты был? — спрашивает Цорн.

— Сейчас уходит поезд,— говорит Хенриксон.— Я приехал проститься.— Хенриксон в толстом черном свитере, на руке куртка.

Собирается толпа. Какие-то люди фотографируют меня, оттирают Поречьева, задают на ломаном русском вопросы.

— Знаешь, Максим,— говорю я,— в раздевалку и на разминку в зал никого не пускай. Будь то болельщики самых солидных репутаций.

— Они у меня пройдут,— с угрозой бормочет Поречьев.— Попробуют только...

Я пожимаю руку Хенриксону. Мне некогда спросить, куда он уезжает. И сейчас мне это не интересно. Все теряет для меня смысл, кроме «железа». Пытаюсь представить ощущения разминки. Мне только снять первые веса, и я буду знать, что меня ждет.

156

Идем в раздевалку. Ян и Эвген уже в трико — вижу их в небольшом зале, наспех оборудованном под разминочный. Выкрикиваем друг другу приветствия. У Яна незнакомый лающий голос. Он уже завелся. Младший из братьев определенно грешит допингами. У него расширенные безумные глаза. Он идет к штанге. Я останавливаюсь. Ян приседает над грифом, съезживается. Он слишком отпускает гриф: удержать невозможно. Он швыряет штангу. Я вижу мокрое бескровное лицо.

Эвген подходит. Говорит что-то мне. Цорн переводит: «Под такую музыку выпивать, а не драконить «железо».

— Мировой парень,— добавляет Цорн по-русски.

Я показываю Цорну угол, который мы займем. Толь здоровается с нами. Поречьев наметанным взглядом оценивает шансы братьев.

— Три кресла, кофе и полная изоляция от всех,— говорю я.

— Это уж мое дело,— говорит Поречьев. Румянец проступает на его плосковатых щеках.— Твое дело работать.

Ян окликает Нильсена. Эвген ухмыляется нам. Он всегда работает расчетливо. Ян валится на стул. Тренер финской сборной Урхо Нильсен растирает ему плечи.

Иду и за спиной опять слышу вопль Яна и удар штанги...

157

Вот она какая раздевалка в этот раз! Кафельный пол, черная кушетка, четыре стула, вешалка, овальное зеркало на двери. Ежусь, ищу место.

Вспыхивают блицы. Я выкладываю вещи на стул. Цорн ввязывается в перепалку. В комнате выкрики, смех, топот. Мальмрут растерянно жметесь ко мне, что-то спрашивает; делаю вид, что не слышу, бинтую кисти. В комнате сыро и холодно. Почему-то думаю о больнице.

Перепалка развлекает Цорна. Он фокусничает словами. Блицы ослепляют меня. Я слышу вопросы на русском языке. Меня хлопают по спине. Ловлю ехидные взгляды. Конечно, мой рекорд у Гарри Альварардо. Теперь я почти «экс»...

Поречьев возвращается с полицейскими. Он чертыхается и клянет всю прессу вообще. Через минуту мы остаемся одни.

Полоска ровного бесцветного неба за окном.

Стараюсь не смотреть на это небо. Когда вижу его, хочется все бросить и уйти. Впрочем, это всегда так. Всегда зол на свою судьбу перед поединком. Пока не трону штангу...

Раздеваюсь догола и начинаю медленно одеваться. Сначала бандаж. Он плотно и широко стягивает живот. Надеваю белую рубашку-полурукавку. Рубашка не совсем вяжется с трико, но под маленькими рукавами плечам все же тепло. Надеваю плавки. Меняю нейлоновые носки на шерстяные. Шнурую ботинки...

Слежу за собой. Отмечаю, что я спокоен. Ни разу

в турне не выступал в своей манере. Даже вид зала и штанга вызывали потрясение... Сейчас спокоен. Правда, сердце берет разгон. Слышу его. Отчетливо слышу. Теперь главное — не пустить чужие мысли. Для поединков у меня свои слова и чувства. Главное — войти в их строй и ритм. Искал эти команды. Годами приучал себя к ним. Научился быть такой командой. Без них я беспомощен. Самое важное сейчас — войти в них, слиться с ними и слышать их, только их!

В руках у Цорна пол-литровый термос.

— А эта девица — тоже репортер? — говорит Поречьев.

— Спросили бы ее, — Цорн улыбается.

Поречьев пробует кофе:

— Губы сочные. Вопросы лепит — меня аж в жар!.. На, — он подает мне стакан. — По глотку растяни минут на десять.

Черноватая жижа с коньячным запахом обжигает губы. Ставлю стакан на подоконник.

— Нет, не снимай. — Поречьев под рубахой натирает мне спину и плечи растиркой.

Эта растирка не греет, пока не вспотеешь. Я предпочитаю тепло этой растирки. Греет ровно, глубоко.

По расчетам журналистов и знатоков, я уже должен износить силу и уйти из спорта. После моих неудач в этом уже не сомневаются. Растирка, всасываясь, покалывает. Тороплю Поречьева, а сам раздумываю о том, что залы и без меня будут полны, и будут чемпионы, и будут рекорды. Я вижу сразу все залы. Залы моих побед. И я тоскую, что когда-то останусь без спорта. Без всей этой жизни... Потом размышляю о том, как в памяти стираются победы. Никогда память не сохранит яркость побед...

— Заправим вес! — говорит Поречьев. — Брось «мандраж»! Будь атлетом!

158

Под разминочный зал приспособлена артистическая уборная. Разглядываю стойльца-перегородки с откидными гримировочными столиками и зеркалами по стенам. Торчат выдвижные металлические лампы. Застарелые запахи табака, пудры, духов перебивает едкий запах спортивных растирок. Посреди зала помост и тумба с магnezией. Пол уже затоптан магnezией.

Ян в «седе». Хрипит. Лицо отекает кровью. Нильсен

что-то выкрикивает. Ян встает. Отталкивает от себя штангу. Выпрямляется. Мотает головой. Шагает к стулу. Толь останавливает штангу, закатывает на центр помоста. Нильсен догоняет Яна, прихлопывает по ягодице.

Они заканчивают разминку.

— Спасибо, Максим,— говорю я.— В зале никого лишнего. Чистая работа.

— В первый и последний раз мне симпатичен закон,— отвечает Цорн.

Полицейские с любопытством следят за нами. Без дозволения Цорна и Толя никто не смеет переступить порог. Коридор гудит голосами. Сколько лет выступаю за границей, в первый раз такой порядок. Репортеры вытворяют что угодно. Иногда мы просто запирались от них.

Ян запорошен магниезией, взлохмачен, неестественно бледен, мокр. Не говорит, а выкрикивает. Зря он вчера выпил. Успел бы. После ресторана, видно, где-то еще поддал. Обидно: все это из-за какой-то сволочи. Называют себя знатоками, кичатся своими положением, деньгами. Крутятся возле больших спортсменов, обворовывают силу ничтожеством своей дружбы. И сами ничем не рискуют...

— Bravo, Максим! — говорю я.— В зале нет посторонних. Ты славный вышибала!

— Зачем так грубо?.. — Цорн ухмыляется.— Я в роли квестора полиции! Боги благие, этот противоестественный союз налицо!..

— Молодец, Цыпочка,— говорит Поречьев.— Лихо выставил красноносого.

— Цыпочка — это Толь,— объясняю я Цорну.

Зря Ян выпил. В Оулу рассказывал мне о своих тренировках. Восемь месяцев работает на рекорд. И вся эта сволочь отнимает силу, которая по-настоящему приходит редко. Так редко, что у некоторых бывает всего раз в жизни...

Я бинтую колени: боковые связки не в порядке, а бинты ограничивают подвижность. Подготавливаю суставы и мышцы гимнастическими упражнениями. Сдерживаю возбуждение. Работаю плавно, ритмично. Стараюсь внушить нужные ощущения. Заставлю верить в них. В высоких матовых стеклах роса отраженного света. В зале иллюминация. Напускаю на себя слова, внушаю слова...

Поднимаю руку. Ян непонимающе озирается. Глаза белесые, маленькие, злые. Дышит беспорядочно — вспа-

хал грудь дыханием. В уголках рта пена. Ноги в красных пятнах — обожжены растиркой.

Нильсен жмет мне руку и желает успеха.

— Настоящие партии играют в одиночку, — говорит Нильсен. — Это мужской принцип. Принцип настоящего спорта. О'кей!

— Заправим рекорд! — бормочет Поречьев. — К черту всех!

Слышу «железо». Значит, Эвген уже на сцене. Ян отворачивается и уходит. За ним Нильсен. К ним липнут репортеры. Коридор пустеет. Гулкий, заброшенный коридор...

Вдруг вижу себя. Иду на тренировку. Небо бело солнцем. Огромное рыжее чудище в городе, в крови людей, в глазах людей. Жар всех слов в этом солнце... Я обхожу тени. Мне по душе этот жар. Я в согласии с этим рыжим чудищем. Волосы мои сухи и горячи. Кожа впитывает солнце. Листва берез, тополей, лип струится солнцем. Тени стволов узки и контрастны. В воздухе запахи машин, парковых роз, горячей земли и трав. Тени сплетаются на дорожках — синие, резкие. Солнце дробит парк на четкость аллей. Солнце матово-серебристо в листве... Город просторен солнцем. Солнце в моих шагах...

— Давай. — Поречьев идет к штанге, протирает гриф полотенцем, набирает первый вес.

Врывается Ян. Хватает куртку. Пинает стул. Он уже невменяем. Он слеп. Он уже под тяжестью рекорда. Цорн что-то спрашивает у него. Вбегает Нильсен. За ним Толь. Спорят. Ян бьет ногой дверь. Полицейский, ухмыляясь, уступает дорогу. Вспышка блица встречает Яна...

— Не зацепит рекорд, — сонно говорит Поречьев.

— Может, — не соглашаюсь я. — На две попытки его, пожалуй, хватит.

— Кому нужны такие рекорды? — сухим безразличным тоном говорит Поречьев. — За один заплатит столько, сколько стоят десять. В одной попытке износит себя, как за целый год.

Я внимательно смотрю на своего тренера.

Прокатываюсь по весам. Сверяю усилия. Заново прочитываю тренировки. Вижу ошибки всех тренировок. Знал, что буду плох, готовился, но веса кажутся преуве-

лично тяжелыми. Ни одного ободряющего ощущения. Стараюсь настроить движения на малых весах. Ищу точность. В движениях ловлю привычные положения. Мысленно все время воспроизвожу ощущения идеального движения. Стараюсь вписаться в идеальную траекторию этого движения.

Я скован. Мышцы неверно проигрывают свою партию. Я перехвачен короткими тупыми ремнями. Я тверд натруженными мышцами. Стараюсь заставить их работать согласованно. Но каждый новый подход осаживает грубостью напряжений. Дрожу под штангой. Ищу опору в спине. Ищу прежние движения. Должен найти себя в этих двенадцати разминочных подходах.

Смеюсь, разговариваю. Все вокруг гложет, теряет смысл. Ничего не слышу, кроме мышц. Жадно вслушиваюсь. Вижу себя в движении. Мышцами вспоминаю движение. Должен почувствовать вес. Должен быть мягким, чутким к каждому новому килограмму «железа», верно отзываться на каждый новый килограмм...

Придирчив к любой мелочи: положению ног, плеч, ширине хвата. Слежу за руками: все верно — как плети. Снимаю штангу только ногами. У колен «срабатывает спина». Прочие мышцы не должны мешать...

Восстанавливаю дыхание, брожу по залу. Всего двенадцать подходов. Должен найти себя. Должен успеть!..

Мышцы перегружены, но я пробую и пробую. Очень мало подходов, очень...

Траектория штанги обретает физическую реальность. Вписаться в нее всем телом, всей яростью, всей чуткостью усилий. Держу в памяти напряжения. Каждая мышца, отдав силу, должна отключиться, должна стать мягкой, не тормозить движение...

160

Мышцы не подчиняются. Я или опаздываю, или неточен в движениях. Но я методично включаю одну группу мышц за другой и пробую, пробую... Я уже не понимаю людей, не слышу вопросов, равнодушен к боли. Я перебираю мышцы каждым движением и в то же время предельно скупко расходую себя. Каждый подход определен, каждый жест под контролем. Я должен размяться, но так, чтобы всю энергию сберечь для четырех рекордных попыток...

При поражении нервной системы организм не способен на тонкую координацию и многочасовой контроль в соревнованиях. Выступление должно доказать: я совершенно чист и здоров. Должен быть чист и здоров!

Пот прошибает меня. Пьянею отчаянием. Мгновенным сумасшедше-горячим отчаянием. Во рту становится сухо. Руки слабнут и дрожат...

Допиваю кофе. Сердце занимает всю грудь.

161

Цорн передает наши команды организаторам выступления. Пока у меня есть время. Ян и Эвген пробуют рекорды — это искренний, но безнадежный азарт. Выпивка все же не прошла даром для Яна.

Всю эту закулисную жизнь я знаю наизусть. Я встаю, проаживаюсь — мышцы не смеют киснуть. Я держу себя в чуткости мышц. Передержки быть не должно. Возбуждение должно сработать в свое время. Сдерживать ярость, не задушить ярость...

Трещины в досках привлекают внимание, когда кружу по помосту. Украдкой позевываю — верный признак нервного напряжения. Думаю о том, что жизнь может только проверять, браковать, но не прощать...

Снова думаю о «железе». Мне бы не упустить гриф от себя. Штанга, не отклоняясь ни на сантиметр, должна скользнуть по всем изгибам траектории. Только так я уменьшу сопротивление веса.

А ярость? Еще рано, рано...

Я сажусь, закрываю глаза. И сижу, стараясь ни о чем не думать. Когда нужно, я отключаюсь, — этот прием отработан. Я остаюсь один. Кровь шумит в ушах. Расплываются очертания предметов. Во всем мире остается лишь мое горячее замускуленное тело. Бездумно жду, когда мышцы будут готовы к очередному подходу...

162

Последние подходы. Все так же не могу преодолеть свою раздвоенность с грифом. Он осаживает, выламывает суставы. Я чужой для штанги. Чужой для рекорда. Мышцы не верят моим словам.

Слышу крики из зала, тупые удары штанги, аплодисменты. Входит Мальмрут. Виновато пожимая плечами,

говорит: «Ян выводит штангу наверх, а удержать не может, попросил прибавить еще пятьсот граммов. Штангу взвешивают...»

«Значит, у меня еще минут пять»,— думаю я.

— У нас говорят: вытягивает штангу,— замечает Поречьев.— Не «выводит», а «вытягивает на прямые»...

Держу в памяти ощущение идеального движения. Ловлю каждое близкое к нему ощущение. Потряхиваю мышцами, приседаю, повторяю движение без штанги, а сам все глубже и глубже вхожу в строй старых команд, выверенных команд...

— На стимуляторах работает,— кивает на зал Поречьев.

163

Я нахваливаю Аальтонена, добротность шведской штанги, организацию последнего выступления. Сомнения прячу под шелухой слов.

— Аальтонен? — Цорн усмехается.— За налеты на Ленинград и Ладогу этот гуманист получил Железный крест и капитанские погоны. Тогда он вам не такие «фрукты» презентовал...

— Но это была война,— говорит Поречьев.

— Для кого какая,— говорит Цорн.— Для добровольца Аальтонена несколько иная, чем для других.

Имя Хубера ложится в тяжесть моих рук. Мышцы деревенеют.

— Следите за подходами братьев,— говорю я.

— В этот раз нас подождут,— говорит Поречьев.— Не уводи плечи в старте... Все в порядке. Я же говорил, будешь хорош. Тебя не узнать. Давно бы так...

— Будем доить силу,— говорю я.— Раз ее так много — будем доить.— Я присаживаюсь. Вытягиваю ноги. Поречьев быстро их обрабатывает.

— На поясницу растирки! — говорю я.— И на плечи. Побольше на плечи! Не тяните трико, сейчас расстегну... Вот здесь плохие мышцы. Еще растирки! И здесь еще!.. Сколько ждать? Когда?

— От нас зависит. Не волнуйся. Ребята прикрывают. Растирка мгновенно всасывается. Я горяч, очень горяч.

— Зачем тут многоточие? — ворчит Цорн. Он роется в газете. Мальмрут сообщил, что там статья о советской сборной, и Цорн ищет ее.

— Какие многоточия? — спрашивает Поречьев.

— Заметка о звезде нового ревью Нинон Онори. Весьма красочное описание достоинств, но зачем же многоточия, когда речь заходит о ее бюсте? Грешно ставить многоточие после слова «бюст»...

Я покачиваюсь под ловкими движениями Поречьева.

— Соберись в кулак,— шепчет Поречьев.

В комнату врывается Ян. Он что-то кричит Толю и незнакомым людям, которые вбегают за ним. Ян валится в кресло. Мутные капли пота пухнут на его лице, шее, руках. Спортивная полурукавка прилипла к телу. Ян говорит хрипло, бессвязно. Толь торопливо обтирает его полотенцем. Напряжения оставили свой след. Будто кто-то быстро и незаметно изменил пластику лица Яна. Очертил скулы, глазные впадины, укрупнил нос, иссушил кожу.

Мальмрут переводит:

— Господин Толь просит предупредить. У вас, господин Поречьев, несколько минут. Эвген там выполняет последний подход. Затем они снова заполняют паузы, но сейчас они кончили. Ваша очередь, господа.

— Спасибо,— говорит Поречьев.— Мы готовы.

— Ян согласен прикрыть паузу в одном из подходов. Между вашими подходами. У него еще одна попытка. Но если в этом есть необходимость. Он уже выложился, но готов помочь,— переводит за Толем Цорн.

Ян и Эвген понадобятся, если я сорвусь в первом и втором подходах. Тогда кто-то из них снова выйдет на помост пробовать свой рекорд. Я получу передышку — передышку больше трех минут, отведенных правилами. Ту передышку, которой у меня не было ни в Париже, ни в Лионе, ни в Тампере, ни в Оулу.

164

Мой черед! Великий черед! Прощаюсь с прошлым. Все оставляю в прошлом.

— Ну, сыграем еще раз роль атлета? — говорю я. Говорю так, чтобы слышал только Поречьев. И вдруг вижу и понимаю, что никто в том зале и вообще никто не поймет значения этих минут и всей моей жизни, моего «железа». Никто так не близок в мире мне сейчас, как Поречьев. Вздорными кажутся все недоразумения. Он мог бы уйти, не быть со мной, давно уйти, а он здесь.

Только он со мной! И он знает, какой я, что со мной, и все же здесь. Он мог бы давно уйти. Очень часто уходят, когда ты слаб или риск чрезмерен...

— Одомашим этот рекорд,— бормочу я.— Накроем, а?.. Все, что до сих пор загадывал, сбывалось. И это случается!

165

Затягиваю пряжки на штангетках. Застегиваю трико. Приглаживаю волосы. Приклеиваю улыбку к губам. Таким я должен быть перед публикой. В любом случае только таким.

«Побежденный, но ставший сильнее, чем был,— думаю я.— Сказано крепко. Даже воодушевляет. Но меня это не устраивает. Проигрыш исключен — ни одного шанса «экстрему»!..»

Вспоминаю Хубера, Риверса и всех ребят, кто жестко споткнулся. Их немало, этих имен. Поречьев обтирает меня полотенцем, кутает в халат.

«Экстрем»! Узнаем, кто же прав,— думаю я.— Сейчас узнаем. Через две минуты узнаем. До сих пор я не имел возможности отвечать!»

«Экстрем»! Сейчас познаю все милости неизвестного...

Имя мое гремит по трансляции. Судья-информатор требует установить на штангу мировой рекорд. Голос его тонет в реве. Этот топот и рев делают меня очень легким. Я улыбаюсь. Слежу за каждым своим жестом. Мышцы вздрагивают, волнуются.

У меня маленький запас времени — штангу уносят на весы. Крохотными дисками подгоняют вес под рекорд.

Длинный сумеречный коридор.

— Ты готов! Разминку провел отлично,— шепчет Поречьев.— У нас четыре попытки.

Урхо Нильсен и полицейский расчищают дорогу. Слепительным пятном надвигается выход на сцену. Там глухой рев. Тысячи людей требуют меня. Ждут мою силу...

— Будь мужчиной! — слышу я последние слова тренера.

Отгораживаюсь от мира. Не верю другим чувствам. Отказываюсь от других чувств. Отрицаю право других чувств. Забываю о всех. «Не спеши», — твержу я.

Расхаживаю по сцене. Я должен привыкнуть к свету, присмотреться к «железу», вспомнить и отдаться до кон-

да высколенной ярости. Стараюсь уловить чувства первого усилия. Не вижу зала. Не вижу судей. Не вижу штанги. Мысленно выщупываю гриф. Прилаживаюсь к грифу. Уже слышу это усилие. То главное, нужное усилие! Мощь этого усилия! Слышу все усилие! Весь открыт этому усилию! Предан ему. Вот оно! Вот! Есть! Есть!

Я ступаю на помост. Растираю подошвами канифоль: в посыле должны застопориться ноги. Немного канифоли втираю в большой палец. Кручу гриф. Вращается легко, не клинит. Вымериваю хват.

Ничего не вижу, ничего. Стыну в белых мгновениях испытания.

166

Я очень ленив в движениях. Я нависаю над грифом, размеренно складываюсь в пружину. Если сейчас не возьму вес, то уже не возьму никогда. Я слишком загнан. Если меня и хватит, то только на эту попытку. На единственную попытку. Может быть, еще на одну, но не больше.

Проверяю ногами опору. Захватываю гриф в «замок». Холодок грифа, тонкость грифа, упругость грифа — это как удар! Несколько мгновений выжидаю.

Выключаю локти. Расслабляю руки. Обтягиваюсь. Это первое ничтожное напряжение. Им проверяю готовность всех мышц...

Только бы не дернуть гриф. Только бы снять спокойно, а все остальное — это уже не я. Ярость и вызубренность тысяч тренировок поднимут «железо». Важно задать правильный ритм.

Я отрываю штангу. Я ненавижу эту тяжесть, которая вдруг сделала все суставы острыми, обозначила все связки. Будто кто-то натянул во мне железные струны. Сжимаюсь. Живот становится твердым. Рот съезжает куда-то набок.

Гоню вес. Не верить тяжести! Руки как плети! Не сковать руки... Раздавлен тяжестью, преодолеваю тяжесть...

Упираюсь ногами в помост. Лицо разбухает. Я глохну. Я должен сохранить согласованность движений. Откидываю голову и плечи назад. Включаю в работу руки. Привстаю на носки. Отдаю движению всю энергию мышц, даже самых ничтожных мышц. Вот этот единственный момент! Я иду под штангу. Я должен обогнать

штангу. Уйти прежде, чем она потеряет скорость. Пока она по инерции движется вверх, я должен уйти в «сед». Успеть поймать гриф грудью! Все должно состыковаться в мгновения.

Я даже немного обгоняю вес и ухожу ниже — удар сокрушительен и вырывает у меня стон. Вставать! Вставать немедленно! Я ползу вверх. Внутренности комкает судорога. Я стянут напряжением. Я один раскаленный мускул.

Главное — не клюнуть корпусом. Ноги распрямляются медленно, очень медленно. Я работаю на закрытом дыхании. Отравляюсь кровью. Слепну. Теряю себя. Слышу только свои мышцы, ловлю опору. Мир неустойчив. Весь мир в качке.

Ноги вытаскивают «железо». Не подвели! Должен стоять прямо. Коротко ловлю губами воздух. Сотни килограммов перекрывают на шее вены. Наливаюсь силой, и тут же меня обволакивает какое-то кипящее варево. Шок! Должен успеть обогнать это беспамятство. И я бью гриф грудью, ногами, руками — слитный удар всех мышц! Всей яростью мышц проталкиваю гриф вверх. Под гриф проваливаюсь быстро, вслушиваясь в равновесие, смыкая лопатки на спине. Исправляю неточности, осторожно составляю ноги. Не потерять вес в эти последние мгновения.

Теперь стою. Надежно стою. Так...

Нужны пять, семь секунд надежной фиксации — тогда Бреннер даст команду. Жду. Теряю сознание и жду!..

Слабость уже начинает свою болтанку в плечах. Слышу этот угрожающий дребезг маленьких дисков на грифе, нарастающий дребезг — дрожь моего тела. Сейчас потеряю равновесие, еще немного и потеряю... Стоять! Стоять!

И я слышу команду «есть!». Бреннер снова и снова повторяет ее — значит есть. И я разрушаю всю опору из мышц. Опускаю штангу против правил, просто роняю. Кровь, как вал, катится по мне. Не отпускаю гриф. Сажу на корточках, чтобы не упасть. Жду. По крику, который прорывается сквозь гул, догадываюсь — рекорд мой!

Еще никого не вижу, но раздвигаю губы в улыбке — это тоже из опыта выступлений. Улыбаться всегда, даже если едва жив! Никто не должен знать цену победы. Губы такие тяжелые — не расковать. Я вижу весь зал, все подробности зала. Я улыбаюсь всем глазам.

Я не думал, что риск — это долгое чувство. Это много мгновений четкой рассудочной работы. Передвигаю рычаги своих чувств. Заканчиваю игру.

167

Я стою на весах перед всем залом — обязательная процедура после каждого рекорда. Уго Бреннер набирает мой вес. Я в ржавчине мужских поцелуев. Я обнажен, лишь узкая полоска плавок на моем теле. С любопытством разглядываю себя. Весы показывают, что я потерял еще три килограмма. Я весь в крупных рельефных мускулах. Мне нравится этот костюм из мускулов. Сидит совсем недурно.

Где же Поречьев? Я кручу головой, но нигде не вижу своего тренера.

Тысячи людей у рампы.

Ощущаю пустоту. Всю боль отдал победе.

Седоватая голова Цорна маячит за Бреннером.

Сотни рук с листками для автографов тянутся ко мне. Господин Яурило поздравляет меня. В глазах старого гуляки веселье.

Я смеюсь, вспоминая слова Эйнштейна: «Господь бог изощрен, но не злобен...»

Жизнь! Дорог каждый миг! Зову жизнь!..

168

Уехали судьи. Поздравили меня и уехали Ян, Эвген, Яурило, Толь, Нильсен, Аальтонен, Мальмрут. Цорн ждет меня у подъезда в «мерседесе». А я все не могу себя заставить оторваться от душа. Я наслаждаюсь то прохладной, то теплой, то горячей водой. Не надо думать о рекорде. Во всяком случае, теперь не надо. Наслаждаюсь покоем, свободой. Никому ничего от меня не нужно. Пока не нужно...

Закрываю воду. Обтираюсь простыней. Вхожу в раздевалку. Поречьев, закрыв лицо руками, стоит у окна. Он как-то нелепо вздрагивает всем телом. Плачет! Тычется в руки лицом и плачет!..

Я стою тихо, почти не дышу.

Я никогда об этом не думал, но вдруг начинаю понимать, что ему, как и атлету, тоже есть свой предел. Да, настоящему тренеру, как и атлету, есть свой предел!

Поречьев изнашивал себя в поединках так же, как я. Все мои болезни и сверхнагрузки прокатились через него. Он не в состоянии больше выдерживать напряжения борьбы, нового уровня борьбы. Он исчерпал себя. Его бравада — лишь насилие над собой. Та запись в тетради — это не мое — его отчаяние. Нет больше Поречьева, которого я знал. Больше нет!

Что ж, дальше мне идти одному!

Я на цыпочках возвращаюсь в душевую. Потом, на-свистывая, иду в раздевалку. Поречьев выпрямился, но стоит ко мне спиной.

Я слышу шаги в коридоре. Это Цорн. Ему надоело ждать.

169

После соревнований я обычно не сплю.

Я сижу перед окном. Город в странном белом оцепенении. Последняя ночь моего турне. Утром в девять отъезд на аэродром.

Справа за окном в бледновато-молочных сумерках шпили старой кирхи. В небе слабые борозды далеких облаков.

Позванивает звонок лифта в коридоре.

На стульях, кровати, столе разбросаны сувениры, книги, журналы, спортивное трико, бинты, майки, галстуки.

Губы простуженно вспухают. Значит, не уберегся. И все же повезло: успел выступить раньше...

Ладони, стертые насечкой, сухи и горячи. Саднит шею над яремной ямочкой — там насечка стерла кожу.

Свожу счеты с «экстремом».

У ночей свои законы, своя речь, своя страсть. Даже у белой ночи...

Нет встречи опасней, чем с самим собой. Никогда не сказать всего, что слышишь в эти часы. Ночами легко потерять себя. Ночь по-своему складывает все слова. В длинные ночи приходят люди, судьбы, смыслы. Ночь умеет не забывать ничего.

Размышляю о своих ошибках, об «экстреме», будущем своей силы.

В определении цели возможна ошибка. Но цель существует и вне определения. Цель есть всегда. Ее нельзя отнять. Она выше неудач и любого приговора.

Борьба есть конструкция жизни. Ее целям должна со-

ответствовать организация воли и нервная выносливость. В этой гармонии цели, воли, энергии нервов — способность вести борьбу. Нервная система человека не есть нечто неподвижное от природы. Она поддается изменению и тренируется. Умение вести борьбу предполагает прежде всего иное отношение к себе, понимание существа этого иного отношения и систему практических мер. Не «экстрем» разрушал меня, а незнание природы борьбы вообще. Не эксперимента, как частного, а вообще. Я не имел представления о законах того, что должно сопутствовать борьбе, соответствовать борьбе и является объективной реальностью.

В воле отсчет времени. Никогда ничего не поздно и никогда ничего не рано. Не оглядывайся! Не измеряй свою судьбу чужими словами. И помни: боль — негодное доказательство!..

170

Я открываю окно. Присмирившие брошенные улицы. Забытые дома. Неоновый покой витрин. Громко, очень громко раздаются шаги прохожего. Чувствую движение прохладного воздуха. Воздух нежно дымчат.

Слышу смех, стук автомобильных дверц. Двое мужчин и две женщины идут к подъезду гостиницы за угол. Потом один из мужчин возвращается и запирает автомобиль. Напоследок он дергает багажник и дверцы за ручки и торопливо направляется в гостиницу. Полы его куртки расходятся. Он на ходу расчесывает волосы.

Случайные голоса будоражат одиночество этой белой ночи.

Пulsируют желтоватые жала дальних огней в белых сумерках. Я не чувствую себя усталым. Ощущаю тоску по прошлому, по всему, что становится прошлым.

171

Неужели все это было? И я был таким? И чувствовал так? И неужели все это было так?..

...И свет голой электрической лампочки. И скрипильные половицы. И помятые сонные физиономии хозяев избы, в которой ночевал и в которой с вечера пили водку пришедшие охотники и парно до удушья и росы на стеклах нагрели дыханием и табаком. За дверью еще возня то-

ропливых и бестолковых после изрядной выпивки сборов, а ты ошеломлен звездной немотой ночи. И воздух этот, прокаленный стужей, будто далекое славное воспоминание. И вдруг тоска по этой жизни, забытой ради суетливых будней города.

А ночь уже тронута синевою. Из бесформенных пятен складываются обыкновенный плетень с чугушками на кольях, сарай, корыто посреди двора или банька за огородами. И в соседней избе вдруг загорается жиденский огонек.

И явственнее синева, уже розовеющая на востоке, хотя земля еще темна и неразборчива под ногами. И молчаливый ходкий шаг за проводником. Тепло согретого движением тела и забота угадать верный шаг, не оступить. И опять внезапный наплыв щемящей тоски по этой жизни, минующей тебя. Жизни, из которой ты захвачен другой жизнью. И родной, близкой представляется эта забытая жизнь.

И этот долгий путь в упор за проводником, когда чувствуешь, как непосилен тебе обычный шаг этого человека, как неловок и неуклюж ты и ненужно тепло одет. Прочная тишина вокруг и в этой тишине разбавленнее синь ночи и слабо начинает играть заря по кромке неба. И земля по низине податливее под ногой. И уже понимаешь, что здесь по-болотному сочна и высока трава и не взята косами. И по сторонам неразборчиво темен чапыжник и лозняк. И вдруг угадываешь в светлых отсветах зари черные зеркала плесов. И погода замечаешь везде эти плесы, ленивую дымчатость воздуха над плесами, плеск рыбин. И неожиданно слышишь, как хрипло покрякивают утки. И узнаешь низкое хрипловатое «шварканье» матерого селезня. И в истоме замирает сердце.

Звезды меркнут, гаснут, тонут. И подсвет, ровный и одинаковый, обеляет воздух, хотя на земле еще густая темень. И я проклинаяю компанию охотников, из-за которой мне кажется, мы упускаем зарю и утка снимется до того, как мы выйдем на место.

Воздух по-ночному недвижим и обжигающе свеж испарениями воды. Холод выморозил комара.

Под сапогом нет-нет, а хрустнет ледок. Розоватость вдруг обозначает воду. И со всех сторон по заливчикам и бочажкам охватывает тебя розовеющее зеркало воды. В плесах смутное движение каких-то плавающих кочек. И тишину внезапно оглашает яростный звон воды — это

утка разминает крылья. И уже румяное свечение всего воздуха, отчетливая розоватость заводов. И замечаешь рябь от этих плавающих кочек.

Высоко в небе залегает белизна рассвета. Проступает из мглы седоватая изморозь травы. Седая накипь стужи.

И снова какое-то узнавание этого мира, близости этих подробностей, которые были твоими и которых после лишился в важностях иных забот. И неожиданное осознание близости этой жизни, принадлежности ей и несправедливости отказа от нее.

Воздух перебирает краски. Раздвигаются плесы, сливаются за тростниками с матово-белым зеркалом большой воды. И крики уток нетерпеливей, и уже срывается одна из них. И слышишь вибрирующий посвист крыльев, а птицу не замечаешь, хотя по быстроте уходящего звука опознаешь чирка. И от этого начинаешь горячиться и клясть судьбу, которая всегда с тобой несправедлива и лишает тебя вот такой чудесной возможности слиться с ружьем в короткой стремительной «поводке». И видеть, как на стволах вырастает черный силуэт, а потом разглядеть напряженно вытянутую длинную шею и частые частые удары крыльев...

А покрики уток чаще, настойчивее. И цепенеешь в ожидании, когда они забьют крыльями и одна за другой взлетят в зоревом рассвете. И до рези в глазах стараешься определить по крикам, откуда они начнут подниматься и как пойдут. И, встав поустойчивее, ждешь их. А сам дивишься сменам красок и затейливой белизне прокаленной морозцем травки. А в памяти еще немота ночи и россыпи звезд. И вдруг слышишь хлопанье крыльев, кипенье воды, свист крыльев и высматриваешь плесы. И эти первые птицы уходят незамеченными.

И, боясь прозевать птицу, нетерпеливо сбрасываешь под ноги снаряжение, чтобы увертливее распорядиться ружьем. Еще не остыл после ходьбы — воздух опалает. И кажешься себе рыхлым и неуклюжим под этой зарей, проблесками звезд и стаями скворцов — они накрывают тебя сухим треском крыльев. И камышовки, вцепившись крохотными лапками в стебель тростника, покачиваясь, пристально разглядывают тебя. И ты различаешь оливково-буроватое оперение грудки и крылышек, светлые полоски над глазками, характерно вытянутую головку, отчего у птички чрезвычайно любопытствующий вид. И, отлетев, она тут же продолжает свою песню — беспо-

рядочный набор песен других птиц. И я долго слышу звуки песен варакушки, зеленушки, щегла, кваканье лягушек...

И уже табунок уток будоражит тишину. И в сознании одна страстная мольба, чтобы они не миновали, прошли над тобой, и что ты не можешь быть таким несчастным и какой-то табунок все же завернет на тебя.

И ты замечаешь этот табунок. Клинышком он на-двигается на тебя. И ты перестаешь ощущать себя. Самое важное — выждать. Не сорваться на преждевременное движение. Утки уловят ничтожное шевеление и круто отвернут. И ждешь, когда они подойдут. Кажется, они так близко, а на самом деле дробь еще не достанет. И строен клинышек этих птиц. Резко и сильно режут они воздух. Озноб опалает. И тогда распрямляешься. И когда вскидываешь ружье, видишь, какого цвета оперение. И узнаешь кряковых, или чирков-свистунков, или связей, или северных чернятей. И свист крыльев сумасшедше близок. И эхом бежит по воде первый выстрел...

172

Я наслаждаюсь мускульной усталостью. Она особенная. Она делает каждую мышцу ощутимой и крупной. Крохотные волоконца представляются мне очень прочными. Я понимаю, что невозможно измениться за несколько часов, но ощущения перемены настолько явственные, что опробываю, глажу мышцы. Я радуюсь им. Это знакомое состояние, очень знакомое, но всякий раз я радуюсь. Я опьянен усталостью могучих напряжений. Верных моей воли напряжений. Мне кажется, я очень юн, свободен и мне никогда не будет износу.

Я ощущаю, какой крепкий и гибкий у меня позвоночник. Болью воспринимаю обилие своих мышц. Я наслаждаюсь воспоминаниями слитности напряжений, послушности мышц. Я лежу на спине, раскинув руки. Вспухают натруженные мышцы. Я отжат тяжестью этих мышц. Я вздрагиваю в такт мерным толчкам сердца.

Да, да, за всем этим победа! Победа — вечная, желанная цель и счастье моей жизни. Без нее я мелок, скучен, бесцветен и не нужен даже себе. И мне мало, мало «железа»...

Я не спеша бреюсь. Разглядываю себя. Бледное иссушенное лицо. Брови скошены над переносицей. Тени на щеках, в уголках рта, под глазами. Вытираю лицо. Свет горит только в ванной.

Предметы в моей комнате парят. Приглушенный свет размывает линии. Брожу по комнате. С удивлением разглядываю комнату.

Сыро и студено дышит ночь.

Возвращаюсь к окну. Вглядываюсь в ночь. В небе уже свечение рассвета. Чуть слышно шумит кондиционер. Выключаю его и снова возвращаюсь к окну. Везде стройные белые сумерки.

Каждое мгновение покорно отдает себя мне. И шум автомобилей — они проносятся, повизгивая у поворота тормозами, ложась и раскачиваясь на амортизаторах, отражения чертят слабые полосы в лаковых крышах и капотах, — и перезвон лифтового звонка, и голоса людей, очень звучные в тишине, и гряды острых крыш, и контуры деревьев, и непривычный простор и одиночество улиц, и спокойное свечение этой ночи — все мое и все для меня...

На полу сумка с бутылками. В этот раз я заранее побеспокоился. Я много и часто пью. Скрипучие твердые мышцы выкладывают тело. Движение штанги обозначило свой путь во всех мышцах.

Ловлю себя на том, что разминаю связки, узлы, крепления. Отжимаю ладонями воспаления.

Деревья выступают из сумерек — черные древние стволы...

Мне чудятся горьковатые запахи осени. Любимая мной пора ненастья. Я привязан к этой нежной слабости природы.

Осень — я опять смогу в одиночестве блуждать по улочкам родной Москвы, навещать пустые парки. Покинутые парки. Смогу бродить по ковру желтых листьев, дышать осеннею горечью.

Листопад, вороха листьев, шорохи дождя — в каждой подробности ласковая грусть.

Слезы осени — белые дрожащие капли на ветвях, земля, окропленная росой, мокрые дорожки на окнах, палые листья в лужах и ручьи, ручьи...

Леса в туманах. Поля в туманах. Улицы в сумрачных неподвижных завесах...

Бледная прозрачная желтизна лип. Восковая желтизна на кленов. Гроздь красных ягод на обнаженных гибких рябинах. Покоробленный ржавый и дырявый лист на яблонях. Звонкое теньканье больших зеленых синиц. Торпливые наборы москочков. Милый серебристый щебет свиристелей. И донага раздетые леса. Стройные, светлые, чистые леса, пронизанные светом. Неподвижность, простор, тишина леса. Покорность леса...

И бледные вымороженные рассветы зябких голубоватых дней, отравленных настоем запахов. Беззвучные раскаты чувств — увядание лесов.

Скудные зори. Ломкие сухие травы. Усталость и мудрый покой окошенных лугов.

Дымы. Гнусавый вороний покрик. Колючие студеные ветры. Хороводы жестких листьев. И огни, ранние огни в домах. Огни расставаний, огни, огни...

Все это возвращается ко мне. Становится моим. Будет моим. И ждет меня...

175

Самой дорогой фантазией моего детства было летать — я очень хотел летать. Нет, я не представлял эти полеты в планере или самолете. Я мечтал летать, как летают птицы. Чтобы ничто не отделяло меня от воздуха и я, управляя полетом, управлял бы своим телом. Я так подробно и ярко представлял это движение в воздухе, что потом оно снилось. И в своих детских снах я летал именно так: только я и воздух. Я один в воздухе, и ничто не сковывает и не ограничивает меня.

До сих пор я жалею о тех снах. Завидую тем снам. Не расстался с мечтой тех снов.

Я лежу с открытыми глазами и вижу все те детские сны. Я бросаю свое тело в воздухе. Я ложусь на воздух. Я подминаю воздух руками и поднимаюсь выше, выше...

176

— ...Ни о чем не спрашивай, милый,— шепчет Ингрид.— Не спрашивай, кто я, откуда и почему продаю свои песни. Дай губы. Я очень хочу, чтобы ты любил меня. Не выдумывай любовь, а люби, милый. Разве слова

истинны?.. Какие у тебя губы! Никогда не думала, что мускулы могут быть бархатными. Ты очень сильный. Но ты нежный. Твоя сила обманывает нежность... Ты потерял себя, потому что хотел забыть нежность... Какие у тебя руки! Ты нежен, как ресницы. Почему ты забыл нежность? Ты весь из нежности. Не думай, что я колдую словами. Зачем ты убил нежность в себе?.. Я задохнусь! Чувствуешь, мое тело не лжет. Ты счастлив своими мыслями и делишь меня с ними, да? Ты что-то нашел и любишь это, но ведь я не «что-то», милый. Забудь свои мысли, забудь, даже очень счастливые, забудь... Я сейчас, я очнусь... Разве я плачу? Господи, я в самом деле плачу! Я буду очень тихо плакать. Ты молчи. Лучше всех слов, когда молчишь... Лежи, лежи... Я хочу руками запомнить тебя. Как вздрагивают глаза под пальцами! Какие у тебя плечи! Глупый, спрячь свои глаза. Если очень больно, если очень хорошо, все равно спрячь. Каждый прочтет. Береги правду своих глаз... Губы, губы... Ты, оказывается, умеешь говорить губами. Ты безумен, милый. Не бойся быть безумным. Как удобны твои руки!.. Не обманывай себя — ты всегда будешь один, ты обречен на одиночество. Нет, ты будешь любить, но ты не найдешь своей женщины. Может быть, это и есть счастье... Но молю: целуй меня, целуй! Не жалея меня! Еще, еще... Ты губами берешь все мои болезни. Я измучилась подлогами чувств. Маленькие уродцы любви доказывали, что они и есть та самая единственная любовь. Я ждалась, милый... Как припухли твои губы! Странно: я всегда была твоей, принадлежала тебе, а мы были далеки. Сколько же надо пройти, чтобы найти друг друга! Не прячь руки. Как бережны твои руки! Я не задохнусь. Это мое сердце сбилось со счету. Оно все перепутало... Я не надоела тебе? Это счастье — оно всегда придумывает глупые слова, ему нужно много глупых слов. Сколько же у тебя рук! Милый, милый... Ты нежен. Все твои руки — нежность. Ты сведешь меня с ума. Лежи спокойно, не шевелись... Губы научились лгать, а руки... Я верю памяти рук. Всего тебя обласкаю. Еще раз тебя узнаю, еще раз... Я больше не стерегу себя, нет. Я привыкла стеречь себя. Ты знаешь, как бьют самые обычные слова? Ты утопишь меня в своих руках. Где ты нашел столько рук?.. Я знаю, твоя любовь, как белый снег. В снегах всех белых зим буду узнавать тебя. Не слушай рукой это сердце — оно сошло с ума, милый... Разве я плачу?.. А я ду-

мала, у меня нет слез... Всего тебя слышу. Я вернула тебе нежность? Скажи, вернула? Ты очень нежный. Ты оболгал себя своими правдами. Ты забыл нежность... Я уняла боль? Тебе по-прежнему больно? Нет, ты признайся, я вернула тебе нежность?.. Вот так... Ты чистый, ты весь в горячем белом снегу. Ты дрожишь. Я слышу тебя всего... Глупый, ты жизнь расчертил на пути к победам, на победы... Как же потом станешь рассказывать о жизни? Траву, иней, рассвет, озерную рябь, губы, слова станешь объяснять формулами? Оглянись, какая ночь за окном. Белая тишина... Забудешь меня? Будет падать белый снег, знай — это я... Формулы одаривают тебя жизнью? Тогда напиши на солнце хоть одну формулу. Напиши, а?.. Какие у тебя руки! Ты так близок и так далек. Не отпускай меня, не отпускай! Не спрашивай! Ничего не спрашивай. Потом, потом. У меня много слов. Вся жизнь откладывала их... Наше последнее утро. Рассвет белее снега... Не улыбайся, забудь формулы. Слышишь, это моя жизнь входит в тебя? Волосы — я совсем в них запуталась. Правда, как перья совы? Улыбаешься. Не веришь. А я сова, настоящая сова. Я прилетаю ночами. Нравлюсь? Очень хочу тебе нравиться. Нет, мне не холодно, не накрывай. Люблю ночи: никому нет дела до тебя... Вот так. Подожди, я больше не могу, у меня нет сил. Я только засну немножко, на полчаса. Ладно?.. Хорошо, когда ты смотришь. Почему ты решил, будто мне стыдно, когда ты смотришь? Смотри... Я истосковалась без тебя. Ну накрой меня снегом своих глаз... Я не люблю книжные мудрости. За ними изощренный обман, трусость, слабость. Но в одной старой книге я вычитала слова о себе самой. Люди и души идут разными путями. Нельзя вернуть сердце и показать в свое оправдание... Слышишь, где-то бьют часы? А раньше я не слышала их... Не улыбайся. Что из того? Я тебя перекрестила... Глупый, я не Ингрид. Сейчас с тобой сова. Люди привыкли спать ночами, ночь отдают снам. Ночами все их слова можно разглядеть. Когда все спят, совы читают их неподвижные слова, боль или фальшь слов. Я очень явно почувствовала и прочитала твою боль. Воздух ночей прозрачен...

Я наклоняюсь к Ингрид: спит. Теплое дыхание шевелит мои волосы. Белое утро выдает нас.

Часы заботливо напоминают о времени. Через пять часов я уеду. Ингрид станет чужой. Чужой?!

Я смотрю на нее. Я хочу запомнить ее, запомнить...
Я провожаю жизнь. Я встречаю жизнь. Ошибки и боли всех дней согреты началом новых целей. Целей, которые нельзя отнять.

Мелодично бьют часы за стеной.

Я поднимаю голову и вдруг вижу, как внимательно и строго она смотрит на меня.

— Ты почти не спала, Ингрид. Еще есть время.

Она молча прижимается. Я осторожно беру ее волосы и откидываю ей на плечи.

— Наша любовь, как бродячая собака,— шепчет она.— Ей теперь плутать всю жизнь.

Глаза у нее большие. Я закрываю эти глаза губами.

— Тебе действительно хорошо? — шепчет она.

Запах ее кожи — это все мои потерянные шаги. Ее губы, высокие ноги и груди, напрягшиеся от ласк, и серые выцветшие от ласк глаза. Ночь покорно отдает ее...

— Скажи, сова, что будет завтра?

— Молчи, притворись немым.

— В какой луне ты теперь вернешься, сова?

— Луне?

— Так на Востоке отсчитывали время. Это было давно. Тебе холодно, Ингрид?

— Притворись немым, милый.

Снова я ничего не вижу, кроме больших глаз Ингрид.

— Робкие становятся смелыми — сказано хорошо,— шепчет она.— В настоящем чувстве именно так...

Я слышу ее всю: от груди, оплывающей под моими мускулами, и до сильных ног, которым, кажется, не будет покоя. Я слышу бессвязное бормотанье. Я ласкаю это бессвязное бормотанье. Мы тонем в горячем снегу. Я задыхаюсь всеми словами...

Я осторожно освобождаю маленький крестик из пучаницы волос.

— Ты будешь жить долго,— шепчет она.

— Это очень важно — жить долго?

— Я хочу, чтобы ты жил долго.

— Ты улыбаешься, Ингрид?

— Ты уверял, что нельзя обмануть время, а я обманула. Я стану старой, буду некрасивой старой птицей, а в памяти останусь той Ингрид из белой финской ночи. Смотри, милый. Ласкай, милый. Мои губы всегда будут ждать тебя, целовать и ласкать тебя...— Она прижи-

мается щекой к моей щеке. Ее груди вдавливаются в тревожную жесткость моих мускулов.

— Милый,— шепчет она,— кто лучше, я или эта белая ночь?

Плотина моих мускулов не может справиться с нежностью. Ингрид совсем теряется в них. Горячий снег накрывает нас...

— Мы с тобой из этой ночи,— шепчет она.— Мы заблудились в белой ночи. Задыхаемся этой ночью...

177

Ночь громадна. Все тонет в белой ночи. И шорохи ее громадны, и удары сердца и путаница светлых волос.

Переливаю руками ее волосы. Самые звонкие ручьи — светлые пряди. Губы Ингрид мягкие и настойчивые. Ее ласки стерегут меня. Не знал, что ласки — это большие, светлые птицы.

178

И все уже только память. Вся жизнь для того, чтобы стать памятью. Избегаю оглядываться. Я не умею оглядываться. Прошлое — это единственное, что остается вне моей воли. Это моя единственная покорность. Покорность перед тем, что уже стало памятью.

179

В полусне вижу окно и странную северную ночь. Она уже растворена утром. Распадаются тени. Шторы ярче. Мой рассвет, мой!

Сколько же я ждал этот рассвет!

Рекорд Торнтона в жиме я снял на соревнованиях в Москве. При этом я не испытывал каких-то особенных чувств. Я был хорошо подготовлен. На тренировках брал веса, которые давали мне уверенность в успехе. Прежде чем снять рекорд, я всегда поднимаю результаты во вспомогательных упражнениях. Потом осваиваю эти новые веса и делаю их рабочими. Конечно, все сложнее. К этим новым весам во вспомогательных упражнениях я тоже готовлю себя. Да и сам захват новых весов предельно напряженный этап. Надо ломать свою силу, приучаться к новой нагрузке. Новые веса никогда не бывают ручными. В эти тренировки нужно вгрызаться.

Тренировочный сезон я потратил на освоение новых весов в жимах лежа, из-за головы и широким хватом с груди. Потом сезон я потратил на перенос новой силы в тренировочные веса классического жима. В общем-то все было рассчитано и должно было получиться. Я не сомневался в успехе. Но вымотался я изрядно. И очень досталось позвоночнику. Все жимы, кроме жима лежа, нагружают спину. В поясничном отделе был изможен каждый позвонок. При ходьбе я ощущал этими позвонками каждый шаг. Меня выручали мышцы спины. Они как бы вывешивали каждый позвонок в отдельности, сохраняя мне свободу движения.

Когда я прочно зацепился за новые тренировочные веса в классическом жиме, рекорд уже был мой, но я поработал еще сезон. Я не хотел улучшать рекорд на пятьсот граммов. Я решил сразу продвинуть его килограммов на пять. Потом я прошел предсоревновательный цикл. Около двух месяцев я выводил себя из нагрузок. В этот раз я выводил себя из всех нагрузок, в том числе из нагрузок для темповых упражнений. Это был рекорд великого Торнтона, и я хотел снять его без надрыва, легко и непринужденно. Потом Поречьев выискал соревнования, которые вписывались бы в наш график. Это были соревнования между высшими учебными заведениями Москвы. Они соответствовали рангу, необходимому для фиксации рекорда. Потом Поречьев договорился с судьями международной категории.

По правилам у меня были четыре попытки. Я решил сберечь все четыре для рекорда. На разминке я выжал начальный вес. Я вы-

жал его тяжело, и сомнения обожгли меня. Поречьев запретил мне снова подходить к штанге.

— Теперь все сделаешь в зале,— сказал он.

Я знал, что на публике всегда работаешь по-другому, но тяжесть веса, выжатого на разминке, так и осталась в мышцах. Когда объявили, что я попросил установить вес на пять килограммов выше рекорда великого Торнтонна, зал ответил стоном. В тот вечер все, кто любил «железо», были в зале. Я не скрывал, что буду пробовать рекорд. Я не хвастал. Я говорил, буду пробовать, есть сила...

Я старался вызвать ощущение легкости. Я проделывал привычные движения, настраивая себя. Поречьев легонько потряхивал мышцы плеч.

Я вышел в зал, увидел, что часть публики бросила места и сгрудилась вокруг помоста. Кто-то крикнул, увидев меня, и в толпе образовался узкий проход. Я уже терял связь с миром. Я все глубже и глубже окунался в ощущения мышц, будущих напряжений и точной схемы движения. Оно волнами прокатывалось через меня. Я проигрывал его своими мышцами от старта до фиксации веса. Зал с людьми расплылся в какую-то серую зыбкую пелену, из которой на меня вдруг смотрели чьи-то глаза, появлялись чьи-то руки и кто-то называл мое имя или вырывались отдельные слова одобрения. Я видел только штангу и Поречьева.

Потом я услышал грохот. Это публика в зале вскочила на кресла. Фотовспышки ударили мне в глаза. Я подавил раздражение и снова погрузился в ощущения «железа» и мышц.

Я знал, что успех определяют два старта: старт в «низком седе» и старт при судейском хлопке.

По сравнению с толчком у меня был большой запас для захвата веса на грудь. Но для жима мне нельзя было разбрасывать ноги в полете. Тогда они принимали различные положения, а жим может быть выполнен только из строго определенного положения. Одного положения. Поэтому я сразу поставил ноги в то положение, из которого потом в стойке буду выжимать вес. Это усложнило задачу. Я уже должен был работать почти без подрыва.

Я расставил ноги в жимовой стойке. У меня с трудом хватило длины рук захватить гриф. Руки в локтях почти легли на колени, и я погрешил против идеального движения, чуть согнув их.

Потом я согнул поглубже ноги и опустил таз. Это был почти толчковый старт. Я ввел в усилие ноги, заранее обрекая движение на пониженную скорость. Но мне и не нужна была высокая скорость. Я выполнял не рывок.

Я проверил захват. И весь вошел в тот мир ощущений, который нес с собой, который сразу занял меня и вдруг проявил, обозначил

все мышцы и путь каждой мышцы. И когда я услышал этот миг, я тронул штангу. Я услышал, как она зависла на руках. Положение было хрестоматийное.

Я мгновенно услышал все мышцы — все состыковалось и соответствовало канонам. И я врос в мягкий полуподрыв. Я знал, успех зависит от места грифа на груди. И постарался повыше вытащить гриф. Он вдавился в горло, сняв насечкой кожу. И лег за ключицами. Выводить его на грудь в этом положении нельзя. Я вряд ли бы тогда хорошо встал с «железом».

Я уперся ногами и выпрямился. И я возликовал. Это было одно из немногих чувств, которые воспринял мозг. Он был приучен лишь к строго определенному набору чувств. Но это чувство победы он сразу послал в мышцы.

Я еще не совсем выпрямился. Я продолжал отводить грудь для старта и напрягал поясницу. И в этот момент я перевел гриф из-за ключиц на грудь. Я зафиксировал его под самой яремной ямкой. Это было положение, в котором штанга лежит достаточно высоко, чтобы руки сняли вес, не загнав вперед. Локти были параллельны туловищу — я это сразу проверил. И я не позволил себе окаменеть в старте, как это делал прежде. Я совершенно незаметно для глаза продолжал осаживаться. Мышцам всегда тяжело начинать движение из статичного положения, и я не давал затухать движению. В то же время судья не даст команды на выполнение жима, если заметит, что я не стою неподвижно. Никто не мог заметить, а я продолжал отводить плечи. И когда ударил хлопок, я снял штангу с груди. Я не выпускал из сознания контроля над коленями и поясницей. Колени должны быть скованы и ни в коем случае не «гулять», то есть сгибаться. И я не должен был упустить напряженности поясницы: опора в пояснице! И в то же время звено поясница — колени должно быть подвижным и обеспечивать максимально возможное совпадение центров тяжести моего и штанги.

Я контролировал траекторию движения штанги. Я не давал кистям выбить гриф и следил за приближением мертвой точки. Около лба штанга теряет начальную скорость — здесь отключаются от усилия многие мышцы и надо успеть как можно выше продвинуть штангу, чтобы новые группы мышц смогли подключиться к усилию.

И я все время помнил о ступнях. В жиме нельзя отрывать ступни от помоста — вес не будет засчитан. Я все время колебался, удерживая равновесие. Колени были скованы и поясница надежно держала вес.

Я захрипел, когда влез в мертвую точку. Губы обожгла пена, и они деревянно стали ударять одна о другую. И хрип пополз по горлу в грудь. И стал распирает грудь. Я выполнял движение на

закрытом дыхании. И запас воздуха стал иссякать. Я понял это, увидев, как почернел воздух. Я продвигал штангу — это была основная команда. Я превратился в это стремление. Я все помнил, все слышал, но сосредотачивался на продвижении. Я задрожал. И когда уловил это, отчаянно уперся, слегка отбросив плечи. Штанга потеряла скорость. Мышцы твердели. Я отвел плечи и выиграл несколько сантиметров. Но это было не главное. Я полнее подключил грудные мышцы. Надо уметь так выгнуть грудную клетку, чтобы она приняла относительно штанги положение, как в станке для жима на наклонной доске. Этот жим превосходит жим в стойку едва ли не на полсотню килограммов. Этим жимом я развил грудные мышцы. Но они почти не участвуют в жиме. Тогда я приспособил классическое движение к движению при жимах с наклонной доски. Я развил гибкость верхнего отдела позвоночника и научился держать это положение. Здесь помогает воздух в груди. Если его крепко держать, он очень прочно расширяет грудь и можно ее, выгнув, подложить под «железо». Я отвел плечи, и грудные мышцы полнее отдали силу, и штанга сразу подвинулась из мертвого положения.

Я вдруг почувствовал свое лицо. Я был утомлен, размыт движением. Я был этим движением и воспринимал только это движение. А тут вдруг я почувствовал свое лицо. Я почувствовал свои зубы. Рот был сведен судорогой, губы отпали, а зубы были стиснуты. Глаза почти заплыли морщинами век. Щеки набрякли, раздулись и поднялись к глазным впадинам. Суставы принимали тяжесть — и я знал, где и как нужно изменить усилие. Я даже не успевал это осознать. Я держал в памяти ощущение идеального усилия и подгонял под него все свои ощущения. Это была мгновенная работа. И я все больше и больше ложился в горячий воздух. Этот воздух становился все тверже. Я вжимался в этот твердый воздух.

И штанга пошла увереннее. Я ожесточил себя командами. Я раскрылся усилию. Я боялся упустить вес, когда он уже взят.

Я слышал ступни. Теперь важно сохранить равновесие. Скорость движения нарастала. Штанга вырывалась из твердости мышц. Теперь в полную силу работали мышцы спины. И эта новая высокая скорость и большие перемещения туловища — я был напряжен, я еще перекачивался на неподвижных ступнях — требовали осторожности. Я мог сойти с места. И я вцепился в свое равновесие. Казалось, стулья приросли к моему мозгу. Ботинки были полны жгучего жара.

И я **вогнал штангу в нужную точку**. Я закончил движение и замер.

Я не дышал, выдерживая судейскую паузу. Я должен был стоять неподвижно. И я стоял. Я был запрессован твердостью возду-

ха. И в то же время я весь жил. Кровь кипела, требуя воздуха. А я не мог дышать, не смея разрушить опору мышц. И я чутко контролировал равновесие. Я был весь тверд каким-то одним могучим страстным мускулом.

И я услышал команду судьи: «Есть!»

Я выждал еще несколько мгновений, чтобы отделить себя от этой команды. Всегда лучше застраховать себя этой четкостью. И вся опора рухнула. Я услышал, как отключились от суставов все мускулы, и вывел себя из-под веса, шагнув назад. Я проводил гриф руками. И еще в темноте, которую пробивали глотки воздуха, присев возле штанги, слышал рывки «железа» в ладонях. Диски звонно разносили удар штанги. И когда я пришел в себя, я вдруг поймал на своем лице улыбку. Она уже давно была на губах, но я не слышал ее. Сначала к губам вернулась мягкость. Я почувствовал раздвинутость губ и понял, что улыбаюсь. И тогда я засмеялся. И услышал свой голос. Не хрип, а настоящий голос. И я почувствовал, как множество рук подхватило меня. И сверху я увидел весь зал. Точнее, одни протянутые руки. Я увидел, как толпа сминает судейскую бригаду. А потом голос в трансляции перекрыл гвалт. И меня неловко отпустили. Я встал на одну ногу, а за другую меня держали и еще пытались качать. А потом все руки отпустили меня. И я понял, что голос в трансляции просит всех оставить сцену, потому что надо взвесить меня и рекордную штангу...

— А вес ты все же выбил вперед...— сказал Поречьев. Он стоял рядом. У него было скучноватое выражение лица. Он хотел показать, что в общем-то ничего необычного не случилось. Он показал, где и как я выбил штангу из траектории.

— Расслабил бедра.— И Поречьев тронул меня за бедро.— Вот здесь.

И я вспомнил этот момент напряжением мышц и цветом воздуха.

— Ну давай,— сказал Поречьев и отошел.

Толпа уже рассеялась, и я увидел весы. Ассистенты несли штангу к весам. И на всех лицах было любопытство. Я ждал цифры рекорда. В штанге бывают провесы. Если рекорд больше пяти килограммов— это будет очень приятно. Но я опасался другого— недовеса. Мне хотелось улучшить рекорд сразу на пять килограммов. Иначе нельзя было улучшать рекорд Торнтонна. Это был великий рекорд. Судьи возились с гирьками. В зале было так тихо, что я услышал, как хрустывает канифоль у меня под ногами.

Я почувствовал, что совсем не выложился в жиме. И дело не только в силовой подготовке. Значит, мы не ошиблись и с кроссами. Я сознательно ввел в тренировку кроссы. Я считал, что выносливость этой вспомогательной тренировки отзовется и на специальной

выносливости. И мне нравились мои руки. Большие, мягкие. Самые подходящие для работы с «железом».

Мышцы на ногах расслабленно взболтнулись, когда меня позвали, и я пошел к весам. Это тоже доказывало точность расчета: я правильно подвел себя к соревнованиям, и мышцы в тонусе.

Я наступил на платформу весов и услышал гул. Когда я выпрямился на весах, зал заревел. Это был мой двадцать седьмой рекорд мира.

180

Через год в еженедельнике «За рубежом» я прочитал очерк «Путевка на дно».

«Ежегодно в мире недосчитываются примерно двухсот судов. Они тонут во время шторма, садятся на мели, сгорают или пропадают без вести. При этом на берегу порой ходят слухи, что дело не обошлось без вмешательства заинтересованных лиц, так как за гибель старого корабля страховые компании выплачивают солидную сумму. Однако до сих пор концы, как говорится, прятали в воду. И вот впервые подтвердилось предположение, что довольно часто гибель судна — это просто ловкая афера. Более двух лет турецкая полиция, страховые компании ФРГ и гамбургский суд вели расследование страшной гибели грузового парохода «Гермес», повлекшей за собой человеческие жертвы.

За три дня до отплытия «Гермеса» налоговое ведомство Стамбула получило анонимное письмо, в котором говорилось, что пункт назначения судна вызывает глубокие сомнения. Стамбульское ведомство переправило это письмо в турецкое министерство внешней торговли. Но и в этой высокой инстанции разбирательство бумаг превратилось в волокиту. В результате «Гермес» беспрепятственно покинул Гиресун.

Гиресун считается в стране центром по сбору фундука, а Турция — крупнейший поставщик этих орехов на мировом рынке. Покупателем номер один является ФРГ. Согласно судовым документам, «Гермес», на борту которого было 1545 тонн орехов на сумму восемь миллионов марок, держал путь в Гамбург.

«Гермес» очень нуждался в ремонте. Это судно длиной в 90 метров и водоизмещением 1029 тонн относилось к тем пароходам, о которых говорят, что они «держатся только на краске». Хотя он построен первоклассными

финскими мастерами и, согласно оценке страховых компаний, обладал стойкостью к обледенению, однако ему уже перевалило за двадцать три года. Многочисленные капитаны и несколько судовладельцев пытались извлечь из этого грузового судна как можно больше прибылей при минимальных расходах. За несколько недель до своего последнего плавания «Гермес» поступил в распоряжение Хусейна Гюрдогана — человека с далеко не безупречной репутацией. Конкуренты обращают внимание на сомнительное прошлое Гюрдогана, которого за глаза именуют не иначе как «продавцом душ».

Около пятнадцати лет Гюрдоган прожил в Гамбурге. Темные сделки, как правило, сходили ему с рук. Согласно торговому реестру, компания Гюрдогана промышленла «торговлей товарами всех видов из района Средиземного моря».

В Федеративной Республике торговля фундуком отнюдь не считается характерной для страны коммерцией. Пять фирм держат монополию на импорт этого продукта. Гюрдоган никогда не принадлежал к избранному кругу почтенных маклеров. Поэтому он пытался пробиться на рынок с помощью собственного транспортного средства с минимальными расходами на перевозку. В Финляндии он приобрел лишенный оснастки «Гермес» всего за сто тридцать тысяч долларов и застраховал его на сто шестьдесят тысяч долларов.

Для своего единственного судна он основал парходную компанию «Гермес» стимшип корпорейшн» с резиденцией в Монровии (Либерия). Однако на флагштоке пархода был поднят панамский флаг. Застраховав свое судно в ФРГ, Гюрдоган направился из Финляндии в свое первое плавание, обещавшее принести большие прибыли, но какие именно и каким путем, общественность ряда стран узнала совсем недавно...

На второй день последнего плавания «Гермеса» в каюте капитана Экрема Титфика разыгрались странные события. Позже, во время допроса, Титфик так описывал происходившее: «Ко мне в каюту вошел второй офицер Ахмед Яйла и заявил, что он совладелец «Гермеса». Положив на стол записку от руководства парходной компании, он потребовал передать командование судном. В противном случае мне грозили неприятности. Я был вынужден подчиниться. С этого момента и до самого конца я только и делал, что пил с горя».

На двенадцатый день «Гермес» оказался в районе, где Босфор переходит в Средиземное море. Предстоит последний таможенный контроль, обязательный для всех судов с грузом из Турции. В пять часов утра к борту «Гермеса» подошел катер с таможенниками, которые, по-видимому, еще не совсем проснулись. Во всяком случае, и капитан и чиновники почему-то здорово торопились. Прочитав бегло фрахтовое свидетельство и другую сопроводительную документацию на груз, таможенники даже не удосужились заглянуть в трюмы. На прощание они, как обычно, пожелали счастливого плавания.

Во время своего последнего плавания «Гермес» шел между греческими островами, держа курс в западную часть Средиземного моря. Вначале судно направлялось к южной оконечности Сицилии. В следующие три дня плавание протекало вполне нормально, если не считать, что носовую часть судна захлестывали огромные волны. Южный семи-восьмибалльный ветер поднимал боковые волны высотой более четырех метров. Судно испытывало сильную бортовую качку. Перед самой Сицилией рулевой получил приказ взять курс на северо-запад, к Аугусте. Эта небольшая гавань на восточном побережье Италии не считается узловой точкой на пути следования судов из Черного моря через Средиземное в Атлантический океан. Гораздо ближе на судоходной трассе находится крупный портовый город Сиракузы. Но Гюрдоган послал из Гамбурга распоряжение «Гермесу» следовать в Аугусту, мотивируя это необходимостью пополнить запасы горючего, хотя «Гермес» находился в плавании всего две недели и горючего вполне хватило бы еще на несколько месяцев.

В предпоследний день своего плавания «Гермес» пришвартовался в Аугусте, но на борт вместо горючего были взяты два человека, одного из которых команда сразу же узнала. Это Шарль Мэннинг, который нанимал их на «Гермес» перед плаванием — капитан без судна, уволенный со службы из Морского банка Турции, отбывший заключение в итальянской тюрьме и подозревавшийся в связях с торговцами «белой смертью» — наркотиками. Второго человека по имени Симеон Гельман матросы не могли знать, так как по неизвестным причинам он много лет назад покинул Турцию, как, впрочем, и многие страны Европы...

Спустя час «Гермес» отправился в свой последний

рейс. Около половины шестого утра из-под крышек люков появился слабый дымок. Через двадцать минут на «Гермесе» бушевал пожар, который заметили с проходящих судов. Уже через четверть часа с расположенного в десяти милях мыса Мурро-ди-Порко на горизонте можно было увидеть горящий, как факел, «Гермес». Через двадцать минут после возникновения пожара взорвались пароходные котлы. «Гермес» раскололся и затонул на глубине двух тысяч шестисот семидесяти метров, недоступной для любого водолаза.

К полудню шлюпки с потерпевшими были отбуксированы в Сиракузы. Погибли восемь матросов, среди которых известный в некоторых литературных кругах поэт Хенриксон. Отличный пловец, он погиб, спасая больного юнгу.

После гибели «Гермеса» его владелец заявил объединению двадцати девяти страховых компаний ФРГ о пропаже груза на сумму восемь миллионов марок и своего судна стоимостью пятьсот тысяч марок.

С помощью собранных улик удалось доказать, что груз, имевшийся на «Гермесе», был уже до этого благополучно продан.

Так подтвердилось подозрение, что судно было потоплено преднамеренно с целью получения двойной прибыли. Гюрдоган выдвинул в свое оправдание такой аргумент: «Всю эту кашу заварили мои конкуренты, чтобы убраться со своей дороги».

Турецкая полиция арестовала четырех основных подозреваемых: одного члена команды, капитана Титфика, второго офицера Яйлу и судовладельца Гюрдогана. Но два главных исполнителя акции — Шарль Мэннинг и Симион Гельман — уже ничего не смогут рассказать. Люди, которые так много знали, погибли в автомобильной катастрофе при весьма сомнительных обстоятельствах. Однако во французские газеты просочились сведения о том, что Симион Гельман жив и развлекается в Лас-Вегасе...»

181

О судьбе Макса Цорна я узнал после фашистского переворота в Чили.

Чилиец-эмигрант рассказывал в телевизионной программе «Время» о репрессиях хунты. Мне послышалось имя Цорна.

Я отыскал чилийского эмигранта. Он жил в гостинице «Москва». Звали его Гарсиа Пандо. Он сумел бежать из концлагеря, но был совершенно болен и едва мог отвечать на мои вопросы.

Гарсиа Пандо должен был пройти курс лечения и ждал больничную машину. Уже были собраны вещи. Они уместились в одну сумку, которая стояла у него в ногах. Его знобило. Он кутался в плед. Переводчица передала мне копию его очерка для «Вестника информации».

Через неделю очерк Гарсиа Пандо напечатали. Имя автора было в траурной рамке. Гарсиа Пандо умер от сердечного приступа.

Вот этот очерк:

«Чили: истребление народа.

В день фашистского переворота одиннадцатого сентября 1973 года я находился в здании Технического университета в Сантьяго. Здание университета подвергалось блокаде почти сутки. Утром двенадцатого сентября военные ворвались в помещение для занятий. Там было около двухсот студентов. Они не могли спастись от шквала пуль. Повсюду были слышны выстрелы, топот солдатских сапог, хруст битого стекла. Мы все думали, что нас тут же убьют.

Солдаты и карабинеры по приказу офицеров не прекращали бешеный огонь из автоматов и базук. Десятки студентов были убиты. Многим из тех, кого в упор расстреливала солдатня, было по четырнадцать-пятнадцать лет.

Сколько было убито? Сколько было искалечено? Об этом никто никогда не узнает. Те, кому удалось уцелеть от пуль, были подвергнуты самым жутким избиениям. Солдаты встали в длинные шеренги у выхода из учебных помещений и кололи штыками всех, кто выходил.

Мы обливались кровью, нас били прикладами. Потом нас заставили лечь на землю и начали стрелять. Мы чувствовали, как пули свистели над нашими головами. Несколько товарищей было расстреляно.

Один из офицеров сорвал с меня очки, нацепил на себя и сказал, издеваясь: «Дай-ка я нагляжусь на тебя в последний раз». Потом меня поставили лицом к стене, с поднятыми руками. Через какое-то время мне стало казаться, что руки весят чудовищно много. Я должен был сплести пальцы, чтобы не уронить их вниз. За каждое движение меня зверски избивали. Потом мне при-

ставили ствол автомата к груди, стреляли над головой. От выстрелов у меня обгорели волосы. Я своими глазами видел, как тут же были расстреляны еще шесть подростков... Один из них был совсем ребенком...

После подогнули грузовики. Один из наших товарищей потерял сознание и упал. Его штыками заставили встать. Из-за крови нельзя было разглядеть его лица. Нас всех заставили влезть в кузов, приказав опуститься на колени, заложить руки назад и не шевелиться. Один юноша, почти мальчик, пожаловался на то, что у него затекли ноги, и попросил разрешения пошевелиться, чтобы немного изменить положение. К его виску приставили дуло автомата и сказали: «Если пошевелишься, прикончим на месте».

Нас снова стали избивать и топтать ногами. Я застонал под тяжестью тел. Здоровенный солдат стукнул меня прикладом по спине и крикнул: «Замолчи, ублюдок! Когда ты был марксистом, тогда не жаловался!»

Мы долго кружили по Сантьяго, пока нас не привезли к входу на стадион. Это было жуткое зрелище — земли на стадионе не было видно — все было покрыто человеческими телами. Казалось, ни для одного человека больше не оставалось места. Один из офицеров нарочно сбил с ног преподавателя нашего университета. Ему было около шестидесяти лет. Он сказал: «Не толкайтесь, пожалуйста». Тогда офицер крикнул: «Выходи из толпы, я тебя прикончу!» Преподаватель замешкался. Нас всех заставили лечь на землю. Потом я почувствовал, как насильно вытащили из толпы этого человека. Я слышал стоны, крики и удары прикладами по телу. Ему проломили череп, и он тут же умер.

Ночью мы слышали автоматные очереди и шум моторов. Мы догадывались, что это были грузовики, которые вывозили трупы расстрелянных и замученных.

Пытали всех. Перед пытками людей загоняли в помещение под трибунами. Пережить пытки удалось немногим.

Я видел людей, брошенных прямо на пол. Их головы были покрыты тряпьем, чтобы не видно было обезображенных пытками лиц. Среди них были наголо остриженные женщины, многие из которых носили следы надругательств.

В помещении, куда меня бросили, находилось сто сорок три человека, хотя оно было рассчитано на три-

дцать. Первые дни нам не давали есть. Заключенные страдали от переломов костей, ран и голода. Ночами люди громко стонали. Там я видел одного из видных деятелей чилийского Союза журналистов Хорхе Факулла и директора газеты «Пунто финаль» Мануэля Кабьесеса. Изошренным издевательством фашисты подвергали иностранцев, особенно негров и кубинцев.

Мы слышали, как солдаты избивали чилийских министров и парламентариев. Их бросали прямо на металлические стенки. Мы слышали стоны и крики, удары прикладами.

Я узнал также о пытках, которым подвергли одного из руководителей Технического университета Уильяма Бодуэлла и других профессоров и преподавателей. Особенно мучительно пытали преподавателя западноевропейской поэзии финского гражданина Макса Цорна. Один офицер пытался добиться, чтобы он назвал имя какого-то человека, который якобы принимал участие в заговоре против вооруженных сил Чили. Он дробил ему пальцы на руках и при этом запрещал стонать. Я также видел, как заключенных буквально раздирали на части кольями и пытали иными жуткими способами, о которых невозможно рассказать. Ежеминутно на наших глазах совершались пытки, избиения, оскорбления, провокации со стороны офицеров охраны. Кроме того, там очень многие умирали от голода, а сотни заключенных страдали от ран и холода.

На стадионе я узнал, что половина жителей столичного района Ла-Легуа была уничтожена, под бомбами погибли дети, старики, женщины. То же самое было в районе Эрмида. Об этом, в частности, сообщили арестованным студентам Технического университета сами солдаты охраны.

Я не могу назвать точное число людей, которые погибли на стадионе Чили. Вокруг постоянно слышались выстрелы, забирали и уводили людей.

Я отлично помню юношу, который пытался бежать. Его расстреляли в упор. Вместе с ним убили еще двоих, одного выстрелом в живот, другого забили до смерти прикладами. До сих пор у меня в ушах звучит его крик: «Я тоже чилиец, убивайте и меня!»

Студенты сообщили, что в преступлениях на стадионе Чили участвовали агенты ЦРУ, одетые в гражданскую одежду. Однако видно было, что некоторые из них

американцы. Они не разговаривали, но участвовали в применении пыток, в частности электрическим током.

Однажды я увидел, как открыли кузов одного из грузовиков. Там была буквально гора трупов, наваленных один на другой. Один из карабинеров не выдержал, с ним случилась истерика.

Затем нас перевели в концлагерь. Там я вновь увидел Макса Цорна. Его продолжали подвергать пыткам, в том числе и электрическим током. Если он падал от изнеможения, его избивали до потери сознания. У него было обезображено лицо, почти не видно опухших от побоев глаз, а руки замотаны в тряпки. Он не мог ходить. Но дух товарища Цорна не был сломлен. При малейшей возможности фразами, которые прерывались стонами, он стремился поддержать в товарищах волю к сопротивлению, выражал твердую веру в победу борьбы против фашизма. Пример Цорна вдохновлял нас. Его убили через три недели на перекличке. «Ну кто из вас теперь заявит, что он демократ и любит свободу?» — спрашивал комендант. Мы молчали. Офицеры и охрана хохотали, а комендант повторял свой вопрос. Мы молчали, а они веселились. Неожиданно вышел товарищ Цорн. Он долго, задыхаясь, шел к коменданту. Стояла мертвая тишина. Он плюнул коменданту в лицо.

Охрана буквально изрешетила его пулями. Они и мертвого продолжали его топтать...»

Скверно, когда публика против тебя.

Свист, гвалт не смолкали с того момента, как я появился на сцене. Враждебный рев не давал возможности даже услышать команды судьи-фиксатора. И я полагался только на его жесты. Но публика буквально обезумела, когда я не взял в рывке второй вес и Зоммер оказался на десять килограммов впереди. Я не слышал своих шагов — этот рев сопровождал каждое мое движение. Он распался на топот, вой, свист, когда я срезался и в третьей попытке. Я зацепил штангу высоко, но не вошел под нее.

Я почувствовал, как штанга зависла. Я сидел на корточках и не мог поймать равновесие. Штанга медленно заваливалась. Она падала в черное зеву зала. Положением по отношению к штанге я был выведен из борьбы. Мне не во что было упереться, и любые усилия не имели смысла. Я только провожал гриф руками. За ревом я не услышал лязга дисков. Падение отозвалось встряской помоста.

Я нарочито спокойно выполнял все движения. Я выкатил штангу на красный круг — центр помоста. Выпрямился. Топот гнал меня со сцены. Я следил за каждым своим шагом. Не позволял ускориться ни одному шагу. Я лишь несколько раз оглянулся. Я старался запомнить зал, чтобы сравнить с тем, каким он станет после. Я не сомневался в своей победе. Вся эта суета и вопли не могли сказать на моем результате. Я приучил себя подчиняться только нужным командам — командам борьбы. Я знал эти команды.

Жарков был бледен и заикался больше обычного. Врач старался не смотреть на меня. Массажист материл вполголоса публику и вытирал полотенцем лицо. Он потел не меньше меня. Ребята жались ко мне и исподлобья поглядывали на стену, за которой был зал. Я услышал, как он снова взревел, когда Стейтмейер объявил, что теперь ван дер Воорта отделяют от меня всего пять килограммов. Мы были одни, потому что все ушли к Зоммеру. Репортеры поднимали над головами свои камеры и фотографировали немца.

Надо было говорить. Безразлично что. Я не должен был казаться подавленным. Даже если бы я сейчас в самом деле проиграл, никто не должен увидеть, что это для меня значит. Я встал. Пригладил волосы. Велел массажисту собрать мои вещи.

Впрочем, мне и не надо было играть. Я был утомлен, но не подав-

лен. Если я и был недоволен собой, то по совсем другим причинам.

Я разгладил складки трико, аккуратно завернул носки над штангетками.

— Не хватает скорости,— сказал я ребятам.— Силы больше, чем достаточно. Все время опаздываю с уходом.

Я не уточнил, что скорости ухода не хватает из-за моего возраста. Уже с год, как я заметил это.

— Пойдем,— сказал Жарков. И мы пошли в раздевалку. До разминки к толчку оставалось минут сорок.

Я слышал зал в динамиках трансляции. Там было тихо. Лишь изредка раздавались вялые аплодисменты. Но я знал, что будет там через сорок минут.

В раздевалке я велел массажисту протереть мне спину и грудь одеколоном.

Да, Зоммер был хорош как никогда. Все подходы ему удавались. Пирсон, однако, мне уже больше не угрожал, оставшись, как и я, в рывке на первом подходе, но на весе, меньше моего на семь с половиной килограммов, а в толчковом движении он никогда не был силен. Ложье получил в рывке нулевую оценку и вообще выбыл из соревнований. Ван дер Воорт в толчковом упражнении был слишком слаб, чтобы принимать его в расчет. В этой компании не было Гарри Альварато, он не приехал на чемпионат.

Да, Зоммер и публика считают, что я уже потерял свою золотую медаль. Посмотрим, посмотрим...

Я чувствовал свои мышцы. Они были в большом порядке.

Одеколон отнимал лишний жар у тела. Было приятно.

Лешка Булыгин рассказывал что-то смешное о Мэгсоне. Я улыбался и молчал. Мышцы расслаблялись под руками массажиста. Я закрыл глаза, чтобы не принимать участие в разговоре. Я слышал голос Лешки. Четыре дня назад он в первый раз выиграл золотую медаль в полусреднем весе. Голос у него был беззаботный. Я вспомнил Семена Карева, потом Сашку Каменева...

— Сядь поудобнее,— услышал я голос Жаркова и открыл глаза. Он сидел на корточках. Я вытянул ноги. Жарков начал встряхивать бедра.

— Дайте-ка я,— сказал массажист и отстранил Жаркова.

Жарков встал и накинул мне на плечи плед.

— Ступайте,— сказал Жарков ребятам, и все ушли. Только Булыгин встал на стул и открыл форточку. Он рассказывал что-то смешное. Массажист фыркал, и я чувствовал по рукам, что он смеется.

Ворвался какой-то репортер и попытался меня снять, но Жарков взял его за руку и вывел из раздевалки. Тогда репортер распахнул дверь и сфотографировал меня из коридора. Жарков выругался и запер дверь. Мы слышали, как дверь дергали, но не отпирали.

Все было так же, как много лет назад. И эта раздевалка, и голос в трансляции, и ожидание, и необходимость работать без срывов, и умение вызвать в себе наибольшую силу, и необратимое значение каждого подхода, когда уже ничего нельзя изменить...

Я старался как можно более точно определить вес, который возьму в последнем упражнении. Судя по выступлению, я «подвел» себя правильно. Я мог полагаться на результат прикидки. Я дал Зоммеру лучший вес, который он способен взять. Я даже зависил этот вес. В этом оптимальном для Зоммера варианте у нас выходили равные суммы в троеборье. Я был легче и при таком исходе поединка получал золотую медаль.

Я назвал Жаркову цифры подходов в толчке. Он согласился.

Ночь за окном высветляли зарницы огней. Когда у светофоров стихали машины, я слышал, как в стекла постукивает дождь. Озноб опалил грудь. «Неужели прошло столько лет? — подумал я.— Но где же эти годы? Я их не помню. Я все собирался жить, а уже нет столько лет!..» Я лежал и смотрел на окно. Вот такой же была ночь десять лет назад. Я выступал на своем первом чемпионате в Сан-Франциско. И вот так же накрапывал дождь. И рекламы малевали мглу во все цвета. И усталость точно так же лгала мне. Так же тяжелы и сонливы были мои мышцы...

Жарков стал рассказывать, как он выступал против Шепларда. Я делал вид, что слушаю. Я не нуждался в ободрении, но не стал его останавливать. Я совершенно определенно знал свои килограммы в последнем упражнении. Был уверен в каждом подходе. До мельчайших подробностей знал свою разминку. То, что случилось в рывке, я исключал в последнем упражнении. В толчковом движении возрастная реакция не имеет значения. А за точность и силу я был уверен. Я ведь еще раньше знал, что потеряю рывок, но обманывал себя, когда вынужден был снизить тренировочные веса. Чисто теоретически я допускал это, как проявление возраста. Но для практики полностью исключал. Я обманывал сам себя. Я грешил на жим, на «закаченность» рук, на большие приседания и тяги. А это было именно возрастное и необратимое ухудшение скоростной реакции. Следовало немедленно переходить на иной способ тренировки.

Силу следовало не только сохранять. Я должен был найти и освоить способы ее наращивания. Принципиальной предпосылкой для моей разработки явился совершенно очевидный факт: мышца, как доказали опыты, способна поддаваться тренировке практически в любом возрасте. В сорок — сорок пять лет силу начинают ограничивать не возможности мышечной системы, а причины другого порядка. Ставить эксперимент не было необходимости. Этот новый способ уже давно был продуман мною. К тому же я мог предугадать

последствия тех или иных изменений в методике. Нужно было лишь уточнить эту методику на деле.

В ее основе оказывалось дробление тренировки. Таким приемом я добивался сокращения объема каждой тренировки. Я рассчитывал перейти на ежедневную тренировку, а эту ежедневную тренировку дробить еще на две: тренироваться утром и вечером. Объем такой элементарной тренировки становился весьма незначительным. И должен был усваиваться без осложнений, вызываемых возрастом. Я как бы растягивал прежние тренировки во времени.

В совершенно иных соотношениях здесь находились и два главных показателя: объем нагрузки и ее интенсивность. Конечно же, расчеты были гораздо сложнее и зависимости параметров не столь упрощенные...

Я лежал в шезлонге и размышлял о новой тренировке. О том, что сам себя наказал, не поверив неудачам. Я не сомневался, что с новой тренировкой опять оторвусь от своих соперников. Оторвусь, когда, по общему мнению, возраст окончательно лишит меня возможности бороться.

Я знал, Зоммер не осилит ни одного килограмма сверх тех, которые я ему давал в расчетах. У него толстые, но не могучие ноги. Я побывал на его тренировках. Меня не интересовали результаты в классических упражнениях, которые Зоммер всячески скрывал. Я знал, фуксы в жиме выводят его на равные результаты со мной. Я хотел узнать его возможности в толчковом упражнении.

Зоммер приседал почти с такими же весами, как и я. И все восторгались, потому что сила ног обычно прямо соответствует результату в толчке. И сам Зоммер считал, что с такими мышцами накроет меня. Внешне все выглядело весьма внушительно. Именно внешне, а не по существу. Зоммер опускался в «полусед», а я всегда ухожу в глубокий «сед». И там внизу я выдерживаю паузу, чтобы исключить помощь пружинящим отталкиваниям ног. И встаю я без всяких фокусов. Работают одни мышцы. Если бы Зоммер работал по-моему, он поднял бы килограммов на сорок-пятьдесят меньше. Поэтому я не сомневался в своем преимуществе — последнее движение должно быть моим. На предельном весе штанга обязательно загонит Зоммера вниз, а он не подготовлен к такой работе. И я совершенно уверен — он не встанет, хотя, по его расчетам, должен встать. Веса, о которых он говорил репортерам и которые сейчас будет пробовать, лишь по формальной логике должны ему подчиниться. А чтобы попытаться выиграть у меня, он пойдет на эти веса. Я сейчас толкну на десять килограммов больше, чем он, и сравняюсь с ним в сумме троеборья.

Я знаю, что будет после. Зоммер набросит на штангу пять килограммов — и сломается. У него хлипковаты ноги для подобных

номеров. Штанга заклинет его в «седе». Если не заклинет и он встанет, то отнимет у него все силы. Ему нечем будет работать. На посыл с груди его не хватит, даже если он наглодается стимуляторов. Стимулятор может помочь подавить страх или чрезмерную усталость, но стать силой — никогда! Он только подводит к риску травмы. Стимулятор этим и опасен: он создает преувеличенное представление о собственной силе. Но без силы, соответствующей данному результату, он почти бесполезен. Он иногда помогает... освободиться от сомнений. И тогда берут свое, но не больше. Только свое! А у Зоммера нет этой силы. И он сейчас убедится.

С такими приседаниями на тренировках этой силы у него не будет. Присесть же иначе он не может. У него от природы недостаточные по объему четырехглавые мышцы бедра. И сообразно этому сложился стиль приседаний. В конце концов, именно природные данные и определяют исход борьбы — умение использовать и учитывать эти данные.

Я, конечно, смог бы на его месте набрать силу в приседаниях. Однако Зоммер слишком тучен для таких тренировок. А спустить собственный вес он не посмеет — сразу потеряет результат в жиме. Для фуксов в жиме едва ли не главное значение имеет собственный вес. За три года он наел почти сорок килограммов. Он дрожит за свой вес. А потому обречен.

И я сейчас это докажу. Я заставлю его на глазах у всех застрять в «седе» и бросить штангу. И зал я заставлю надорваться вместе с ним. Я не стану смотреть, как это случится. Но все будет именно так.

Пусть попытаются понять силу. Пусть задумаются. А поймут, не будут такими. Я это знаю твердо. Пусть подумают, отчего я побеждаю столько лет. Пусть хоть раз задумаются над тем, что значит побеждать...

— Ну что? — сказал я Жаркову. — Возраст делает за нас свое?

— Об этом не сейчас. — Жарков сидел на стуле напротив меня.

Я знал, что Жарков теперь сделает все, чтобы я не выступал. Даже если я выиграю, в чем он сомневается. Он сам проиграл, когда ему было много лет, и не верит, что может быть иначе.

Булыгин прыгнул с подоконника, шлепнул меня по бедру: «С такими лапами мы всех задавим».

— Хороши! — сказал массажист.

Я видел, что они искренне восторгаются.

— Мать честная! — сказал массажист. — Их не обхватишь! Дай-то бог другим такне!

У всех этих людей были свои мерки моей силы.

Я услышал резкий стук и встал. Сорок минут ожидания истекли. Я почувствовал озноб. Я не стал прятать его. Мне не надо

было беречь силу. Впереди последнее упражнение — и я открывал себя всем чувствам. Я будил силу всеми чувствами.

Воздух резал мне грудь...

182

И все же мне повезло — я познакомился с Торнтоном. Познакомился совершенно случайно. Незадолго до этого я выиграл в Праге свой двенадцатый чемпионат мира. В Праге уже не выступали ни Карев, ни Каменев, ни Харкинс... К тому времени в нашей сборной целиком сменилось три состава.

Еще пять-шесть лет назад кое-что писали о Торнтоне. Но побеседовать с ним никому не удавалось. Это табу было наложено на всех причастных к большому спорту, особенно спортсменов экстра-класса, — они просто не существовали для Торнтонна. Харкинс как-то заметил мне, что «этот подъемный кран озлоблен из-за того, что спорт существует без него, смеет праздновать новые победы». В Мехико, подвыпив на банкете, Партон Слейтон — один из функционеров канадского спорта — долго толковывал мне, что Торнтон нелюдим и неудачник. Старый менеджер американской сборной Мэгсон вообще никогда ни о ком не вспоминает. Мой бывший приятель репортер Бэнсон сказал о Торнтоне: «Слова не вытянешь. Корчит оригинала. Пузатая жаба!» Но ведь я сам когда-то читал репортажи о молодом Торнтоне, и какие! Благодаря популярности Торнтонна во всем мире сборная Мэгсона в первый и последний раз удостоилась чести быть принятой вице-президентом Соединенных Штатов Америки. А уж добродушию Торнтонна подражали все атлеты.

Сколько бы я ни расспрашивал о Торнтоне, почти всех удивляло, зачем мне это. Но этому уж я сам не удивлялся: здесь искренне забывали любого, кто терял силу...

Я прилетел в Париж на четыре дня — едва ли не единственный случай, когда за границей я не должен был встопычать. Впервые за все поездки я мог кое-что посмотреть. Не отсиживаться в номере или на скамейке перед гостиницей. Не цедить через себя часы ожидания. Не стеречь свои чувства. Не думать о результатах, проигрышах бесспорных фаворитов и, наконец, забыть риск.

Избавиться от этого чувства я не мог всю свою спортивную жизнь.

Я рассчитывал провести три показательные тренировки-занятия в Национальном институте физической культуры. К четырем часам за мной присылали машину, что весьма поднимало меня в глазах хозяйки пансионата мадам Масперо. В зале я управлялся за два часа и был свободен. Я мог бродить сколько угодно — и это уже было так необычно и празднично...

Ближе к утру прохожих в центре было мало. Зато автомобили обретали особенную энергию. От светофора к светофору они неслись как на гонках, визжа на поворотах. Здесь, в центре, я оказался лишь однажды: Ложье пригласил отужинать в ресторане. После мы долго шли пешком. С нами был Ив Кубар — мой давнишний знакомый. Лет девять он уже не выступал. За ним было пятое место в полусреднем весе на чемпионате мира в Гаване. Это было так давно — мой второй чемпионат мира! Ложье даже не слыхивал имена, которые мы называли. Сам Кубар крепко сдал. Щекастый подслеповатый господин, который все время просил сбавить шаг — и это Кубар!

Кубар рассказывал: «...Авантюрист по натуре. Спокоен, пока утомлен, а потом его разрывает жажда деятельности. Не может, как все! Ему бы укротителем в зверинце...»

— А чем мы не зверинец? — Ложье хлопнул в ладони и засмеялся.

Кубар рассказывал о Викторе Сюзини — враче сборной команды Франции. Мы познакомились с ним за год до чемпионата в Чикаго.

«...Золотая голова, а вертит свою жизнь! Боже мой, два диплома! Золотая голова! Такими бы делами ворочал! В нем что-то есть — женщины это лучше чувствуют: привязывались к нему! И какие женщины! А он? Завидуую, умеют так: любит легко, искристо и ни с кем не связывает себя. Эти женщины от него без ума...»

— Третий парень, — сказал Ложье.

— А где он, что — не знаю. Да и кому нужно знать.

У Виктора Сюзини была красивая голова. Я бы сказал, породистая. Ежик седых волос очень молодил его. У него были очень синие глаза — синие до темноты и крупный горбатый нос. Таким я его и запомнил. Мы

провели два вечера на скамейке перед гостиницей. В Чикаго я должен был схлестнуться с Харкинсом. И мне было очень не по себе. Харкинс оглушил тогда всех результатом на чемпионате Соединенных Штатов. Я оставался один, ребята уезжали на соревнования. Каменеву было не до меня. После второй победы он одурел от счастья. Слава победителя Муньони превратила его в кумира публики. Сашка был нарасхват. С утра у дверей его номера выстраивалась очередь почитателей.

По-русски Сюзини говорил без акцента. Так говорят в Ленинграде и Москве: без глуховатого украинского «г», без стертых окончаний и неверных ударений. Мы расстались друзьями.

— ...Он сидел в концлагере,— говорил Кубар. Ветер шевелил его волосы. У него были очень длинные волосы. Кубар смеялся и прижимал их ладонями.— У него наши выше боевые отличия.

— И все равно авантюрист! — сказал Ложье.

— А ты? — Кубар засмеялся.— Чем себя тешишь?

Ложье азартно хлопнул в ладони и засмеялся. Ладони у него были широкие, как лопаты.

— Еще два квартала пешком, а, ребята? — сказал Кубар.— Завтра позвоню шефу, будто у меня приступ печени. А ведь мучает, проклятая. Допинговался, как наркоман. Мечтал за призовое место зацепиться! Что только ни глотал!

— Не болтай лишнее,— сказал Ложье.

— А что тут лишнее? Разыгрываем невинность. Жрал я допинги! Ну и что?

— Было времечко,— сказал Ложье.— И не думали снимать допинговых проб. Ни одна сука не знала, что у тебя в крови. А кому какое дело, что я глотаю? Кому запрещаю я глотать? Ты меня дави на помосте — вот это факт. За что Томаса и Кайу сняли в Мехико? Обнаружили в крови допинг! А у нас, может, в запасе три-четыре года. Потом сматывайся из спорта. Выставят другие. Могу я поставить на результат все! Жалеют! Я этих сукиных детей знаю. Ишь, филантропы!.. Ты какие допинги жрешь? — спросил меня Ложье.

— А зачем? И потом, у нас вообще это в спорте не принято...

— Я начистоту, а ты!.. — Ложье выругался и сплюнул.

— Оставь,— засмеялся Кубар.— Оставь.— Он взял Ложье за руку.— Он не финтит. Он же бешеный! Зачем

ему жрать эту гадость. Ему валерьянку пить на соревнованиях, а не допинги. Он же бешеный! С такой силой жрать допинги? Ты свихнулся...

Я знал Ложье. К тому же он выпил за троих.

— Прости,— сказал Ложье.— Прости. А знаешь, меня бросила жена. Ушла с каким-то сукиным сыном. Вот такой сморчок, а богат! Вот чертовщина! А что я зарабатываю «железом»? Все они хранительницы очага за деньги...

— Оставь,— сказал Кубар. И снова заговорил о Сюзини.

Ложье ступал грузно. Иногда, качнувшись, задевал меня плечом. И сипло, часто дышал над ухом.

Я слушал Кубара и вспоминал Сюзини.

Я вдруг вспомнил его слова: «Каждому дано право на риск. Благо дрессируют, ослабляют волю, в конце концов предают самого человека. Риск — это шанс вернуться в жизнь. Это возвращение в человека. Риск, но не сумасбродства! Риск казнит нас, но пробивает дороги. Риск — всегда большое добро. Трусость нарекла его недостойными словами. Человеческая религия! Риск вне добродетелей! Поседали мы в скучных завистях...»

Я тогда вернулся из зала. У Харкинса сорвалась игра. Я был сыт «железом» и унылым восторгом знатоков. Сюзини говорил мне все это в лифте, и, честное слово, я жалел, что живу не на тысячном этаже. Женщина не понимала нас и улыбалась. Она не отпускала руки Сюзини. Сюзини вдруг вспомнил Мэгсона и засмеялся. Мэгсон не захотел зайти с нами в лифт, хотя место было. Я уже до этого заметил, что Мэгсон не выносит Сюзини. Это были последние слова Сюзини. Больше мы не встречались.

— А помнишь, он испортил костюм? — спросил Ложье.

На чемпионате в Вене у французов был другой врач. Я тогда для Сюзини привез «Былое и думы» Герцена — мою любимую книгу. Так и стоят эти три тома у меня на полке дома. Томá до востребования.

— ...это было уже без тебя. Ты ведь не был на сборах в Марселе,— сказал Ложье Кубару и повернулся ко мне: — Сюзини заказывал вещи у знаменитых портных! Знаешь, в какую это копеечку вылетает? Вы заказывали когда-нибудь у Медведского? У меня нет знакомых, которые могли бы себе это позволить.

— Даже мой шеф,— Кубар засмеялся.— Ты уважаешь шефов?..

Ложье обнял Кубара за плечи и притянул к себе. Кубар затерялся под рукой Ложье. И тогда машинально, без всякой преднамеренности, я отметил, что Ложье готовит большой жим. По тому, как он держал руки и какими они стали — никто не уловил бы этой перемены,— я понял: Ложье готовит жим. Когда он приваливался плечом, я ощущал эту отверделость мышц. Они были «забиты» — и я даже знал, какими упражнениями. Мне это вовсе было не нужно. Пусть готовит любой результат под меня. Я верил в свои методы тренировки. И вообще не собирался проигрывать. Я придерживался правила: быть чемпионом столько, сколько хочу. И двенадцать золотых медалей это доказывают. А цена, которую я плачу, никого не должна интересовать. Мне по душе мои двенадцать побед.

— ...Шелудивого пса зацепила машина,— Ложье снова сплюнул.— Есть такие: шерсть клочьями, глаза гнойные... Тьфу!.. Ну шлепнула она его! На ляжке голое мясо. Лапы волочит, кровища... Сюзিনি его на руки и до ветеринарной лечебницы бегом. И еще потом платил... Альварадо у меня не выиграть!

— Смотри, как бы он тебя не надул,— сказал Кубар.

— Ничего, мы тоже не ангелы.

— А Зоммер? — Кубар едва поспевал за нами.— Сбавьте ход, ребята.

— Пусть этот Зоммер сначала поцелует меня в... и Пирсон тоже. Всем хватит места! Зоммер! Какой-то недомерок. Я ему обломаю рога! Пусть щелкают зубами, мы еще посмотрим!

Ночь в боковых улочках была настоящей, и фонари светили лишь на перекрестках.

Кубар сжал мне руку и засмеялся. По-моему, он не столько радовался мне, сколько встрече со своей молодостью. Нам было о чем потолковать...

Я привык к городским ночам. Выступления кончаются поздно. У тяжеловесов, как правило, поздно. И я знаю эту назидательную тишину ночных улиц. И та, что за Северным вокзалом, где был пансионат мадам Масперо, сразу признала меня. И когда я открывал окно и сидел, я слышал прохожего еще до того, как фонари начинали перекидывать его тень.

Обычно я выходил на рассвете. Первое, что я видел,

это рекламу «Эр Франс»: «Потеря времени на езду до аэродрома ничтожна. Ле Бурже — всего в тринадцати километрах от Нотр-Дам, Орли — в четырнадцати! К вашим услугам самая обширная и безопасная сеть воздушных сообщений!» Реклама на совесть высвечивала фронтон дома, восьмой этаж которого занимал частный пансионат мадам Масперо. Улочки еще прочно стерегла мгла, и по-ночному зябко сквозил ветерок. Я давал деньги привратнику. Он благодарил меня, но по его сонным глазам нетрудно было догадаться, что охотнее всего он дал бы мне пинка.

Под серебристым рекламным щитом «Эр Франс» было место свиданий кошек. Я выходил тогда, когда свалка была уже делом прошлым. И под рекламой восседал один и тот же черный кот. В подворотнях подывали соперники. Это был такой здоровенный кот, что я выдерживал дистанцию. Ему бы в голову не пришло уступить мне дорогу.

И город набегал на меня своими улочками. Витрины лавок и магазинчиков еще оковывали ставни. И от этого все улочки казались мне совершенно одинаковыми. И названия у них были отнюдь не героические. Я потом заглядывал в словарь, чтобы разобраться что к чему. Это были славные названия, в которых прочно обосновалась история. Даже если это история башмачников или каретных дел мастеров.

Прояснялась полоска неба над крышами — сначала низкая и узкая. Она ползла в небо, заботливо выдвигая из сумерек даже самый захудалый дом. Но я успевал пройти много площадей и улиц, прежде чем солнце зажигало стекла домов. Первыми вспыхивали окна под крышами самых рослых домов. Эти открытые, намытые ряды окон не признавали ставен. Свет играл в неровностях, выщипывал неровности и гасил черноту все новых и новых этажей. Здесь помещались конторы фирм, бюро, учреждения.

А внизу навстречу шагам выходили все новые и новые мостовые. Не прерывались вереницы автомобилей, приткнутых к тротуарам. Окна жилых домов были слепы крашеными деревянными ставнями. У домов пообшарпанней ставни были оржавлены дождями и темнели доски из-под пузырей отсохшей краски. Дворники сгоняли лужи к стокам. Тени жались к стенам. В центре города нарастал грохот нового дня.

Мужчина в спецовке и сапогах прилаживал лестницу к афишной тумбе — у этого места я обычно выходил на авеню Жан Жореса. Сверху тумбу опоясывала повторяющаяся надпись: «Национальная лотерея. Тираж в среду». Лестница упиралась в тумбу длинными зубьями. Рабочий сноровисто соскребывал афишу. На тротуаре рядом с рулоном афиш, обмякнув, стояла сумка. Там всегда был сверток и пузатая оплетенная бутылка. Дворник, покуривая, комментировал рекламные объявления. Они не скучали, потому что еще задолго, как замечали меня, я слышал хохот. На второй день они уже здоровались со мной. И дворник спрашивал меня: «Национальная лотерея — как вам это нравится? Не меньше и не больше как национальная! Вы видели, месье, чтобы кто-нибудь выигрывал в национальную лотерею?» И всякий раз вместо меня отвечал этот расклейщик афиш: «Нет, нет, скачки! Только бы свести знакомства... Это вернее».

«По тебе видать, что это за знакомства, — говорил дворник, — по-прежнему клеишь эти бумажки. — И спрашивал: — А скачки эти тоже национальные?..»

Бесполезно было и пытаться понять их скороговорку. К тому ж там попадались и такие слова, которых нет ни в одном справочнике.

Диковинно безлюдными были знакомые с детства по книгам площади и набережные. И еще неотравленным было дыхание города. В садах и скверах туман окроплял деревья и кусты. Но в тесных закоулках воздух затхло отдавал каменной сыростью и плесенью. Осклизло лоснящимися были скамейки, покойным и чистым — небо.

Туман клочьями уходил в небо. Город закладывали тучи. Но к часам семи-восьми снова проглядывало солнце. Небо выплескивало голубизну и белые-белые облака. Но к полудню марево размывало краски. И белые облака сливались с мерцающей дымкой.

Тускло пятнало солнце Сену. Вода закручивалась возле опор, разбегалась зыбью, внезапно застывала гладью, чтобы слиться с бороздами течения.

Кварталы домов дробили потоки автомобилей и людей. Дрожали мостовые, стены домов, и удушливой синью стлались выхлопные газы.

Я возвращался автобусами. Это было долго и утомительно, но я видел город. Я всегда ехал к авеню Жана

Жореса, а уж оттуда находил дорогу к пансионату. Двадцать пятым маршрутом автобуса можно было прочесать авеню Жана Жореса из конца в конец. Но проще всего было добраться автобусами до площади Республики, а оттуда к Северному вокзалу. На этой площади сходилась много маршрутов. Автомобили крутили по площади, как карусель.

Занятия в институте смахивали на рекламное шоу. Я не мог бы с уверенностью сказать, кого было больше — зевак, репортеров или специалистов. Выкладываться ради этой игры в спорт не имело смысла. На вопросы не скупился, но они были далеки от подлинного интереса к нашему делу. Потом меня окружали, щупали, цокали языком, фотографировали, рассказывали, какими они были сами сильными атлетами.

На ночь в пансионате я штудировал путеводители. Однако с утра не отправлялся созерцать арены Лютеции, Багателль, башню Сен-Жак, Бурбонский дворец, особняк Карнавале, дворец Кюни...—я снова шел в город последних ночных теней, обещаний нового дня и шел, сколько доставало сил. Я старался запомнить этот город дней, часов и людей моей жизни.

И, как люди, меня влекли деревья. Их в Париже достаточно — почтенных деревьев, возраст которых века. На них наталкиваешься повсюду. Утром, когда еще ночь и тишина глазасты, я трогал их ладонями. Еще в детстве по дороге в школу я украдкой просекал мелком на одном из стволиков сиреневого куста черточку. Я хотел, чтобы сбылись мои мечты. И просекал мелком черточки год за годом и все на одном и том же месте. До сих пор помню шероховатость коры и какой она была в мороз, иней, дождь. И как неподатливы и хлестки были ветки зимой. И как за листьями было радостно просекать эти черточки. И листья всегда шелестели по-разному. Рукав всегда намокал после дождя...

Не единожды я приходил к Консьержери. Прокопченные стены, утопленные слуховые окна, готическая плеточная крыша, стрельчатая дверь за двумя решетками, которую охраняли Серебряная башня и башня Цезаря. А там просторный парадный двор, прозванный Майским. Торжественно-величавая лестница, как в наших екатерининских дворцах, и строй изящных фонарей. Но все это я увидел потом.

«Консьерж,— пишет в одном из своих исследований историк Ленотр,— имя существительное мужского рода; означает человека, охраняющего дом. Применительно же к данному замку — части Дворца Правосудия — сие название совершенно утратило смысл...»

Не без хлопот и вмешательства дирекции института мне дозволили побывать во Дворце Правосудия. Служитель вежливо ограничивал мой маршрут.

Я подошел к карнизу верхней лестницы и узнал в окно тот самый крохотный дворик. Арка соединяла его с Майским двором. Из этого невзрачного загончика в эпоху Великой французской революции дорога вела в Консьержери. А в Консьержери распоряжался гражданин Ришар. И войти в Консьержери можно было лишь через кабинет старика Ришара. Другого пути в камеры не существовало.

Я знал, что Дворец Правосудия основательно перестроен и многое теперь не так. Но какое это имело значение. Здесь революция отбивала свои самые грозные и трагические часы.

Здесь в одном из залов Дворца Правосудия заседал революционный трибунал. Это был тот самый зал, в котором, постегивая себя хлыстом по голенищам высоченных ездовых сапог, Людовик XIV изрек свое знаменитое: «Государство — это я!» У Франции тогда еще не было Вольтера, Руссо, Монтескье, Дидро, Д'Аламбера — этого первого натиска на мракобесие. Впоследствии Робеспьер скажет о них: корифеи ораторствовали против деспотов, а получали от деспотов пенсии, писали книги против Двора и одновременно — речи придворным, мадригалы куртизанкам, все эти господа держали себя гордо в своих сочинениях и пресмыкались в передних... Вокруг меня шелестели шелка камзолов, вкрадчиво лилась лесь, и шпаги в ножнах, как драгоценности дам, украшали придворных...

И еще не было у Франции Марата, Сен-Жюста, Робеспьера, якобинцев, санкюлотов и Марсельезы...

И я вспомнил слова своего тренера: «Фантазия губит в тебе спортсмена. Ты сам не знаешь, какой силой одарила тебя природа. А ты?.. Твое воображение десятки раз переигрывает будущее. Ты же должен не думать ни о чем, кроме того, что нет человека сильнее тебя. Ты распляешь силу в чувствах, которые бесполезны твоим победам. Пропускай настоящее, верь только настоящему,

презираю сомнения». Поречьев верил в благотельность ограниченности. Ограниченности ради побед.

...Служитель снисходительно переспрашивал меня: «Зал Заглушенных Шагов, Мышеловка, лестница Королевы, зал Свободы?..»

В Серебряной башне и башне Цезаря жил прокурор республики гражданин Фукье-Тэнвилль. Здесь вечерами при свечах он просматривал списки. Скольких же из этих людей он знал! Близко знал. Порой ему даже представлялось, как они говорили в последний раз. И какой была теплота их рук. И верили ли они в то, что будут вечны, как верят в это дети. Нет! Списки, крутые завитки списков летели на стол... Завтра! В каждой ночи есть это завтра. Таится это завтра. Мощно и неприступно сжимали узкие ходы именитые башни...

Лошади эшафотных дрог дожевывали сено. В конюшне тепло животным дыханием и спокойно.

Свечи чадили в покоях гражданина прокурора. Нагар. Но до свеч ли ему, да и только ли ему?.. Республика в корчах неизвестного. Гражданин Фукье-Тэнвилль примеривал это будущее. Боялся ошибиться.

И в ушах странная мешанина: гавоты, менуэты, хоралы... Корелли, Вивальди, Рамо... и Марсельеза... Кто слышал, как требует толпа! Как дышит толпа! Неподкупный! Искренность! Празднество Высшего Существа! Безбожие!..

Лошади распаленно горячи во сне. Кучера непробудны в своих снах. Торопливы минуты перед рассветом... А что сказать завтра?.. Сен-Жюст, Кутон... Неподкупный!

Карно? Лаплас? Если бы эти ученые головы умели рассчитывать будущее? Что все эти формулы, если нельзя рассчитать будущее?

Отсюда, из этих стен, вскоре после падения республики якобинцев, дроги повезли на казнь Фукье-Тэнвилля... Конвент, Комитет Общественного Спасения, Друг Народа, Бабеф...

Ночь с девятого на десятое термидора. Алчность в одеждах справедливости восстает.

Эта ночь в Конвенте. Та ночь! Робеспьер кричит депутатам: «К вам, к вам обращаюсь, непорочные доблестные мужи, а не разбойники!»

Злоба, восторг, сомнение и ужас... И ни одного жеста или слова преданности!

Робеспьер кричит президенту Конвента: «В последний раз, президент убийц, прошу у тебя слова!..» Но уже поздно. Конвент во власти заговорщиков.

«...Присоедините и меня к нему!» — поднимается с места Робеспьер-младший.

Чтобы не попасть в руки заговорщиков, Робеспьер спускает курок... Я видел пистолеты того времени. Пуля увесиста и велика. По описаниям современников, ее выходное отверстие оставляло на теле рану с фарфоровое блюдце... Современники имели в виду блюдце чайного сервиза. Как призрачно голубоват этот настоящий фарфор! Как хрупок и невесом!..

Пуля дырявит рот — Робеспьер жив. Его кладут на стол... для поругания. Кровь на щеках, на подбородке, шее, затылке. В мазках крови синий фрак, белые чулки и нанковые штаны, модной в ту пору бумажной ткани. Робеспьер утирается кобурой пистолета. Он не выражает ни страха, ни отчаяния — это отмечали все очевидцы.

Поступь толпы — жадный напор толпы. Жандармы, носилки с Робеспьером. За ним врач — приказано предпринять все, чтобы Неподкупный дожил до казни. Зрелища казни. Глумления.

Глупое состояние беспомощности. Какими еще словами пробить уши этого любопытства! Что устоит перед поруганием любопытства и выжидания? И это лица? Господи, это лица! За носилками конвоируют Сен-Жюста и Дюма. Сен-Жюст по обыкновению элегантен и невозмутим. Путь из Тюильри в Консьержери...

Эти стены много знают. Знают даже о бессмертии и Бессмертных. Но не тех Бессмертных, как иронически называют членов французской академии...

Улица Сент-Оноре, Тюильрийский сад... Четыре часа пополудни. Гревская площадь. Эшафот. Палачи срывают повязку — Робеспьер не вытирает кровь. Здесь же Сен-Жюст, Кутон, Дюма, Анрио, Огюстен Робеспьер-младший — брат Неподкупного... — двадцать один смертник. Цвет якобинства. Жандармы на выкрики толпы саблями указывают, кто среди этих двадцати одного знаменитый Робеспьер. Нет, не путайте его с Огюстеном! Нет, вот этот! Этот и есть тот самый! Вводится скошенное лезвие гильотины. Миг!..

С глухим стуком скатывается в корзину голова. Гаснет сознание. Небытие.

Но нет гильотины для «Декларации прав человека и гражданина», предложенной Максимилианом Робеспьером двадцать четвертого апреля тысяча семьсот девяносто третьего года. Память чеканит слова:

«...Если один из членов общества подвергается угнетению, налицо угнетение всего общества. Если общество подвергается угнетению, налицо угнетение каждого члена общества... Люди всех стран братья, и разные народы должны взаимно помогать друг другу по мере своих сил, подобно гражданам одного и того же государства...»

Каждое падение лезвия гильотины толпа встречает овациями. В стоке не просыхает кровь. Феодалы и буржуа возвращали свое «богом данное» право на диктатуру, суд и обогащение. На эшафоте бесчестили историю.

И снова память чеканит строки. Это откровения маленького Тьера — душителя парижской коммуны, потраченного добрую часть жизни на опорочивание смысла борьбы Робеспьера и его личности: «Робеспьер был, безусловно, честен и неподкупен, а чтобы пленить массы, необходимо доброе имя. Он был безжалостен — а жалость губит людей в революциях. Он обладал гордостью, упорством и настойчивостью... Талант Робеспьера чрезвычайно развился в долгую борьбу революции... Слог его обладал чистотой, блеском и силой...»

Десятого и одиннадцатого термидора за газеты платили баснословно: тридцать франков! Шампанским торговали нарасхват. Курьеры загоняли лошадей, чтобы обрадовать своих монархов. В Антибе у матери после утомительной поездки в Геную отдыхал Наполеон Буонапарте — протеже Робеспьера-младшего — генерал от республики после Тулона, надежда революционной Франции...

Европа ликовала! Будущие декабристы из своих люлек слышали счастливую суету родовых гнезд. Образа святых озаряли все новые и новые свечи...

Мадам Масперо едва здоровалась со мной. По ее представлениям я вел себя более чем неприлично. Я нарушал священный уклад жизни. Еще до рассвета я будил привратника — ее обедневшего родственника. Щелкал замок — и за спиной оставалась заспанная склеротическая физиономия ценителя виноградных вин. И ночь

узнавала меня. И самолет на рекламном щите обещал все восторги путешествий. И едва уловимая синь уже подкрашивала небо. И черный кот шурил свои пустые зеленые глаза. И знакомо гулко стучали мои шаги. И угодлива была пустота всех улиц. Я умел ладить с их одиночеством. Улицы были полны моим ожиданием. И все рассветы вставали, чтобы не обмануть мои ожидания. И солнце давило на плечи, обжигало лицо, расточало жар, поднимало город из ночи, чтобы я узнавал свои мечты. Солнце было в сговоре со мной.

За листвою, подсушенной зноем, качалось небо, ровное и везде одинаковое незадолго перед восходом солнца и вспаханное облаками, бездонно-синее — днем. Широко и жадно были расставлены ветви, тяжело и крепко напитаны соками кряжистые стволы. Солнце теряло силу в жадности прикосновений. Сонно замирали деревья. Жар томил плоть деревьев. Истома чудилась в шорохе листвы.

Кора лип была сероватой, будто выпотевшая солью, вспученная в местах, где прежде рождались ветви. Продольные утолщения коры столетиями взбирались от корней к макушкам.

Зачем я приходил к ним? Зачем я топтал утренние тени? Разве я мог выразить это словами? Если бы я знал точнее название тех слов...

Но ведь тишина знала! Пустота улиц знала. И солнце — тоже, и эти деревья, которые только и были заняты тем, что ловили солнце.

И когда я ощущал тепло солнца на коре старого дерева, я верил, будто жизнь только начинается. И когда в далекие улицы вдруг тонко и остро вливались жала солнца, я опять верил в то, что все впереди. И еще когда только начинало светлеть небо, я уже испытывал то же чувство. Нежными и сильными голосами начинали звучать эти чувства. И я слепнул, гложу, вслушиваясь в них, узнавая их. И мир обретал вдруг необыкновенную ясность. Ясность моих детских фантазий. Юношеских фантазий. Бреда первой влюбленности.

И я уже терял себя в слитностях нежности, исступления, чистоты и наплыва все новых и новых чувств.

Я был груб. Сила утверждала мою грубость. Во всех залах мира я утверждал права своей силы. Мускулы выбирали слова для моей жизни. Все эти слова льстили. Сила отстаивала эти слова. А я забывал их в одиноче-

стве улиц, в веселии рыжего солнца, в ласке старых деревьев, волнении невысказанных слов.

Я был нем словами. Их было очень много. И я умел читать их, но был нем. Каждое слово, произнесенное вслух, умирало. И я берег все эти слова. Это было странное счастье. Немое счастье.

Все надежды обещали сбыться. Но я не знал, какие. Просто надежды больших и светлых чувств...

А на рассвете ветерок будил еще по-ночному глубокие тени. Путались шаги в этих тенях. И на дорожках скверов влажновато отпечатывались следы моих ног. И нетронутыми лежали одинокие листья. Птицы подпускали так близко, что я видел желтоватую кожицу вокруг глаз. Потом они взлетали плотной осенней стаей. И потрескивали крылья, и воздух туго вырывался из-под крыльев. Птицы всегда кормились, когда небо становилось розоватым, и этой розоватостью светилась даже трава на газонах. И если провести ладонью по скамейке, она становилась мокрой, а на росистой поверхности оставался темный след.

На третий день ближе к полуночи мадам Масперо пригласила меня к телефону. В тот вечер она замещала своего привратника. В трубке я услышал неторопливую русскую речь. Аркадий Зимин — так назвался человек — сказал, что тренировался с Сашкой Каменевым, сам «железятник», брал призовые места на республиканских чемпионатах, называл общих знакомых и взял с меня обещание быть завтра к четырем в нашем посольстве. Назавтра у меня был свободный вечер, и я согласился. Я положил трубку и разозлился на себя. Я знал эти приглашения. Всех интересовали подробности поединков и мои шансы. И шансы тех, кто мог «съесть» меня. Все вопросы я знал наизусть. И еще мне опротивели эти просьбы выпить. И похвальба, кто сколько выпивал и съедал из чемпионов прошлого. Между желудком и силой разницы не делали. И еще давали понять, что они, хоть и не чемпионы, но не лыком шиты. И все рассуждали о силе, словно знали о ней все.

Мадам Масперо укоризненно посмотрела на меня, когда я грохнул телефонную трубку на место. Она была очень вежливая и очень правильная. И сидела она всегда так прямо, будто от этого зависели все ее добродетели. У нее была тонкая талия. Я бы даже сказал — хруп-

кая. И глаза — чересчур внимательные серые глаза. Я попросил минеральной воды и ушел.

В Париже я был пятый раз. Но что я видел до сих пор, кроме раздевалок, «железа» и гостиничных конурок? И мадам могла пялиться сколько угодно, все равно я завтра встану перед рассветом. Я подумал, что это время безошибочно определяет тот здоровущий черный кот — король всех котов улицы.

Мадам Масперо принесла в номер воду. Она оставила дверь распахнутой, дабы соблюсти приличия. И от этого я разозлился еще больше. Но покушаться на добродетели мадам, которые приносят минеральную воду? И потом этот зеленоглазый черный кот? Я забыл свою злость и... рассмеялся. Мадам Масперо подняла брови, затем свою головку. Это был вопрос, заданный по всем правилам хорошего тона. Ей были к лицу эти кружева пелеринной.

Я сказал ей, что прочитал забавную вещь. «Это вышло неловко, мадам, — сказал я, — простите мой смех».

На столе лежали пластинки. На обложках были снимки обнаженных девушек — заурядные рекламные обложки. Мадам Масперо просто не придавала значения скрипкам, которые держали эти юные девицы, похожие на мальчиков. Худоба входила в моду. Мадам Масперо перевела взгляд на другую пачку пластинок. И там обложки были отнюдь не целомудреннее. В таком оформлении я купил полное собрание струнных квартетов и дивертисментов Моцарта.

Я только мог подивиться, какое множество оттенков могут выражать брови мадам Масперо.

— Плату за воду я включу в общий счет, — сказала мадам Масперо.

— Разумеется. — И я снова не смог сдержать улыбки, вспомнив усатого черного кота. Этот кот умел охранять нравственность своей улицы.

Назавтра в половине четвертого я вышел из вагона подземки на станции Бак.

Я уже бывал в посольстве. И оформлял документы, и просто заходил, а однажды проиграл полдня с Сашкой Каменевым на бильярде. Там в подвале отличная бильярдная. Сашка тогда продул мне две бесплатные, разумеется для меня, поездки в такси. Мы всегда спорили с ним на поездки в такси или любимые музыкальные

диски. Впрочем, эту традицию он перенял от Карева. Но мне везло с обоими. Однажды я держал пари с Каревым, что немец Кухинке не войдет в призовую тройку. Пятнадцать дисков стали моим призом. С тех пор он уже никогда не спорил так крупно. А спорить с ним было приятно. Семен всегда вскакивал, если сидел; лицо принимало выражение, как перед решающим подходом на рекорд; Карев обязательно хлопал меня по ладони — в этом он походил на Ложье. Я никогда не отказывал ему в удовольствии поспорить. Меня всегда забавляло его волнение. И еще это было здорово потому, что отвлекало его от бесконечных пересчетов своего результата и результатов соперников. Каждый новый год я рассылал свою добычу. Диски я никогда не трогал. Я так и отсылал их Кареву и Каменеву запечатанными. Я испытывал удовлетворение, когда упакованная посылочка исчезала за окошком в почтовом отделении...

Посольство занимало бывший дворец герцога д'Эстре. В моем воображении дворец с детства представлялся несколько иным, но путеводитель в этих вещах разбирался. Я даже запомнил, что дворец построил архитектор Робер де Котт в тысяча семьсот тринадцатом году. И хотя приставка «де» обозначала дворянство, я, когда читал путеводитель, посочувствовал Роберу де Котту. Архитектор есть архитектор, как и любой из тех, кто предается искусству. Будь он трижды знатен и богат, все равно он из подневольных. Я даже представил, как герцог капризно выправлял линии на чертеже де Котта. А де Котт шипел слова восторга гениальности герцога, который, наверное, в жизни не держал ничего, кроме уздечки своей лошади и ножек своих любовниц...

Ведь говорил же Людовик XIV, что ум королей и высшего дворянства уже от рождения научен ценить и управлять прекрасным. И хлыст, золотые ливры, милостивое одобрение — конечно же, все это расточалось из врожденного чувства к прекрасному.

Обо всем этом я думал, когда поднимался из подземки. На улице Греспелль я пошел по правой стороне, если станцию Бак иметь за спиной. Я шел и улыбался. Я вспомнил, как умел ценить прекрасное Людовик XIV. Что выше бесконечной смены женщин — не это ли и есть самое прекрасное! Король-солнышко не отличался разборчивостью. Этих «произведений прекрасного» было более чем достаточно. И король знал высшие критерии

прекрасного. Придворному дантисту всегда отдавалось одно и то же распоряжение: зубки «творений прекрасного» привести в порядок. А дальше король знал, что делать с «прекрасным»...

На улице Гренелль я поглядывал на номера домов. У нашего посольства был номер семьдесят девять. И я без того бы узнал его, но улицу я успел забыть. И я покорно следовал нумерации.

Я крутил головой, стараясь выискать взглядом хоть какие-то приметы затейливого барокко «осьмнадцатого века». Как-никак я был в квартале, носящем старинное название Сен-Жерменского. На первый взгляд он мало чем выделялся. Но что поделывать, если я был с детства напичкан романтической чушью. В памяти звучали голоса форейторов, постукивали колеса карет, лакеи в буфках торопливо откидывали ступеньки карет...

Над воротами дома номер семьдесят девять висел красный флаг. За овальной глухой стеной кирпичной кладки строгостью линий был вычерчен трехэтажный особняк с двумя пристройками. К воротам свернул автомобиль, включил фары. После паузы ворота медленно отворились. И я понял, что они срабатывают по сигналу фотоэлемента. Я успел заметить вымощенный брусчаткой двор.

Через проходную я прошел в особняк. На площадке дежурил посольский работник. Я поздоровался и назвал себя. Он сказал, что Зимин сейчас приходил и просил его подождать.

Дежурный стал спрашивать меня о Харкинсе и нашем бывшем «полутяже» Александре Станицине. Станицин выиграл в Берлине и Мехико у японца Огато Синити. А что случилось потом, до сих пор никто не может понять. Станицин бросил спорт. Бросил, когда уже не было ни одного серьезного конкурента. Я-то знал, в чем дело. Слава оказалась не тем счастьем, ради которого стоило бороться. Он понял это, когда испытал. А он верил в то, что счастье есть. И он снова стал его искать. Все начал сызнова... Но обо всем этом я не стал рассказывать. Я назвал результаты Станицина, Огато и нового «полутяжа» Владимира Желтова.

— Аркаша, самый сильный человек ждет тебя!

По лестнице спускался мужчина лет сорока, полный, с заметным брюшком. Он улыбался.

И по тому, как он шел, я понял, что он действительно

занимался тяжелой атлетикой и занимался основательно. Так развалисто со слегка разведенными руками ходят только атлеты, скованные мускулатурой.

— Аркадий,— назвал он себя, и мы поздоровались.

Он перекинулся несколькими словами с дежурным, сказал, где его найти, если понадобится, и повел меня по особняку, рассказывая о каждой комнате.

Потом он начал рассказывать о себе: «Таскал «железо». До сборной не дотянул. А жить-то надо. Вот и устроился. Третий год шеф-поваром. Работу люблю, но...» — Он не договорил. Мы вошли в комнату, где стоял накрытый стол. У окна за чайным столиком листал газеты маленький аккуратный человек.

— Николай Гребнев,— сказал он и встал. Я увидел гладко зачесанные редкие волосы, розовые уши и руки, по-военному прижатые к бокам. И весь он был очень рассчитанный: галстук, идеально завязанный, линии модного костюма, выверенные жесты. Когда он поднял глаза, я подал ему руку и назвал себя.

— Дамы и господа, прошу! — Аркадий взмахнул рукой.— Я за хозяина, официанта и повара!

— А помнишь, какие крабы были в последний раз на приеме? — сказал Гребнев.

Я набил ноги за эти дни и с удовольствием опустился в кресло.

— Нет, нет, на стул! — сказал Аркадий.

— Будем, как удобно,— сказал Гребнев.

Я вспомнил очерки и репортажи Гребнева. И с любопытством посмотрел на него. Писал он мастерски.

Аркадий наполнил рюмки.

— За встречу! — сказал он.

— Вы бывали в Париже?— спросил Гребнев.

Аркадий засмеялся:

— Да он везде бывал, Коля!

— Верно, везде. Аэродромы, гостиницы, помосты — это я видел во всех странах. И еще на другое утро после выступления — самолет. Это точно. Так было и будет.

Гребнев усмехнулся.

— Водка прокиснет,— сказал Аркадий.

Мы выпили. Водка была холодной. Точнее, бокал. Он ожег холодом пальцы.

— Спортсмены пьют?— спросил Гребнев.

— Водка прокиснет,— снова сказал Аркадий, и мы снова выпили.

— Зато гостиниц! Сколько же их было!— Я ощутил горячий толчок в груди.— Еще рюмка и баста,— сказал я.

— Перепьем мы с тобой нашего чемпиона,— сказал Гребнев.

— Ложье мылится под тебя,— сказал Аркадий.— Поговорил с ним. Он за визой приходил. Ты ведь не работал в Ереване? И правильно! Чего себя разбазаривать! Эх, «железо», «железо»... «Таскаешь», «таскаешь»... И такое чувство, не согнуть тебя. Все нипочем! Зло, как мусор. Злые люди, как мусор. Трудные дни, но какие!.. Ты, Коля, не криви губки — не напишешь. Ну что ты можешь понять?.. Эх, наше время — ветер! Есть сила и нет силы. Ты вот, Коля, можешь писать всю жизнь. Посол с годами тоже только ценность набирает. А у нас сила... как ветер. Была и нет! И не удержишь ее ничем! В двадцать пять, тридцать — не нужен ты своему делу?! Лишний ты. Понимаешь, в тридцать, ну в тридцать пять быть лишним, другую жизнь искать, другую начинать, а если ей все отдал и все без нее постыло?! Эх, Коля! Правильная ты душа. Сейчас предложишь сотню профессий. Эх, ветер наша сила. Прошел, закрутил — и нет его. Ищи! Эх!.. А Ложье под тебя мылится. Говорит, что в Варшаве ты выиграешь, но в последний раз. Трепло!

— Пусть,— сказал я.— Разве я запрещаю? Пусть все пробуют.

Аркадий перегнулся через стол и ощупал мои плечи. Крякнул. Налил в рюмки водки. Мы выпили.

— А как тебе здесь?— спросил я его.

— Снимусь зимой. Пусто мне здесь, понимаешь, пусто...

В комнате и за комнатой было тихо, как в школьном коридоре на уроках.

— Я на кухню,— сказал Аркадий.— Закусывайте. А я сейчас с борщом! Настоящий борщ!

И столько было на его лице радости, что я рассмеялся.

— А закуски!— Аркадий выпятил губы.— Закуски-то!

— Откуда взялся этот Альварадо?— спросил Гребнев.

— Ты крабы ешь, Коля,— сказал Аркадий.

— А Пирсон?— спросил Гребнев.

— Оставь,— сказал Аркадий.— Опухнешь от твоих вопросов. Ты их лучше потом сам додумай. Давай-ка с тобой еще раз чокнемся.— Руки Зимина были напряженно согнуты в локтях.

Гребнев проглатывал водку и не менялся. Все тот же невидящий прямой взгляд. Заученно правильные движения. Особенная хмурая значительность и уверенность, что тебя слушают.

И время в моем сознании вдруг снова сдвинулось. Заметались язычки свечей. Пахнуло нагаром. Скупостью огней придвинулся к окну старый город. И память снова принялась расшифровывать строки старинного романа. Мирабо! Представление королю Франции. Сырой холод нетопленного зала. Шеренга придворных, в строгой расчитанности рангов. Самый последний господин в черном бархатном камзоле с голубой лентой. Это граф Мирабо. Будущий граф Буря, будущий Друг Людей, будущая запутанность великих поступков и сословной слепоты.

Унизительность ожидания. Шепот придворных.

— Разве мы на церковной службе?— спрашивает Мирабо у соседа.

В зале тишина. Кто смеет подавать голос? Как смеет подавать? Оскорблено все раболепие чинов. Мирабо нетерпеливо переминается: «Когда же?»

Маршал Ришелье спешит к Мирабо. Он проворнее шепота негодования.

— Будем счастливы, граф,— шепчет он.— Теперь можно хотя бы шепотом говорить. При покойном государе вовсе не говорили...

Потом потерянные годы. Потом сорок два месяца тюрьмы. Потом крушение всех шеренг, всех почтений и бархатного величия. Слава Мирабо! И уже ледяной голос Робеспьера...

Я оглянулся. Небо было молочноватым за приспущенными шторами. Стены комнаты украшали завитушки барокко. И стулья, диван, столы кичились своей хрупкостью. И золоченые линии на красном дереве затейливо обрамляли искусную резьбу.

— Оставь ты его,— Аркадий кивнул на меня и открыл дверь. Дверь была высокой и так же озолочена линиями барокко. Линиями солнечной радости. Обе створки двери были белые и очень высокие.

Город лежал под солнцем. И опять в предвечернем мареве расплывались белые облака. Паруса облаков...

Комната теряла определенность в сумерках. Слова мои были бесцветны и пусты. Я отвечал Гребневу готовыми фразами. Они освобождали мозг. Я мог спокойно

вслушиваться в ритм предметов, становиться частью этого ритма. Слышать ритм огромного города.

Вернулся Аркадий и расставил тарелки. Потом снова вышел и вернулся с вентилятором. Поставил его на чайный столик и включил. И блаженная прохлада посрамила позолоту времен. Замерли и сникли в креслах шелка шлейфов, камзолов. И галантные жесты уступили безмолвию истомы. Воздух плавно закрутил по комнате. В тенях шевельнулись и пропали парики, букли, лики графюр...

Аркадий затеял спор с Гребневым о достоинствах певицы Матье. Аркадий утверждал, что у великой Пиаф слишком много металла в голосе. Гребнев выстраивал свои формулы.

Я кивал, соглашаясь с обоими. Впервые за много лет, если не считать нескольких дней охоты за Вологдой, у меня был перерыв. Целых две недсли!

Ребята чокались. Я только поднимал пустую рюмку. Но мне было очень хорошо. Чувство свободы, независимости от тренировки пьянили. И там за дрожащим в зное небе я видел белые облака. Белые паруса пятнали небо.

Я был, что называется, «комме иль фо». Я вежливо кивал, хотя мне было совершенно безразлично, о чем говорят мои хозяева. Я ел, хвалил Аркадия. А сам наслаждался расслабленностью мышц. Мне было приятно от мысли, что ни сегодня, ни завтра, ни во все эти дни мне не надо взводить себя необходимостью брать «железо», быть настороже. Таких чувств было очень мало в моей жизни. Я просто дурел от них...

— Жарков тебя обожает, — сказал Аркадий. — Что ни статья, все об одном: необходимо выставить двух «полутяжей»: Баженова и Желтова. А тебя, выходит, побоку?..

— Пусть пишет, пусть... — сказал я.

Сквознячок славно охлаждал. Я протянул к вентилятору руки.

Аркадий засмеялся:

— Ты уверен, что он думает именно о сборной?

— Жарков очень опытный тренер. Верно? — сказал Гребнев.

— Очень опытный, — подтвердил я.

И я впервые понял, что будет означать для меня срыв на соревнованиях. Я знал все последствия, но почувствовал с такой ясностью впервые.

«...Жарков сам выступал,— думал я.— Вряд ли кто поверит, что у меня может быть будущее. Уж в этом случае выведут из сборной — факт! И правильно — какие еще могут быть доказательства? Результат, только результат! Значит, работать без срывов и убедительно...»

— Торнтон в Париже,— сказал Гребнев.

— А это что за гусь?— спросил я.

— Ты же снял его рекорд в жиме!— Аркадий наклонился ко мне.— Торнтон!

— Торнтон! Ричард Торнтон?!

— Гастролирует. С семи вечера каждый день. Еще два представления,— сказал Гребнев.

— Я сейчас же поеду! Я должен поехать!

— Вот здорово!— сказал Аркадий.— Чур с тобой!

— В таком случае и я,— сказал Гребнев.— Мой карк вашим услугам. Ну-ка, Аркаша, кофейные зернышки!

— Кофе, потом зернышки,— сказал Аркадий.— Я приберу, потом поедем.

— А сколько лет Торнтону?— спросил меня Гребнев.

— Было девятнадцать, когда он ушел из любительского спорта,— сказал Аркадий.— Хотите или нет, а по рюмке «Бенедектина» вы отведаете. Это же избранный напиток самого Атоса!

— И за д'Артаньяна тоже будем пить?— спросил Гребнев.— Слава богу, что он, как истый француз, к тому же дворянин, не пил водку.

Я попробовал ликер и похвалил.

За шагами Аркадия вернулась тишина. И звон этой тишины. И размытость предметов в углах. И вся приглушенность этого маревого неба...

У купальниц едва уловимый апельсиновый аромат — это воспоминание неожиданно и физически ощутимо. Сквозняк перебирает белые занавески. В его запахах — запахи земли, влажной, размягченной росой; смородины, уже нагретой утренним солнцем, и болотца за деревней. На болотце жирная трава и крупные приметные цветы. Вчера эту траву и цветы положили косами. Воздух чист. И солнечный луч на подоконнике ослепителен. Жестковато трется на ветру листья тополя... К болотцу по холму сбегает ракитовая роща. Холодок тени накрывает колодец. В швах срубая мох. Трава вытоптана и земля заплескана водой. Низкорослые пучки трав ведут тропинку. И вода в ведрах очень темная. И в них отражения неба.

Темная гладь четкостей. И ленивое солнце в этой глади... Ветерок студит тело. Я чувствовал каждый каприз мышц... Над обрывом знойно дымился воздух и, перепархивая, перекликались жаворонки, овсянки, реполовы. И жулан нанизывал на сучья высохшего куста зеленых кобылок. И розовой была на солнце его белая грудь. А в дождь воду в ведрах дырявят тугие белые струи. И в черноте воды дрожат осколки отражений...

К коромыслу с ведрами я прихватывал и третье ведро. Мне нравилось упругое сопротивление тяжести. Нравилось преодоление этой тяжести, поступь затяжеленного шага.

Мне нравилось подниматься, угадывая толчки воды. Я любил это ощущение живой воды в ведрах. Я шел без роздыха до самого дома. И по-живому толкалась вода в ведрах. И если участить шаг, вода толкалась туже, нетерпеливей. Живая вода.

А когда я ставил ведро, там всегда были бледные листочки ракут, вклеенные в прозрачную гладь. Здесь, на дворе, вода была светло-прозрачной. От досок, от пыли веяло жаром. Я любил это солнце. Оно узнавало меня, льнуло к плечам, высушивало волосы.

Я доносил ведра до сенниц и возвращался. Ничто не могло быть жаднее этого солнца.

Я выдумал мальчишескую забаву. Не оставил ее и в юности. Я ловил солнце. Упрашивал солнце. Уговаривал солнце. Искал.

Я не хотел с ним расставаться. Я хотел найти ему место. Выжечь это место в себе. И не расставаться во все дни. Во все дни видеть. И я верил — все в жизни сбудется. И самое главное — Жизнь! Я боялся потерять ее. Не Жизнь, а то, что видел, чем дышал, что выбеливало мои мальчишеские волосы.

Жизнь! Горячая, быстрая, жаркая, жадная!..

И я старательно выжигал себя этими солнцами-чувствами. Я хотел вплавить его в себя. Я верил, что с ним всегда буду таким, каким был в юности. И юность войдет во все мои годы. Даже самые последние...

Солнце научило меня не беречь себя. Просто жизнь — это еще не вся полнота чувств, не все дни и не все удачи. И я искал свое солнце. Оставался верен этому солнцу. Сверхсияниям солнц.

Я пренебрегал счетом лет. Я старался видеть свои солнца. Всегда видеть...

Когда мы вышли, небо уже светлело по-вечернему. И облака, очистив небо, застыли у горизонта. Заря перебирала свои краски. А когда мы, миновав, наконец, уличные пробки, добрались до цирка, солнце уже не было видно даже между домами. Желтовато тлела неподвижная полоска облаков.

— Будет хороший материал,— сказал Гребнев, запирая автомобиль.— Как пить дать, будет.

Цирк пустовал наполовину.

— Жаль, диктофон дома,— сказал Гребнев.— Ждет меня здесь работенка. Как пить дать, ждет.

Мы опоздали к началу и, когда вошли, первое, что увидели,— это весы, на которых стоял Торнтон. Его взвешивали.

— Сто семьдесят семь килограммов триста граммов!— объявил переводчик.

Цирк засмеялся, зашикал, засвистел.

Служитель принес и откупорил литровую бутылку кока-колы. Торнтон отпил и показал большой палец. Он разгуливал по арене и рассказывал о себе. О своем детстве — в пятнадцать лет он весил сто десять килограммов. О победах на чемпионатах. О рекордах, которые свели с ума всех знатоков. О том, что он разбудил спорт своими рекордами, но, к сожалению, об этом умалчивают. Потом стал рассказывать о своих ногах. О самых сильных в мире ногах. О том, что каждая застрахована на полтора миллиона долларов. Он поочередно поднимал ноги и шлепал по бедрам. Вяло болтались мучнисто-белые зажиревшие мышцы. Хлопки звучали мокро, липко. Одышка мешала ему. Он дышал часто и громко.

— Ричард не женат,— рассказывает цирковой переводчик.— У него кроткий характер. Он любит молоко, сладкие пирожки. Мебель для него изготовлена фирмой «Фосс и Сазерленд». Его любимый композитор — Эллингтон. Он обожает киноактрису Сузи Бакли. Всем напиткам предпочитает кока-колу...

Торнтон всегда был громоздок. Но с возрастом мышцы исчезли под наслоениями жира. Лицо расплзлось книзу, утонув в сальной подушке подбородка.

На левой руке та же крага, знакомая по фотографиям. Семнадцати лет он сломал руку и с тех пор крагой страхует кости. Я помню, тогда мы спорили, поднимется ли он после открытого перелома левой руки. Торнтон поправился и показал свои лучшие результаты.

Мне кажется, я видел его уже сотни раз. Те же курчавые черные волосы, но с заметной проседью. А улыбка белая, как на юношеских фотографиях...

Торнтон расставляет ноги, и переводчик портняжным метром измеряет окружность бедра. Сто сантиметров!

Ноги не сходятся. Торнтон идет медленно, закатывая ногу за ногу, отдуваясь.

— Рекорды требуют жертв,— говорит переводчик.— Больше пятисот метров в день Ричард не в состоянии одолеть. Зато это самые мощные ноги, на каких когда-либо держался человек!..

Живот дрябло колышется, когда Торнтон сосет из горлышка кока-колу. Руки кажутся короткими из-за чрезмерной толщины. И тут только я замечаю, как он одет. На ногах ботинки, совсем как женские сапожки. В каблуках, наверное, сантиметров по пять. Красный берет с помпоном сутенерски сдвинут на бровь. На плечах нелепая коротенькая курточка с кокетливыми застежками.

— Ну и чучело!— шепчет Гребнев.

Переводчик объявляет: «Вот в этой штуке сто килограммов! Уникальнейший трюк!»

Торнтон принимает к плечу гантель с металлической подставки. Упирается свободной рукой в бок и, отклонившись, выдавливает гантель. Жим нечистый — это старинное цирковое выкручивание. Но все равно нагрузка велика.

В юношеских мечтах я сотни раз встречался с Торнтоном. Я бредил необыкновенными людьми и большими странствованиями — Жизнью. И я привязался к силе. К силе, которая исключает смирение. Каждое утро я встречал солнце. И во всех лицах людей я видел это солнце.

Я хотел всегда быть в движении, хотел измерять назначения солнц, а жизнь скупое вела счет всем дням и ночам. Она не выдерживала ритма моих желаний, жадность моих желаний, напора усталостей. И я стал отрицать слабость. Я стал жить не в ладах с этой бухгалтерией дней, ночей, усилий и трудных дорог...

Торнтон садится на стул, пытается расшнуровать ботинки, но мешает живот. Он подтягивает ногу рукой.

Я уже знаю: сейчас станет приседать. Когда Торнтон сломал руку, других упражнений, кроме приседаний, для тренировки не осталось. Он «качал» ноги так часто, сколь-

ко попевали отходить мышцы. Чтобы не терять время, он установил станок в спальне. А в спальне Торнтон приседал без обуви. Именно тогда он заложил в ноги ту силу, которая стала основой будущих побед.

Торнтон говорит в микрофон: «Господа, вот чек!» Он роется в заднем кармане шерстяных трусов.

«Чек на двадцать одну тысячу долларов!— говорит за ним переводчик.— Очко! Понимаете, очко?! Кто повторит трюк, может забрать чек!..»

Торнтон, сбывшись, оглядывается: «Ну, господа?!» Выкладывает чек, прихлопывая ладонью.

Свет гаснет. Белый луч нащупывает бумажку. Рядом неясно шевелится белая громада — это Торнтон. Он смеется. Станный утробный смешок.

— Один человек имеет шансы повторить мой номер!..— Торнтон называет мое имя.

— Ну бродяга!— шепчет Аркадий.

Вспыхивает свет. Кто-то толкает меня в бок. Я оглядываюсь. Это Гребнев. Он никого не видит и не слышит. Мелькают страницы блокнота.

— Не очень-то старайся,— бормочет Аркадий в сторону Гребнева.— Грыжу наживешь.

— Заткнись, Аркаша.

— Смотри...

Торнтон, раскачиваясь, идет к станку. Вместо штанги там ось с чугунными колесами. Режет глаз белизна полуобнаженного тела.

— Пятьсот пятьдесят семь килограммов восемьсот граммов!— объявляет переводчик.

— Сколько?— шепотом переспрашивает Гребнев.

Аркадий ухмыляется: «А ты руку подними и спроси».

— Чего ты взъелся?

— Это же Торнтон! Понимаешь, Торнтон! Пиши о ком хочешь, но Торнтон не трогай! Пиши о других, пиши, не жалея, но его не трогай!..

— ...Ну кто?— говорит Торнтон.— Ведь двадцать одна тысяча! Маловато? За большую согласитесь? Называйте цифру и пробуйте, а? Что же вы?! Смотрите, чек!.. Значит, нет. Значит, опять мне, господа? Все по справедливости, да? Ну разделите же кто-нибудь со мной эту радость!

Торнтон поднимается на помост, набрасывает на плечи стеганую прокладку. По-штангистски безвольно бросает руки вдоль тела. Потом коротко захватывает воздух

и взваливает на плечи ось. Пятится. Со свистом и бульканьем вырывается дыхание. Торнтон ступнями опробывает пол. Лицо раздувается, темнеет кровью. Среди шепота, шушуканья и шелеста конфетных оберток я слышу этот надсадный хрип. Хрип окаменевшей плоти, плоти, которая жаждет воздуха, прорывается к каждому глотку воздуха.

Торнтон проваливается вниз. Он именно проваливается, чтобы спружинить ногами. В какое-то мгновение вес выбивает поясницу. Ось гнет его вперед — из этого положения не встать, если еще немного упустить вес. Но Торнтон выводит тяжесть. Выпрямляется и неверным куцым шажком возвращается к станку. Точным движением освобождается от тяжести. Выдавливает улыбку. Лицо в каплях пота, рот открыт. Он мотает головой, стряхивая пот. Тут же наклоняется, растягивая позвоночник. Потом пьяно бредет к столу. Курточка липнет к плечам, темнеет потом. Он вытирает лицо, швыряет полотенце.

В динамиках марш из оперетты «Хэлло, Долли!».

Я комкаю платок и вытираю ладони.

— Зачем кока-кола? — Аркадий напрягает голос, чтобы перекричать музыку. — Ведь нельзя! Во время работы пить нельзя! Какая же нагрузка на сердце?!

Свет гаснет неожиданно. Лучи прожекторов сходятся на занавесе. Появляется женщина в трико. Она идет какой-то неестественно бодрой прыгающей походкой. У нее впалый живот, худые руки и сухая, едва намеченная грудь. Лучи прожекторов подводят ее к Торнтону.

— Элиз, моя Элиз! — зовет в темноте Торнтон. — Тебе не надоело развлекать этих господ? У них крепкие мускулы. Они умеют защитить женщину и свою честь. Конечно, приятно выступать перед столь достойными джентльменами...

Стучат каблучки Элиз по деревянному настилу.

Торнтон вытягивает руки ладонями вверх. Женщина цепляется за его предплечье, подтягивается и рывком взбирается на плечи. Я успел заметить, как глубоко вмяли кожу ее пальцы.

— Элизабет Стивенсон! — объявляет цирковой переводчик. — Женщина-каучук! — И начинает отсчитывать время: — Раз, два, три!..

Полминуты Торнтон держит женщину на вытянутой руке. Затем она переступает на другую руку, и номер повторяется.

— Это абсолютный мировой рекорд!— объявляет переводчик.— В Элизабет пятьдесят один килограмм!

Вспыхивает свет.

Женщина посылает публике воздушные поцелуи и спрыгивает на помост. Барабанную дробь сменяет марш. Торнтон целует руку Элизабет Стивенсон и отходит в сторону. Женщина демонстрирует свою гибкость.

Я вижу, Торнтон «наелся». Он беспечно приваливается к станку. Но в самом деле он ищет отдыха. В отеках лица застоявшаяся кровь и усталость. Он кладет руки на ось и пытается наладить дыхание. Жирный пот склеивает волосы. Торнтон украдкой заглатывает какую-то пилюлю и запивает кока-колой. Две литровые бутылки уже пусты.

На исхудалом остром личике глаза его партнерши очень крупны. Она черна от загара. Болезненно белым обрубком, раздутым и рыхлым, перемещается к ней Торнтон.

Элизабет Стивенсон измеряет все тем же портняжным метром бицепсы, шею и талию Торнтона, а переводчик сообщает публике цифры.

Четверо служителей выкатывают на тележке чугунные «бульдоги», связку цепей, набор гирь, шаровую штангу.

Элизабет Стивенсон прощается с публикой.

Торнтон работает на совесть. Трюки захватывают публику. Ему аплодируют. Неправдоподобно долго закатывая ногу за ногу, прижав локти к бокам, Торнтон уходит с арены.

— Теперь за интервью!— Гребнев прячет блокнот, затягивает галстук.— А этого...— он кивает на Аркадия,— возьмем за компанию, хотя вел он себя по-свински, но я прощаю.— Гребнев обращается ко мне:— В этом «железе» свои тонкости. Терминов не знаю. Объяснишь потом?

— Одно условие: моего имени не называть,— говорю я.— Вообще не называть.

— Ладно, ладно, идем. Вы еще не представляете, как это будет интересно! Читать-то все мастаки...

Гребнев шел первым и показывал корреспондентскую карточку. Он был из тех, кто умеет держаться так, будто другие ему что-то должны. Но по-французски я говорил чище, и мне почему-то это доставляло удовольствие.

Мы шли за Гребневым, и у нас уже не спрашивали документы. А может быть, у меня был такой вид? Здесь, за кулисами, я чувствовал себя вполне на своем месте.

Это был далеко не новый цирк. Вполне вероятно, здесь выступал знаменитый Гаккеншмидт, или просто Гак, как называли его современники. Шесть лет назад, когда я установил большой рекорд, старый Гак прислал мне телеграмму. Теперь его уже нет в живых.

Это был старый цирк, запущенный и темный. Голые лампочки без плафонов мерцали по-дневному жидко на лестницах, пахнущих кошками. Каменный пол был стерт и неровен.

— Коля, ты переводы, о чем бы ни говорили,— сказал Аркадий.

— Ага, подхалимничаешь.— Гребнев по-хозяйски заглядывал во все артистические.— Куда же запропастился наш малый?..

Дверь в артистическую Торнтон была полуоткрыта. Гребнев сначала заглянул, потом приложил палец к губам и округлил глаза.

— Ни одного слова не пропускай,— шепнул Аркадий.

В комнате что-то грохнуло. Гребнев одернул пиджак и разложил на ладони корреспондентский билет.

— Запомните, мы все коллеги по работе,— шепнул Гребнев. Он постучал, назвал свое имя и газету, которую представляет.

Дверь распахнулась. Несколько мгновений Торнтон разглядывал нас. Кровавые выпуклые глаза смотрели без всякого выражения.

— Гости?.. Хм... Входите.— Торнтон вперевалку двинулся к креслу.— Садитесь... Что ж вы? Не подавать же вам стулья. Сбросьте мои вещи на кушетку. Чертова погода, жара, жара!..— Он говорил, не глядя на нас.

Этот человек задвинул всю комнату.

«Вот он, Торнтон! — думал я.— Великий Торнтон! В двух шагах от меня...»

Торнтон вдруг быстро взял что-то со стола и сунул под календарный лист. Я успел заметить — это была фотография. По-моему, женщины.

Ладони у Торнтон были маленькие. Наверное, он намаялся с хватом. Нет прочного хвата без длинных пальцев. На ладонях, растопляясь, белели остатки крема.

В коридоре было глухо и пусто. И мы молчали. В приемнике громко пела Мачелли Джексон Низким лающим голосом набирала слова псалом. На столе лежали полотенце, берет, курточка, колода карт и стоял термос.

Дни в календаре были по-разному отчеркнуты красными чернилами, а напротив цифры семнадцать — это было воскресенье — стоял вопросительный и восклицательный знаки.

Торнтон взял карты и стал раскладывать пасьянс. Гребнев растерянно оглянулся.

— Что нужно, выкладывайте,— сказал Торнтон. Он перегнулся и выключил транзистор. Это был «сателлит», такой же, как у Жаркова, но только последней модели.

Гребнев привстал и положил перед Торнтоном свою корреспондентскую карточку.

— Спрячьте,— сказал Торнтон.— Выкладывайте свои вопросы... Чертова жара!..

— Вы не курите?— спросил Гребнев.

— Нет, берегу здоровье. Вам придется подождать, у меня не курят.

— Что вы? Это мне для материала.

— Все равно.

— Какого вы мнения о Джеральде Харкинсе?

— Его зовут Бен. Бен Харкинс! Классный атлет... Пишите! Не стесняйтесь, пишите. Это меня не сбивает.

— Вы с Харкинсом друзья?

— Нет. Он классный атлет.

— Значит, дружите?

— Без сентиментов не можете? У вас что, все в роду сердобольные?.. Вот что я вам скажу: Харкинс славный парень. Если его к ногтю прижать — просто миляга парень!... Торнтон расстегнул крагу и потер рубцы на предплечье.— Что еще?— Бедра Торнтон расплылись по креслу — жидкое белое тесто.

Я сидел в плетеном кресле. Оно скрипело при каждом движении, и я старался не шевелиться. Гребнев переводил ответы Торнтон и снова спрашивал. Прямо передо мной на полу валялись сплюсненные картонные стаканчики, обрывки газет и стояла сумка.

Гребнев тронул меня за плечо. Я поднял голову.

— Сдается, что мы встречались,— сказал Торнтон и закинул ноги на кушетку. Мышцы на миг выступили из-под жира. Я знал и любил мышцы, но таких богатых и поработанных не видел.

«...Прямая мышцы бедра,— читал я эти мышцы,— портняжная, четырехглавая. Какие массивные!»

— Так где же я вас видел?

— Мы не встречались.

— Давно тренируетесь? Такие пропорции, как у вас, папа с мамой не подарят.

— Нет, мистер Торнтон. Я громоздок. Просто громоздок. Хвала портному. Это он постарался.

Торнтон помял свое плечо. На бровях, крыльях носа собирались капли пота. Торнтон втягивал в себя воздух долго и шумно, а, выдыхая, выпячивал нижнюю губу.

Тишина закрадывалась из коридора. Я вдруг ощутил движение этой тишины. Все мы здесь были лишними. Я знал залы, знал раздевалки, знал тесноту, азарт и праздник всех раздевалок. А сейчас тишина выводила свои чувства и слова. И мы были лишними здесь, ненужными. Затхлый воздух лестниц, пыльных закоулков, скудный свет — это был вкус, запах всех побед Торнтон. И я читал эту тишину. И уже никакие слова не могли сказать больше, чем эта тишина. У меня не было другого желания, кроме встать и уйти.

— ...первый раз узнаю о редакторе, который держит в своем штате атлета,— говорил Торнтон. — Класного атлета. У нас есть только один благодетель — Мэгсон. — Торнтон ухмыльнулся. — Бескорыстная душа!

— Объясни ему, Николай, что он ошибается,— сказал я. — Я не атлет.

Аркадий подмигнул мне.

Торнтон перехватил мой взгляд и показал рукой на кипу афиш:

— Не разошлись. Свалили их в коридоре. Вот позаботился. Сам лучше выброшу. Все же с моим именем и фотографиями. А вы как поступили бы?

— Позволять топтать имя нельзя. Даже на бумаге.

— Во всяком случае еще рановато. — Торнтон смотал с шеи полотенце, промокнул лицо. Вся комнату наполнило его натужное дыхание.

Гребнев залистал страницы блокнота.

— Есть еще бумага? — спросил Торнтон, ухмыляясь.

— Сколько угодно.

— Вам нравится, когда подробно отвечают?

— Такой человек, как вы, мистер Торнтон, всегда интересен людям. Ваше имя легендарно.

— Вы меня растрогали. Так на чем остановились?.. Да, да, мой вес!.. Все с этого начинают. Вес, вес... Все остается по-старому: Торнтон нет — есть вес... Что вы? Вы ни при чем. Я всегда все преувеличиваю — это моя страстишка. Вес... Я обязан держать собственный вес.

Обязан! Я ничего не подниму без собственного большого веса. Уродство кормит. Без такого веса,— Торнтон хлопнул себя по животу,— я теряю заработок. Я забочусь о своем весе. Великолепные у меня формы, а?.. Даже продажные женщины... я гадок им. Люди платят мне за уродство! Я ведь был другим. А они мне платят именно за уродство. Другой я им не нужен. Нет, господа, я и раньше прилично весил, но это были рабочие килограммы. Сказать, что я был сложен, как Аполлон, пожалуй, было бы чересчур. Чтобы таскать «железо», нужно быть массивным, но совсем не обязательно походить на сальный огузок.— Торнтон распахнул халат и вытер полотенцем грудь, шею. Под майкой студенисто колыхнулся живот. Торнтон закрыл глаза, поглаживая лоб.

Завонил телефон. Торнтон снял и опустил трубку.

— Ну и как?— Торнтон обмахнулся полотенцем.— Есть еще охота поточить языки? Записывать-то поспевае-те? Первый раз вижу репортеров, у которых один блокнот на троих.

— В Париж вас пригласили?— спросил Гребнев.

— Пригласили?— Торнтон надул губы, с присвистом выдохнул воздух.— А где это вы видели, чтобы приглашали бывших атлетов? Может быть, у вас принято? Тогда поздравляю! А я работаю у Рэнделла. Слыхали о таком? Я собственность Рэнделла! Я здесь по контракту. Через неделю буду в Гамбурге. Там есть одно веселенькое местечко. Буду отрабатывать.— Руки у Торнтона были мягкие, белые. Он часто ощупывал их.

— Чем вы занимались после любительского спорта, мистер Торнтон?

— Как и все: делал деньги. Была надежная реклама: самый сильный человек! Реклама прокисла, когда ваш парень наколол мои рекорды. Я стал профессиональным боксером. Удивляетесь? Я и сам удивляюсь. Я поверил в свою звезду. Как-никак завалил пять человек. А они умели махать кулаками... Все это была чистейшая липа! Я обманывал сам себя. Ребята должны были мне проиграть — этого требовал контракт. Среди них были два совсем неплохих бойца. Короче, шестую встречу назначили в «Мэдисон сквер-гардене» против Росса Блэйра. В случае удачи это было уже кое-что. Сбор полный! Я снова в героях.— Торнтон повел пальцем по своему лицу.— Будто стекло мололи. Они, конечно, все предвидели. Я сваял дурака. И со мной сваяли дурака. Вы любите деньги?..

Я — очень... Что такое профессиональный ринг, знаете?.. «Мэдисон сквер-гарден»! Я слишком малоподвижен — какие уходы, нырки? Видели эти незаметные удары по поясице в клинче? Я с октября до сочельника мочился кровью. Росс мог нокаутировать меня в первом раунде — и я был бы только благодарен. Он дотянул до седьмого. Ох и повеселились! Россу нужна была реклама. Уже во втором раунде я ничего не видел: затекли глаза. Я бил в воздух и даже не чувствовал этого, я догадывался по хохоту. Слышать-то я слышал хорошо. Я потом смотрел кинохронику. Меня уволокли с ринга, как дохлого борова. Какие же были у всех радостные лица. Да, Росс славно потрудился... И все же я не пошел к Рэнделлу. Но сборы, как упали сборы! Когда я продал спортивные призы, я понял: у крысы больше шансов вырваться из капкана. Рэнделл заполучил меня, что называется, тепленького... Я-то воображал о себе! Надо было сразу идти к Рэнделлу. Свои пути... А я мясо! Мое назначение — быть мясом!.. Что будете писать и как — безразлично. Меня это не волнует! Верят в одно: у нашего брата деньги и мы все можем. Не нагоняйте скуку, спрашивайте, что интересуется всех: мой вес, аппетит, как меня выдерживает мебель, есть ли женщина, способная любить меня. Не морочьте голову людям своими вопросами. У нас какой-то заумный разговор. Для читателя это хуже укуса. Чтобы мне поверили, этому не бывать! Кто я? У меня же все есть! Спорт — это слава, а, значит, и ворота прямо в рай! И я уже, стало быть, в раю. Давно в раю!

— Что вы считаете главным в спорте, мистер Торнтон?

— Если о чувствах — ненависть! Закон ненависти! Без ненависти нет побед! Надо ненавидеть, чтобы разбудить силу! Я слишком поздно это понял.

— Контракт с мистером Рэнделлом вас устраивает?

— Устраивает? Я от него без ума. Уж загребая-то я, наверное, больше вас троих. Только вот вы мне объясните, зачем я живу? И кто я? Атлет! Кумир!.. Я теперь просто послушное мясо. Мясо, которому жрать и только жрать до конца дней своих! Я — мясо! У мяса жизнь куска мяса! Деньги?.. Те, что остаются, перевожу на банковский счет сиротских учреждений родного города.

— А чем бы вы занялись, будь все по-вашему после того, как ушли из спорта?

— Это уже не интересно даже мне.

— И все же я прошу, если можно, ответить.

— Была слава. Я не задумывался о будущем. Верил, будет! Настоящее было чудесно, а уж завтра никак не представлялось худшим... А приземлился... у Рэнделла! У нас любят говорить, что перед каждым тьма дорог. Но почему-то всегда выходит одна. Потопчешься и обязательно на нее... Не обращайтесь внимания, у меня просто сварливый характер... Да, я и о самом любительском спорте невысокого мнения. Удивлены? Странно? Или непоследовательно?.. Очень последовательно. Математически последовательно... Вы пишете, пишете... Ради рекордов я прошел через костоломку тренировок. Я не оговариваюсь, когда называю их «костоломкой». Свернуть шею рекорду — это развлечение? Тогда почему это удается единицам? Ведь можно на этом прилично зарабатывать? А пробиваются единицы... Всю ту жизнь я провел под гнетом тренировок. Я тренировался без отпусков, без выходных. Я выбивался из сил и отлеживался в зале на матах. Потом снова тренировался. Это были мои обычные дни. Самый маленький вес, который я поднимал на тренировке, был сто тридцать килограммов. С него я начинал разминку. Из всех, кто тогда тренировался, я единственный справлялся с такими нагрузками. А ведь я был очень силен. От природы силен. Но чтобы быть первым, я вынужден был так тренироваться. И я ведь профессионально тренировался с четырнадцати лет! Но попробуйте убедить кого-нибудь в реальности подобной жизни! Не принимают всерьез.

— Неужели спорт никогда не доставлял вам радости?

— Опять эти ваши «ворота в рай»! Слава! Конечно, слава все оправдывает, даже бессмысленность!.. А какой спорт вы имеете в виду, обычный или большой?

— В данном случае не имеет значения.

— Не имеет значения... А лгать на себя, свой труд и труд таких, как я, имеет значение? А как лгать, если я сам измерил ту жизнь? Знаю не понаслышке, а сам измерил... Спорт вообще — это занятие в удовольствие, это для себя. А большой спорт — это долг, который берет с тебя общество. Тут понаписано много красивых слов, а на самом деле это долг. И ты платишь. Очень крупно платишь. А тебя награждают славой. Это кол, вбитый в твои внутренности,— какая уж радость преодоления! Охотно уступил бы все эти радости вам. Только не лопнете...

— Но этому нельзя верить! Радость зовет людей в спорт...

— Верно, есть радость. Есть, когда дело сделано. Тогда приятно. Тогда очень приятно. Тогда всех любишь... Большой спорт! Не знаю, как у других, но меня именно он подвел к этой жизни. Он втянул меня в эту жизнь, отрезал другие пути, превратил просто в мясо. Если этому делу отдал хороший кусок жизни и у твоего папочки нет денег, выбора не будет. Рад уйти, а поздно. И выходит, выбора нет. Когда все это испытаешь, поймешь: поздно, нет выбора. Куда я мог деться? На что я годился после многих лет жизни в большом спорте? Посмотрите, что этот спорт сделал со мной. И дело не в том, что я оказался слаб. Да будь у меня десять жизней — я все равно стал бы в конце концов куском мяса, если сунулся в большой спорт. Это им всем нужно. Это так устроено. Ты тут ни при чем... Не ищите в навозе поэзии! У меня об этом свое мнение. Я ведь практик, господа. Практик! Я познаю реальность посредством личного опыта. Тут все доводы — профессорствующие доводы — сам взвешиваешь, по золотничку. Я-то знаю цену гуманизму... Нас, классных атлетов, мало. Ну несколько сот, ну пусть тысяч. А что миллионам до нас? Они видят парады. Нас мало, но мы их отлично развлекаем. Азарт! Преодоление! Мужество борьбы! Воля!.. У нас с ними разный язык. Я вот даже словаря не подыщу, чтобы понять их... Есть разные приговоры судеб. Есть и такой — никчемная жизнь. Это и есть я... Жрать из корыта и быть подъемным краном — даже не обидно теперь, а скучно. Стоп, не пишите! Я привык к помоям, а вот чтоб жалели... Понимаете? Не пишите, нет!.. У них на этом все замыкается. Не на том, что это свинство. Нет! Они нас жалеют!.. Как вы считаете, почтенные граждане могут быть свиньями? Крепко сказано? Хорошо, по-другому... Могут быть обывателями... ну те, на которых мы пялимся в телевизор?.. А мы сетуем на скудость комических талантов!.. Да они же сохнут на службе обществу! Они сами маленькие и все вокруг делают таким же маленьким и убогим... Я не политик. Я даже ничего не читаю о политике. Я практик, господа. А нет более просветляющего занятия. Тут все становится на свои места без слов.— Торнтон перегнулся и выключил транзистор. Поморщился.— Опять эти группы. Помешались после битлов. Предпочитаю старый джаз. Ну что вы? Дело сделано. В таком случае говорят

«до свидания» и бегут делать деньги. Я ведь больше не скажу ни слова. Счастливо поразвлекся!.. Ох, и жарыща! Какой день! Что ни вечер, хоть в холодильник лезь... Вам нравится «Казино де Пари»? Мне надо спешить, господа. У меня свидание. Общество проституток — это для таких, как я. — Торнтон поднимается. — А сложены вы!.. — Я чувствую его горячее дыхание. — Дай бог вам удачи! — Торнтон сдавливает мне плечо и расплывается в улыбке. — Великий Торнтон никому не говорил таких слов! Да, я великий Торнтон — и это не похвальба. Я проложил себе дорогу трудом, который был не по силам любому. Мир чтит мое имя. Я это храню в сердце. Я — Торнтон, господа, и прошу не забывать!.. Слушай, я видел твою работу в Чикаго. Тренер у тебя есть? Почему затягиваешь подрыв в рывке? И не валяй дурака — переходи на «низкий сед». Кто сейчас работает в рывке «ножницами»? Сколько же ты на этом теряешь! Думаешь, я стал бы распинаться перед ними? Я, Торнтон! Я знаю себе цену. И если бы не ты... Но, черт побери, могу же я это выложить когда-нибудь?! Или сдохну с этим камнем на сердце?! Ты настоящий атлет! Чемпионом станет еще не один человек. Их будут сотни, тысячи! Мир не кончился на нас. Но настоящим атлетам всегда будет счет на единицы. И знаешь, почему? Платят они очень дорого. Мало им дней жизни... Понимаешь, им никогда не удастся сделать меня маленьким... Ну, а теперь ступай! И вы ступайте!.. Чертово пекло! Сейчас бы в бассейн, а? Нельзя! Как говорят немцы: ферботен! Расслабляет мышцы. Ты им объясни, почему атлету нельзя плавать и быть на солнце, когда он работает. А я всю жизнь работаю... Ты, парень, не валяй дурака. Давай, переучивайся в рывке. Еще вспомнишь чудака Торнтона... Но это он может меня так называть. Только он! А для вас: мистер Торнтон, великий Торнтон!.. Слушай, тебя многие ненавидят — значит, ты стоящий парень. Я ведь умею читать людей по цифрам спортивных отчетов, по молчанию. Слушай, увидишь, болтается в конце коридора: рыжий, глаза хама. Вели, чтобы ко мне пришел. Пусть уберет этот свинюшник... А вы толково переводите. Не знаю, все ли верно, но язык у вас подвешен. Пишите, но... Знаю я вашего брата...

В тот вечер мадам Масперо постучала ко мне и попросила выйти в холл. Я набросил пиджак и вышел.

Мадам Масперо сидела за столом, прямая в стане,

руки на коленях, губы сухо поджаты, кукольно-маленькая, но изящная, со вкусом одетая. Она некоторое время молча смотрела на меня. Потом положила передо мной связку ключей.

— От нашего подъезда, от дверей пансионата...— показывала она ключи.— Приходите и уходите, когда вам будет угодно. В Париже грешно жить против своих желаний.— Она раздвинула уголки губ в улыбке.— Чувства нельзя наказывать...

183

Август здесь уже по-осеннему подсушил травы, черно заохолодил озера и загустил синеву неба. И в этом прозрачном воздухе солнце было неяркого соломенного цвета. В затишье — у стога сена, в распадке между холмами или в лесной чащобе — оно согревало приятно и дремотно.

С севера уже задували ветры. И когда потный, мокрый до нитки, я возвращался с болот, чувствовал студеность ветра. Я нарочно шел открытыми местами, чтобы слышать этот ветер всем телом. К горизонту, синевя, уходили леса. Березы светло выделялись на мрачноватом фоне елей и сосен. Низины желтели мхами и осокой.

Я сбил ноги, но, кроме случайных холостых птиц, ничего не видел. Эти птицы не выдерживали поиска моей лягавой и поднимались за пределами выстрела. Дни напролет я бродил в болотах и мелкоколесье заброшенных покосов. Охоты не было.

Я пригоршнями собирал клюкву. Пес жарко дышал мне в лицо, распаленный, в хлопьях пены. Чужими глазами смотрел на меня, одурманенный запахами. Я ловил в ладонь бархатную морду. Покалывала борода. Пес изворачивался, взлаивал, зазывая в путь.

Мы нашли ночевки вяхирей — группу сосен по склону холма. И несколько вечеров я встречал там птиц. И у нас каждый день была похлебка из нежного разваристого мяса. Однако тетерева, глухаря в тайге не оказалось. Возможно, здесь на бывших деревенских покосах и глухих мертвых болотах эту красную птицу тревожили соболь, куница и рысь. Я готов был этому поверить. Однажды рысь увязалась за подводой, на которой я возвращался в деревню. Каждое утро на этой подводке возили с фермы молоко. Я взял лягаша в телегу — у него прибалывала задняя лапа.

Заметал боковой ветерок, и рысь не прихватывала запаха псины. По словам возницы, она частенько проводжала подводу. Я бы этому не поверил, если бы сам не увидел. Я едва не задушил пса. Он рвался, хрипел. Но мне очень хотелось рассмотреть эту длиннолапую кошку. Вместе с хвостом в ней было около метра. Я поразился тяжести и размеру передних лап. Думаю, что редкая собака может взять такую кошку один на один. Морда у рыси была плоская, будто стесанная, с пышнейшими бакками. Грудь и спина — рыжевато-серые без каких бы то ни было пятен или полос.

И вся тайга, и поля, и деревеньки, что жались к единственной разбитой дороге, были пронизаны прозрачным воздухом. И солнце, и леса, и высокие озера у горизонта — все плыло в этом неторопливом исходе прозрачного студеного воздуха.

Я решил забраться поглубже в тайгу и нанял проводника. Мы день брели болотами, местами по колено в ржавой воде. Брели к бору, где, по рассказам стариков, в изобилии плодились глухарь и тетерев. Проводник — белобрый коренастый малый, окающий по-вологодски, — после шести часов ходьбы зачастил на деревья повыше, подолгу оглядывая окрестности. Я сообразил, что мы заблудились.

Назад мы выбрались по вешкам, которые я втыкал там, где не было болот и следы наши терялись. Когда мы, наконец, выбрались на первый, самый дальний покос, сил идти не было. Мы скинули рюкзаки и повалились на землю.

За два дня до отъезда я пошел к озеру в надежде пострелять уток. Вдоль дороги холмились поля сжатой ржи. Впереди, если встать спиной к тайге, километрах в четырех, а может быть, немного и сверх того, залегало клюквенное болото. Слева к нему прижимался обширный остров леса с просторными порубками. Этот лес, болото и поля обрезала цепь озер. Белую матовую гладь озер я видел из деревни.

На всякий случай я решил пошарить и по этому болоту, хотя из-за близости к полям и ограниченности его открытыми местами там, по словам местных, птица отродясь не водилась...

Я заглядываюсь на небо густой прохладной синевы. Идти приятно. Холм полого спускается к болоту. Пес трусит впереди, чутко поводя мордой на шорохи. Ветер

встречный, и это кстати: не надобно делать крюк, чтобы вывести пса против ветра.

Он подбегает, тычется мордой в руку.

— Потерпи,— ворчу я,— будет дело. Еще намытаримся.

Пес отжимает уши к затылку и нервно, со стоном позевывает.

— Ступай, ступай, опять меня перемазал. Вперед!

На охоте пес залинял. Я облеплен шерстью. Этот бродяга любит на привале прижаться и положить голову мне на колени. Мы с ним давнишние знакомые.

Подаю свисток. Пес, осаживаясь, заворачивает ко мне. Я кричу: «Это что?! Кто обязан выдерживать расстояние?! Почему уходишь?! Семьдесят шагов — и ни шагу дальше! Сколько повторять?! Вперед!»

Пес выказывает свое усердие. «Челночит» старательно, ходко. Разбаловал его хозяин. Пес норовит уйти, помышковать. Глаз нужен за этим кобелем: здоров и неугомон и упрямяк сверх меры.

— Куда?! Куда?! — кричу я уже больше для острастки. — Держать дистанцию! Ах ты, шельма!

Пес понимает и, выдерживая расстояние, опасливо поглядывает на меня. Я не спускаю ему вольностей, зол и строг с ним на охоте. Гладкие валуны, обросшие сорной травой, метят луг. Шелестит трава под ветром.

Озера стягиваются в полоску и с каждым шагом проваливаются за гряды леса. Я у самой подошвы холма. Убогие деревца сменяют кряжистые сосны. Кочки опутывает длинная белесая трава. Кочки почти до пояса, и я обхожу их. Эту траву в деревне прозывают «бабьим волосом», а бекасов, которых немало в канавках за скотным двором,— совсем неприличным словом. В нем все презрение таежных добытчиков к крохотной и быстрой птице, вытравливаемой городскими охотниками.

Кочки мельчают и почти вовсе опадают на толстом ковре болотных трав. Трава пахуча, чиста и нетронута. Желтятся цветы лютиков и лапчатки. Я видел много трясунок, но такие длинные и развесистые с семенными сумочками, похожими на развешенные сердечки, встречаются впервые.

Здесь, в низине, ветер весьма умеренный — самый подходящий для работы лягавой. Но надежды на охоту почти нет, и я иду расслабленно, не спеша. Стебли клюквы, сплетаясь, устилают болото. Заросли ее такие зеленые,

словно теперь не август, а май. В паузах ломких листьев серебристые бусинки влаги.

Здесь нет топей. Болота, которые засасывают скотину, на многие километры отгорожены даже по таежной крепости. Изгородь нехитра. От дерева к дереву приколочены стволы молодых осин или берез. А это болото доступно со всех сторон и все же нетопчено. Его прозывают «гадюшником». Третьего дня там, где я сейчас проходил, около сосен пала жеребая кобыла. Паслась в табуне вроде бы далеко от болота, а хватились вечером и нашли у сосен закоченелой, поклеванной. Гадюка ужалила в губу. По рассказам деревенских, морда у кобылы стала с мешок овса, язык посинел и вывалился.

Останавливаюсь, переламываю ружье, закладываю патроны. Пес озирается на щелчок.

— Ищи!— команду я.

Ружье увесистое, садовое. Для ходовой охоты мало-пригодное, но я привык к нему и не заменю никаким другим. К тому же стреляю я тяжелыми зарядами. И все оттого, что воспитан утиной охотой, да и по сию пору предпочитаю ее всем прочим. Но и в этой потехе ценю по-настоящему лишь охоту в осенний перелет. Не поднимается у меня рука бить сидячую птицу весной: птица доверчива и сама валит под выстрел. А в перелет утка сыта, сторожка и крепка на дробь. Стрельба влет по матерой стремительной птице, уже пуганой, наученной,— истинное наслаждение. Оттого и предпочитаю садовое ружье. А сменил бы я его лишь на одно в целом свете — ружье своего отца. Ружье штучной работы марки «люйс». Надо пострелять из него, чтобы оценить. И совершенно справедливо за этой маркой репутация непревзойденного дробового ружья. И платят за редкие экземпляры его суммы баснословные, превышающие стоимость хорошего автомобиля. Но давно нет этого ружья в нашей семье, как нет и моего отца...

На мне короткие резиновые сапоги. Я двигаюсь упруго, без шума. Я чувствую сучки, готовые лопнуть, и вовремя смещаю тяжесть. Пружинит травянистый покров. Я обхожу заросли буровой осоки. Причудливо корявятся вросшие в болотную жидель березки и сосенки, помеченные черными узловатыми наплывами. Иногда сапог вязнет и, чавкая, выдавливает лиловатую грязь.

«До чего ж хороша охота в перелет!» — тешу я себя воспоминаниями. И мне становится жаль эти две недели,

выкроенные от дел с таким трудом и такие бестолковые. Теперь безвозвратно упущена возможность пострелять в перелет. Если бы можно было вернуть эти две недели! Что за охота в перелет! И нет лучше охоты, чем в дни, когда на севере нажмут первые морозы. Надо только следить за метеосводками по радио и не зевать. Утка прет валом и вся проходит порой за сутки, за двое. А уж потом и ждать бесполезно. Пустота по озерам, болотам. Тоска...

А уж если угадаешь! Напоследок обычно идут кряквые. Они пролетают по стуже, в лютый ветер, дождь и в мокрый снег, когда без перчаток руки коченеют держать ружье и от этого, случается, ружье неверно упираешь в плечо, тем более пододело много теплых вещей и они мешают прикладу лечь на свое место. И от этого досадно мажешь и обиваешь пальцы. Но они так захоложены, что не воспринимаешь боль, даже если треснул ноготь или сорвал кожу. А в небе борзые лохматые тучи, сетка дождя, ветер, от которого в лужах к вечеру ледяной наст, а грязь становится густой и ленивой. И серо, неприятно на болотах, озерах и в поле. И в зябкие, скорые октябрьские сумерки огни уже начинают мигать в деревеньках едва ли не с пяти часов пополудни. И все равно не уходишь, потому что перелетная птица приходит потемну. Выбираешь чистое зеркало и бьешь по черным пятнам, крякающим хрипло, протяжно. Из стволов вырывается длинное багровое пламя. И утка шлепается камнем. Удар ее по воде гулок и крепок. И темная рябь обозначает место падения. А если присмотреться, то увидишь на воде черную кочку. И ветер ее гонит к берегу. И стараешься запомнить, где шлепнулись сбитые утки. А потом собираешь их с фонарем из лодки. И ветер несет лодку, когда ведешь сбитую утку веслом к борту. И вода обжигает пальцы. А утка так и заоченела в одном положении, и на пере круглые капли воды. И капли в луче фонарика совсем не темные, а светлые и чуткие...

А иногда плотно начинается сечь снежная крупа. Заскачет по траве, запутается, ляжет белым по полю и, темнея, загустит лужи. И ветер заледенеет, охватит шею, грудь, погонит слезу из глаз. А потом ветер внезапно стихнет. И в той осенней полной тишине круто и часто будет сыпать крупа. И воздух будет шелестеть ею. И все предметы за ней потеряют свою строгость. И птица стремительно уходит в крепь. И бить ее надо навскидку. И потому

подвязываешь у шапки клапана, чтобы услышать заранее ее полет и хоть как-то изготавиться к стрельбе. Зверем согнувшись и застыв, ждешь, когда свист крыльев наберет полноту. И тогда распрямляешься навстречу птице. А она резко взмывает или отваливает, и на «поводку» и выстрел остаются доли мгновений. И часто, прогадав с номером дроби, слышишь, как она сухо хлестанет по птице. Но перо по осени жесткое, насаленное. И птица, отвернув, забирает вверх. И ты даже не подранил ее — и доволен этим. И все другие птицы сразу уходят за дистанцию выстрела. И, бранясь, выбираешь патроны с дробью покрупнее. И в душе удивлен, как это прежде куда как на больших расстояниях безошибочно валил птицу, а теперь вот перо, как броня. А уже нарастает новый свист и, сгибаясь в три погибели, никак не можешь выбрать нужные патроны и заложить в стволы. И вдруг, осев, видишь, что косяк белогрудой черняти идет над самой водой. А вода цвета неба — серая, в пенных грешках — и птицы черные, быстрые.

Но что это, что?! Я убыстряю шаг. Теперь мне не до воспоминаний. Все внимание поглощает хвост моего пса. Короткий обрубок подрагиваниями передает все, что вынюхивает пес. Вместе с ним я читаю все запахи и узнаю о всем живом, что здесь было или затаивается. Для каждой твари у этого обрубка свое особенное движение, почерк и энергия этого движения. А хвост явно начинает играть. Что это, наброды старого косача, какие уже сбивали нас с толку прежде? Такой петушина в лучшем случае подпустит на предельный выстрел. Я замороженно следую за псом и одновременно краем глаза контролирую часть пространства впереди. Здесь болото от края до края пятнают зеленые шапки кустов. Они не ближе десятка метров одна от другой и до того плотные и гладко округлые, будто их выровняли садовыми машинами. И мне уже мерещится взрослая черная птица, у которой взлет короток и стремителен, а лира хвоста отчетлива даже в полете. В эту пору петухи жируют в одиночку. Лишь на исходе сентября все тетерева сбиваются в стаи и накрывают поля такими большими черными стаями, издали похожими на грачиные. Их бьют тогда из шалашей на местах кормежек. Но эта охота тоже вызывает у меня отвращение. Что за удасть бить беспечную неподвижную птицу? В чем состязание с ней: в выносливости, смекалке и осторожности?..

Я обрываю шаг. Качаются стебли голубики. Впереди в полуметре разворачивается клубок: в гадюке сантиметров шестьдесят. Завзятые модницы эти твари. Совершенны узоры, форма. И словно намыта — без единой соринки, блестяща и нарядна. Я с этими тихонями в союзе. Если и случалось и они били меня в сапог, что ж поделывать, коли нерасторопен и грозил наступить. Беспокоит меня только пес. Он уже староват для змеиной отравы.

Иду за ним. Пот пощипывает лоб. Я слышу собственное дыхание. Ноги прорывают мшистый покров, вязнут. «Скорее всего зоревые наброды по росе, а птицы уже нет», — думаю я. Ветер и солнце подсушили росу. Пес часто теряет след, кружит.

Я подаю свист. Пес озирается. Я поднимаю руку, и он, подчиняясь команде, садится. Иду к нему. Я в мыле, распален и горяч. Одежда моя мокра. Ружье елозит в руках. Я зажимаю его под мышкой и вытираю ладони. Поднимаю ногу, чтобы шагнуть. И улавливаю какую-то возню в траве. Действительно, гадюшник. Не одна, а сразу две змеи соскальзывают с кочки. Смотрю, как шевелятся стебли.

Раз змеи на дороге — значит, иду тихо. Так тихо, что они не поспевают удрать. Значит, у меня совсем неплохой шаг. Я грузен, но идти могу и умею.

Вытираю платком лицо, шею. Оглядываюсь. Воздух прозрачнее родниковой воды. Ветер утробно подвывает в стволах. А может быть, ветер просто скрадывает мои шаги?..

Подхожу к собаке. Старый след не дает ей покоя. Она ерзает, скулит.

— Ищи! — команду я.

Пес срывается на бег и сразу теряет след. Длинными прыжками начинает искать его. Хлопотливо неспокоен обрубок хвоста. Шея далеко вытянута — так, что ошейник кажется чересчур велик. Голова пригнута к земле. Крупно ходят лопатки. Иногда пес мотает головой, освобождаясь от назойливых и неприятных запахов.

Конечно, ошейник надо бы снять. Многие считают, что собака в ошейнике может попасть в беду. И я знаю такой случай. Отличный кобель — гордон с аристократической родословной и кучей медалей — утонул в тростниках. Кинулся за убитой уткой и зацепился за коряжину. Толстый мозолистый сук прорвался под ошейником за спину и лишил пса возможности вывернуться. Он и го-

лоса подать не успел, как вместе с коряжиной погрузился в воду.

Но здесь лягаш у меня на виду, а ошейник необходим, чтобы брать его на сворку, а брать его время от времени не лишне, и отнюдь не только из соображений охоты. Набалован он и строптив. И даже плеть не всегда приводит его в чувство. А все это еще и потому, что к этой породе щедро прилита кровь гончей.

Гончие же дики и необузданны в работе, как их не держать близко к себе. В старину псовые охотники твердо держались мнения, что «ни одна из охотничьих собак не обладает таким количеством зверских инстинктов, сколькими наделена гончая собака, преимущественно зверогон; его жадность, зоркость и злоба без постоянного внимания и строгого за ним досмотра ведут его прямо к зверской одичалости». И я вспоминаю недавно читанную книгу о псовой охоте в степях у Хопра. Здесь с острова, то есть леса посреди полей, брали по тридцать-сорок лисиц. А остров-то всего ничего: несколько километров в ширину и длину. А в полях паслись дрофы, стрепеты и во множестве водились сурки. И было это менее ста лет назад...

Я вздрагиваю и оборачиваюсь на треск — большая стрекоза взлетает с моего плеча. Дымчато-синие узкое брюшко, испещренное жилковатым узором. На меня тарачится неподвижная округлая головка, похожая на маску. Лаково зелена крутая грудь. Это коромысло синее — узнаю я. Она отдается ветру и мгновенно пропадает. В памяти остается трепет прозрачных крылышек.

И тут я замечаю, что пес идет верхним чутьем. Сердце всколыхнулось у меня и заколотилось где-то в горле. Проворно ступаю за ним.

Вздев морду, сузив глаза, пес будто плывет по воздуху. Я всегда считал этого пса настоящим охотником. Окаменевший во всех иных движениях, кроме движения по запаху, он лишь перебирает лапами. Он выхватывает эту струю запаха из воздуха, из множества иных запахов.

Его шаг становится тягучее. Он уже идет с остановками. Я догоняю его и крадусь в десятке метров позади. Хвост у пса напряженно оттопырен. Ход нервный, порывистый: это из-за птицы, она то бежит, то затаивается, а порой и ветер вдруг спадает или меняет направление.

Рот у меня пересыхает. Вдруг ощущаю, как подобра-

ны и послушны мои мышцы. И как ловок и точен мой шаг.

Крадусь за псом. Спускаю предохранитель.

Глаз все замечает. На болоте тихо. Только ветер шевелит ветки кустов. Настороженно замечаю любые перемены. Чуток к ничтожному шевелению. Поле зрения странно расширяется. Вижу все сразу.

Не свожу глаз с собаки.

Птица срывается в метрах шестидесяти. Ее взлет ожерою грудь. Это старая тетерка. Ее перо почему-то кажется мне голубоватым, нежным и голубоватым. Дистанция велика. Веду за ней стволами, потом опускаю ружье.

Пес скачет, чтобы видеть птицу. Она отклоняется вправо к рощице у основания холма. Замечаю место, где она планирует в кусты. Это метрах в четырехстах. Что ж, после можно попытаться взять ее. Но сначала пошарим здесь.

Подсвистываю. Пес, повинувшись, вразвалку бежит ко мне. Поднимаю руку. Он садится. В коричневых глазах нетерпение и азарт.

Я перевожу дыхание. Сзади на моих следах распрямляется травка. Сапоги по щиколотку в сизоватом клюквенном соке и коже. Срываю ягоды. Они неспелы и кислы. Листья клюквы жесткие, беловатые снизу.

Душно воняет псиной. Шерсть у пса склеилась в кисточки. Выщупываю в карманах патроны: не забыл ли. Я не люблю патронташи. Запас обычно ношу в карманах куртки. В правом с мелкой дробью, в левом от третьего до пятого номера.

— Ищи!— командуя я. И рукавом протираю прицельную колодку.

Пес уходит прыжками. Потом рысит между кустами. Он не находит запах и горячится. Накручивает круги. Вскрапывая, срывается на бег.

Подаю не один свисток прежде, чем он оглядывается на меня. Подзываю к себе, сажусь на корточки и притягиваю к себе за ошейник. Надо успокоить пса. Глажу. Часто и жарко ходят у него бока. С языка скапывает слюна. Язык узок и длинен. Отмякнув, брыли обнажают желтоватые клыки. К языку прилипла перекушенная в нескольких местах травинка. Пес звучно сглатывает слюну.

Я не выпускаю и глажу его до тех пор, пока не чувствую, что дышит он ровно и ослаб у меня в руках. Теперь он не станет напирать на птицу. Что ж, определим,

выводок тут или нет. Я шепчу: «Ищи». И отпускаю ошейник.

Пес наметом идет по мохнатуму ложу болота, мотая мордой от букета крепких запахов. Он «челночит» по всем правилам. Я едва поспеваю за ним, смахиваю с бровей пот. Пот обильно бежит между лопаток. Я уже не выбираю дорогу. Я вижу, пес взял свежий след. Обрубок хвоста опять напряженно оттопыривается. Пес слегка припрыгивает. Он всегда припрыгивает, когда прибавляет ходу. У него была перебита задняя лапа и срослась с изъёмом.

Метров двести я почти бегу за псом.

Скоро мы догоним птицу. Пса душит запах. Я спускаю предохранитель и прибавляю шаг, чтобы выйти на верный выстрел, если птица не станет выдерживать стойку или сорвется еще раньше.

Петляем по буроватому мшарнику. Иногда я пробегаю несколько шагов, но незаметно для пса, чтобы не загорячить его.

Я почти уверен: старка уводит от нас выводок. Пес опять идет верхним чутьем. Глаза полузакрыты — глянецевые щелочки вместо глаз, будто в бреду каких-то видений. Он вскинул морду и, не отвлекаясь на посторонние движения, одурело повинуется только запахам. Его движения сосредоточенно скупы.

Я сокращаю расстояние. Вот-вот выводок затаится. Когда пес догонит их, они замрут, подражая матке.

И это мгновение настало.

Обрубок хвоста отогнулся и застыл. Пес сделал несколько шажков, замер. Потом сделал еще несколько потяжек и оцепенел. Ветер закидывает ему на темя уши. Он смотрит на куст, и дрожь будоражит его серую пятнистую шкуру.

Я сдерживаю дыхание и подступаю к кусту. Этот пес умеет держать стойку. Я подошел, а он и виду не подал.

Сколько я ни смотрю на куст, не вижу ничего, кроме шарообразного сплетения веток. Ветер тербит листья, трогает ветки. Я стою бесшумно. Пот стекает по бровям и ресницам, пощипывает уголки глаз. Мошка липнет к щекам, кусает, бьется у лица. Я облизываю губы, чувствую соленость пота. Ноги оседают в мох, выдавливая грязь. Я вижу ее, когда становлюсь поудобнее. Перевожу дыхание и шепчу: «Вперед». И у меня опять становится пусто в груди.

Пес словно не слышит. Только еще заметнее дрожь. Я повторяю команду — он не шевелится. Он пьян этим запахом живой птицы. Я представляю, что это за дух. Запахи пера, парного дыхания, разогретого пуха.

Я подталкиваю пса ногой: «Вперед!» Он делает несколько нервных шажков, но нехотя, будто упираясь во что-то.

И в это мгновение куст взрывается треском. И мое сознание начинает странно отмечать события.

Пес отпадает на задние лапы и задирает оскаленную морду.

Хлещут ветки, и куст взрывается новым треском.

Две большие птицы зависают над кустом.

И птицы, и куст кажутся мне почему-то синими. В воздухе, отделившись от птиц, покачиваются едва заметные пуховые перышки.

Две большие птицы, плавные и медлительные, уходят от меня. И уже я вижу одну из них на плоскости стволов. Я не вижу прицельной колодки, мушки — я вижу лишь большую синюю птицу. Солнце не спит, оно слева за плечом. Я веду стволами за птицей.

Приклад бьет в плечо. Но птица не изменяет полета. Второй выстрел мне всегда удается лучше. Я выношу стволы вперед, но и второй выстрел ничего не меняет. Заряд проходит впереди. Он резко отталкивает птицу воздухом.

Гаснет звон в ушах. В плече тяжесть ударов приклада. Птицы уходят по длинной дуге. Там у края болота под скатом холма роща.

Перезаряжаю ружье. Сладковато пахнет горелым порохом.

Пес скачет, стараясь разглядеть птиц, но они не падают. И он возбужденно кружит в кустах. Приминая ногой красную картонную гильзу и окликаю пса.

— Спуделяя я, старина, — бормочу я и ловлю пса за ошейник. — Позорно спуделял. — Я заставляю его сесть. Он вырывается. Я надавливаю на круп ладонью. Чувствую, как он дрожит.

— Сам не пойму, что со мной, — объясняю я псу. — Пес натягивает ошейник, норовит подняться, опалает меня своим дыханием.

Я озадачен промахами. Со мной такого давно не бывало. Глажу пса. Он хрипит в натянутом ошейнике. Обхватываю рукой его за грудь, выдерживаю время. Вот

тебе и флегма! Горяч пес, сверж меры горяч! А по породе своей должен быть флегматичным, малочутьистым, с коротким поиском и погончи выносливым. Все в нем соответствует статьям породы, кроме темперамента. Закачивает истерики не хуже пойнтера. И всему виной инбридинг — чересчур тесное родство. И все потому, что мало у нас этих собак.

— Ищи! — Я отпускаю его и встаю.

Я огорчен промахами. Мне просто не везет. Мне всегда не везет. Господи, их можно было просто сбить стволами!..

Мы прочесываем болото. Пусто. Значит, кто-то разбил выводок раньше. Пес пашет на совесть, но следа не берет. Иногда встрепенется, заплетает старыми набродами и тут же опять без следа. Солнце уже теперь совсем с левого плеча и гораздо ниже. Зову пса. Сбрасываю вешевой мешок. В плечах ломота. Сажусь на мешок. Ветер подвывает в стволах. Тишина. Пес тяжело, будто его бьют по лапам, валится на мох. Тут же вздремывает.

Длинно вспыхивают на свету паутинки. Пустынна и спокойна земля. Мягко и ласково под ладонями мох. Слоится нагретый воздух. Из роши доносится монотонная трель. Строфа за строфой — жалобные, с легкой скрипучестью. Зарянка. Одни они лишь и поют по осени.

Чувствую на щеке солнце. Постепенно его тепло проникает под куртку. Высоко-высоко надо мной небо. Заглядываюсь на него. Мне кажется, тишину стережет это небо. И оно ведет счет времени. И здесь мудро и спокойно это время. Значительны и чисты все эти мгновения...

Мошка поднимает нас. Пес расчесывает лапой глаза, нос, остервенело клацает зубами. Вспоминаю промахи и стараюсь понять их. Скорее всего, я брал слишком большие упреждения. Я стрелял как по утке, а ружье у меня садовое с сильным чоком. Следовало отпустить тетерок метров на сорок. Заряд очень плотен, чтобы поразить их в упор. Это все равно что стрелять пулей... А это были молодые тетерки. Черные перья петуха замечаешь сразу.

Мешок намок снизу, но меня это не тревожит. Там только свитер, плащ, консервы и сухари. Счищаю с него грязь. Она вроде темного пластилина. Пробегаю руки в ляжки, набрасываю мешок. Отпиваю из фляги чай. Он потеплел от моего тела, а поутру был совсем ледяной. Прикидываю, как построить охоту. Птицы здесь нет. Тогда разумнее попытаться взять ту первую тетерку

и потом тех двух. Я запомнил место, где они схоронились.

До сих пор я шел вдоль болота к озеру. Теперь надо пересечь рошу. Я даю отмашку и команду: «Ищи!» Пес рыщет в кустах. Иду за ним. Ветер сбивает его, и он уклоняется влево. Подаю свисток и отмашкой возвращаю его на заданное направление. К месту надо выйти с запасом дистанции. Птицы вполне могли разбрестись.

Ветер становится для нас боковым. Пес может вытоптать птицу, не почуяв. До предела сокращаю расстояние с ним. Рукава и воротник рубашки набухают потом. Расстегиваю на ходу рубаху. Иду скоро.

Земля бугрится. Кочки приземистые, твердые. Мелькают березки, сосны. Сжимаюсь и выбрасываю ружье на хлопанье листьев под ветром.

А места самые подходящие: куцый лесок и наст из клюквы. Неужели не будет охоты? Отчего бы здесь не кормиться птице? Неужели это солнце, небо и свежий ветер обманут меня? Ну хоть бы еще одну птицу, хоть бы на предельной дистанции!..

Свистками настаиваю пса на выбранное направление. Но он тут же, увлекаясь, отклоняется по ветру. Оттуда все запахи. Снова подаю свистки. Они сбивают пса с толку, но делать нечего.

Роша начинается сразу у овражистого основания холма. Ветра здесь нет. Я продираюсь через ольшаник, ивняк, кочки. Кочки почти до пояса. Ноги запутываются, скользят в корневищах. Стонут комары. Недостает воздуха. Я наваливаюсь грудью на кочку и не могу надышаться.

Это не дело. Выдержать-то такой шаг выдержу, но ничего не услышу. А здесь только на уши и можно положиться.

Роша в макушках звенит листвой. Листья белы на солнечном свете. Белы и беспокойны.

Иду медленнее, слушаю лес. Свистками пытаюсь заставить пса не забегать, идти со мной, но постоянно теряю его.

Передышка наступает, когда выхожу на дождевую промоину. В глину заматы разноцветные камешки, сучья. Глина в трещинах, но влажновата. Промоина углубляется, и я беру левее, ближе к болоту. Кочки редуют, но лес так же плотен и загроможден валежником. Я разрываю рукой сплетения веток, спотыкаюсь. Сучья царапают руки, лицо. Какая-то труха набивается за шиворот. Комары

запутываются в волосах, лезут в рот, нос. Стрякиваю с рукавов желтых муравьев. Обливаюсь потом. Руки в ссадинах. Пса не контролирую. Слышу по треску, что впереди.

И вдруг различаю удары крыльев. Это же тетерева! И сколько же их! Здесь выводок, и похоже, не один. И пес их распугает! Что делает, дрянь!

Я чуток и зол. Птицы взлетают рядом. Я слышу горловые звуки, вырывающиеся вместе с первыми ударами крыльев. Я не свожу глаз с клочка неба над головой. Паутинка липнет к губам, но я сжимаю ружье и жду, когда мелькнет птица.

По звуку стараюсь определить, куда отлетают птицы. Две сразу уходят за мою спину, остальные — на болото.

Вслушиваюсь. Да, тихо. Зажимаю свисток зубами и зову пса. Он не слышит и продолжает обыскивать лес.

Я дую в свисток и кляню пса. Я понимаю, там столько набродов, лежанок — и все свежие. И под каждым мерещится живая птица. Он совсем сбесился от запахов. Что за гоньба! Какая к дьяволу это подружейная собака! Дворняга! Дрянь!

И я кричу: «Ко мне, дрянь!» Кровь ударяет в голову. Я готов выпороть пса.

«Ко мне, дрянь! Ко мне!» — кричу я. Хозяин, наказывая его, всегда приговаривает «дрянь». И сейчас это слово производит магическое действие. Треск стихает. И из зарослей ежевики очень осторожно и тихо появляется пес. Обрубок хвоста поджат, голова опущена. Я захватываю его за ошейник и вытягиваю плетью.

Пес жметя к моим ногам. Он в хлопьях пены. Под ошейником пучки листьев. В глазах злоба азарта.

— Чему тебя учили? — отчитываю я пса. — Что проку от тебя? Что мне тут делать после тебя? Ты что, команды не слышишь?! — Я прицепляю плеть к ремню. — Еще раз случится, будешь сидеть на цепи, на охоту не возьму. Дрянь!

Пес вылизывает передние лапы. Они у него жилистые, тяжелые.

Я сбрасываю мешок. Выщупываю вещи и сажусь так, чтобы не подавить сухари. Вытираю платком шею, лицо, грудь. В волосах полно лосевых клещей. Для человека они безобидны. Я вычесываю их гребешком, давлую.

— Ладно, вислоухий, забудем. Тут сам черт не разберется. Чтоб выводки забивались в крепь? Этому и не

поверят! Поневоле голову потеряешь, а? Ну что воротишь морду? Слушаться-то все равно надо. Да не дуйся ты...

Пес валится на бок, вытягивает лапы, шею, жадно ловит воздух. К языку липнут крошки земли, соринки.

— Что, умаялся? Сейчас бы водички с ведерко. Ты держись. Охота вся впереди. Запарился? А нам еще топать и топать...

Сверху с поля веют запахи жаркой пыльной земли.

Я вытряхиваю из-за шиворота труху. Протираю ладонью ружье. На вороненых стволах остаются радужные полосы. Стягиваясь, высыхают.

Я поглаживаю пса, нахожу клещей. Это совсем другие клещи. Они распухли от крови. Растираю их сапогом.

— Еще погодим, вислухий. Сейчас там матка сзовет своих. Ведь найдем их, а?..— Я достаю из кармана рюкзака сворку.— Впрочем, пора. Посидели четверть часа и довольно. Пойдешь «к ноге», вислухий. Сыт твоими номерами...

Пес вскакивает. Нервно, со стоном зевает. Я пристегиваю сворку.

— Да, да, около ноги и пойдешь. От такой охоты нет прока. Ты их травмишь, для тебя потеха, а я тут для чего?..

Я встаю, забрасываю мешок на спину, прихватываю ружье.

Смотрю на солнце. Его надо держать над правым плечом. Так, чтобы наискось било в глаза. Тогда выдержи направление.

Снова продираемся через заросли. Я болезненно прислушиваюсь: обидно поднять птицу и насторожить тех, на болоте. Ветки скребутся по куртке, мешку. Пес бешено дергает сворку, запутывает меня в кустах.

Я выбираю сворку и хлещу его плетью: «К ноге, дрянь!»

Мы идем долго. Надо выйти против ветра. В роще спокойно. И настроение у меня поднимается. И хотя пес тянет безбожно, я прощаю.

Роща обрывается внезапно. Мы снова у болота. Следует подняться повыше, и можно начинать поиск. Но пройти надо тихо, тихо...

Прежде чем спустить пса, я придавливаю сворку ногой и вытряхиваю сор из-за пазухи. Делаю несколько глотков из фляги. Ветер студит грудь.

— Что ж,— говорю я и отстегиваю сворку.— В час добрый!— И отмашкой даю направление:— Ищи!

Опять нас окружают курчавые шапки кустарников. Опять мой шаг бесшумен. Я проскальзываю от одной шапки кустов к другой. Пса поправлять не приходится. Точно идем против ветра. Уже близко, совсем близко то место. И кусты снова подергивает голубоватая дымка. И я не слышу себя. И жирная гадюка, которая и не думает удирать, а, приподняв голову, смотрит на нас с коряги в каких-то двух шагах, совсем не занимает меня. Она остается в памяти, очень черной, тупой и сонной. И если можно говорить о любопытстве этих тварей, то на ее широкоротой пасти — удивление. Не испуг, а удивление. И вся она напоминала жирную ленивую сплетницу. Помоему, пес заметил ее, потому что два или три раза обернулся и на загривке у него вздыбилась шерсть, а уши, опав, припали к морде. Я оглянулся всего раз. Гадюка лежала на том же месте и смотрела на меня. И голова ее поразила меня. Она была такой же темной, как туловище. Треугольной и темной. А глазки сонно размеренные. И еще меня поразило, что она сливалась с сучьями коряги и уже с трех шагов ее нельзя было отличить от темноватых сучьев.

И я на секунду перевел взгляд на свои сапоги. Я знал, что в сапогах, но ноги мне показались незащищенными, голыми.

Пес ведет без сбоя. Он всхрапывает в удушье запахов. Я готов вжаться в приклад. И я жду этот миг, зову этот миг! Нет ничего заветнее сейчас, чем услышать хлопанье крыльев и поймать это хлопанье стволами!

Не свожу глаз с обрубка хвоста. Ноги сами находят опору, движения ловки и точны. Старюсь дышать врастяжку, не резко, глушу дыхание. В моих глазах пес плывет среди кустов. Неподвижен и напряжен обрубок хвоста.

В глубь сознания отступают шорохи ветра, шагов, гул сердца. Я открыт только одному звуку: ударам крыльев. Меня обволакивает тишина. Тишина, в которой я все слышу.

Пес спотыкается и не опускает лапу. Он так и застывает, изогнувшись к кусту. Иду к нему. Я уже рядом, Командую: «Вперед!» И скидываю ружье.

Пес дергается, но остается на месте. Ничто не нарушает тишину. Как же крепко сидит птица!

Повторяю резко: «Вперед!» Пес суется вперед и замирает. Ловлю его взгляд: беспомощный и виноватый.

Подхожу к кусту. Как будто нет ничего. Как же крепко сидят!

Куст просторен и напрочь заплетен ветвями. По земле пряди седоватой травы. И куст и эта трава подергивает синева. И в этой синеве уже расплывчато неверны и этот куст и эта трава.

Веду по веткам сапогом. Пес вламывается в куст, но тут же шарахается назад. Я оглушенно кручу головой.

Я готов к этому и все равно это так неожиданно! Вижу, как, огрызаясь, припадает на передние лапы пес. Как шкура вдруг обтягивает его череп. Так туго обтягивает, что проступают черепные кости. Удар веткой выворачивает по-тряпичному дряблое ухо беловатой изнанкой наружу.

Летят оборванная листва, пух. Сбычась, жду, когда упадет это живое месиво передо мной.

Пять большие птиц разделяются над кустом. Вижу ладно и добротнo скроенное оперение — это матка.

Большие синие птицы с узкими серповидными крыльями ложатся на воздух. Их движения очень медленны, но они быстро съеживаются в размере. Крылья туго подминают воздух. Синее марево воздуха.

Тетерева заворачивают на солнце. У него ясный огненно-белый зрачок в ореоле рыжеватого истечения жара. И оно совсем не слепит. Птицы рассыпаются веером. Перебрасываю стволы на другой конец веера, чтобы не поразить матку. Без нее остатки выводка погибнут.

Слышу толчок. Уронив крылья, птица падает. Движение еще несет ее вперед, но сама она уже безвольна. Я видел, как дробь взъерошила перья.

Перебрасываю стволы. Сливаюсь с ружьем в «поводке». Птица срезанно валится вниз. Слышу приглушенный удар — и эта тоже намертво.

Выхватываю патроны из куртки. Это на всякий случай, скорее инстинктивно — там не подранки. Эжектора с чмоканием выбрасывают гильзы. В лицо пыхает пороховой дымок. На бегу закладываю патроны. Пес уже там. Расставив передние лапы, бьет мордой в траву.

Кричу: «Нельзя!» Пес ворошит птицу. Пытается схватить и тут же брезгливо роняет. Он частенько жует птицу. Из-за этого у него полевой диплом не первой, а второй степени.

— Нельзя! — команду я.

Перо под крылом птицы растрепано зарядом. В непод-

вижно-зеркальных глазках еще жизнь. Оцепенелость последнего мгновения жизни. Поднимаю ее. Пес привстает на лапы, тычется носом. Птица горяча и безвольно расслаблена. Засовываю ее в ягдташ.

— С полем тебя, старина,— говорю я и треплю его:— Молодец!— Он увертывается от ласки.

Что это?! Что?!

Неужели прозевал?! Неужели это уже поздно?!

Как же тяжел этот шум! Он обрывает сердце. Я цепенею.

Сколько же их?! Как же я не стал их искать? Они же должны быть там?!

Я легок и невесом, и есть только одно тяжелое сердце. Я весь только одно это сердце.

Медленно, неправдоподобно медленно воздух разрывают удары тяжелых крыльев. И я, цепенея, в то же время собран и точен. Я не отдаю отчета в своих движениях. Я сбиваю предохранитель вперед. Перехватываю ружье. Круто разворачиваюсь. Подаю плечи с «поводкой».

Слева и справа над кустами птицы. Две — метрах в семидесяти: стрелять бесполезно. А одна — метрах в сорока и вот-вот окажется за выстрелом.

Бью навскидку, не успев принять стойку. Птица не изменяет полета, но потом замирает и, продолжая работать крыльями, валится хвостом вниз. У самой земли накрываю ее вторым выстрелом.

— Ищи! — команду я. Но команду можно было бы и не подавать. Пес прыжками идет к ней. Если даже подранок — не уйдет. Пес придушит. Еще не было случая, чтобы от него уходили подранки. Но сейчас там не подранок. Я видел, как дробь трепанула птицу.

«Славно,— думаю я.— Не было охоты, а вот теперь такая...» У меня дрожат руки. Сколько не охочусь, а вот в эти мгновения... Я улыбаюсь. До чего ж приветливо это солнце!..

Перезаряжаю ружье. Славно у меня ружье. Пальцы залипают пухом и кровью. В бок толкается тушка сбитого тетерева, одергиваю ягдташ.

— Подать!— кричу я.

Вспоминаю свои выстрелы: почти не брал упреждений, кроме последних. Но тогда вынос был необходим. Достал-то ее метрах в пятидесяти.

Пес развалисто трусит ко мне. Принимаю птицу и хвалю его. Вот кого я завалил на пределе: петушок. Моло-

дой петушок. Маховые перья робко зачернили крылья.

До чего ж приятно на ветру! Славная нынче охота.

Иду к кусту под сосенкой. Заглядываюсь на солнце, игру ветра в кустах, сизовато-красные капли клюквы в стеблях.

Эта птица застряла в ветках. Выстрел поразил ее в брюшко. Пес ворочит морду. Он не выносит этого духа. Когда дело сделано, птица теряет для него интерес, а запах ее отвратителен. Он никогда не ест дичь, сколько я ни предлагал ему сочных отварных кусочков. Лягавые этим отличаются.

— Славно ведь, старина?— Я глажу его. Он уворачивается.— Ладно, ладно...

Я показываю направление:

— Попытаем счастье, а? По-моему, ты в этой роще пуганул еще выводок. Пошарим, а? Вперед!— И я поворачиваю к кустам к гряде леса перед озером.

Забавные эти кусты, как в парке. Вроде нарочно посажены и подстрижены. Озолоченно струится листва под солнцем. Вороны тянут над холмом. Успокоенно отодвигается куда-то в глубь сердце. И опять тишина разливается в воздухе.

Эта синева неба, блеск солнца, покойная лень в каждой подробности!..

Не успеваю понять, что случилось, но я сжимаюсь и ступаю сторожко, бесшумно. Пес не «челночит»! Он спотыкается, делает потяжки. Пружинится на шорохи. Выпуклы и кровавы белки его глаз.

И снова я погружаюсь в голубоватую смазанность предметов. Я бесплотен и горяч. Ружье лежит в руках ладно и чутко к любому движению пса. Я ложусь в эти движения. Я неразделен с ними. Слышу и воспринимаю мир по-звериному настроенно.

Опоздал! Не может быть! Что это? Опоздал?!

Ружье у плеча. Щека липнет к прикладу.

И пес, и я поворачиваемся мгновенно. Но как он успевает забежать назад? Я так и поворачиваюсь с ружьем у плеча, не поняв, что случилось.

Птица пропустила и вылетела позади почти бесшумно. Ветер скрадывал шум, дул в лицо. И когда уже крылья вынесли ее высоко и она стала набирать скорость, мы услышали ее. И когда еще глохнул выстрел, а птица на мгновение раньше замерла и потом, отвесив шею, рухнула, я уже слышал разнобой многих крыльев.

Птицы разлетались во все стороны. Мы тонули в треске крыльев. И я даже уловил квохтанье старки.

Этот выводок, очевидно, разбежался до того, как мы вышли на него. И я понял, почему пес зевнул первую птицу. Он шел на другие запахи, а этот сносил ветер.

Я сшиб старого петуха. Бог знает, как он оказался с этим выводком. Он был смолисто-черен и велик. И крылья его широко загребали воздух. И больше не было зарядов, а перезаряжать было поздно. Я стоял и смотрел, как птицы буквально брили кусты. И все они были синие. Большие синие птицы.

После я взял в этом выводке еще двух тетерок. Я мог бы взять больше, но этого было достаточно.

Я выбирался с болота на холм и вспоминал выстрелы, и как грузно, подкошенно падали птицы, и как, взлетая, открывали светлую опушь под крыльями. Это была славная охота.

Я выбрался на холм. Здесь, на склоне, у самой подошвы, трава была такой высокой, что набивалась колосьями в сапоги. И вся желтилась корзинками пазника — я ловил их на ходу. Корзинки были очень податливые. Мягкие и нежные, как губы женщины. И я, сорвав цветок, мяд его пальцами.

Выше склон тоже не был распахан, но трава хранила следы второго покоса и пазник уже не попадался. Белая кашка ершилась из травы.

У края жнивья я скинул мешок, ягдташ, положил ружье и сел. Здесь было еще тише. Пылит ветер в стерне. Небо разметалось надо мной потерянно-далекое, холодное, колодезно-таинственное.

Пес с кряхтеньем повалился возле меня, положив морду на сапог. Он тут же забылся и в забытьи колотил меня лапами и по-щенячьи жалобно взвизгивал. Морда у пса сморщенно-брылястая, и во сне он настороженно поводил ушами.

Я облокотился на мешок. Снова цепь озер сливалась с горизонтом. И в клочках земли по матовой глади, и на горизонте — везде размывчато-сине стояли леса. А на полях по холмам топорищилась щетина жнивья, горбато выделялись скирды и бесшумно пылила дорога. Пыль эта пожаром клубилась от холма к холму. И совсем пропадала в лощинах. А с синих далей — во всю ширь и до самых небес — наплывал воздух, у которого был вкус клю-

чевой воды. И горизонт был одет в эту синь таежных перекатов. И острая тоска звала за эти перекаты, обещала чувства особенных радостей и тропы навстречу незаходящему солнцу.

И птиц, и охоту, и азарт — всего лишала значительности эта необыкновенная раздвинутость горизонта, нераздельная слитность этой дымчатости горизонта и таежных далей, простора полей, глубина неба и покачивание колосков, пощаженных валками машин. Я смотрел на эту землю будто впервые. И солнце не слепило меня, когда я смотрел на него долго и в упор. И я видел, как изливается его жар. Я видел это горячее мерцание воздуха, это изменение яркости лавы в ореоле солнца, эту линияльность неба вокруг четко-раскаленного и правильного диска. И кузнечик на одной ноте, высоко, иступленно стриг мольбой воздух.

Пот подсыхал на ветру. Я ощущал в этой студености каждый изгиб своего тела. Но мне не было зябко, и я не боялся этой студености. И я уже тосковал, зная разлуку...

— Послушай, вислоухий,— говорю я,— стойку ты держишь изрядно, да уж только чересчур. Что ж, мне вместо тебя поднимать птицу? Набаловал тебя хозяин. Превратил в комнатную собачку — факт...

Голова пса покоится тяжело и неподвижно. И солнце радужно переливается в коричневых пятнах шкуры, а сероватый мех тускл и бел на солнце.

— Ах, мы молчим! Давим фасон. Ну выдрал тебя. А посуди, кто прав. Я бы тебе рассказал, как работают классный пойнтер или «англичанин». Ты брал когда-либо птицу за сотню метров? Не по наброду, а верхним чутьем? Ты вел когда-нибудь птицу двести, триста метров, и птица не сомневалась, что запутает тебя и уйдет? Понимаешь это: чуют ее и не напират? Она замедляет бег, и ты не напирал, не грубишь. И птица бежит, не поднимается, пока охотник вне выстрела?.. Тебе бы дрыхнуть... Но возьми в толк, отчего я тебя выдрал. Понимаешь, мы с тобой смычок. Ну как гончие. Вдвоем, а дело одно. Что ты без меня? Ты ведь не знаешь, а я охотился с такими псами! Они даже поправляют охотника. А работа с анонсом? Ты знаешь, что такое вернуться и передать охотнику, что нашел красную птицу, затем повести и показать?.. Нет, нет, старина, у тебя есть свои достоинства. Все они поднимают скулеж после первых дней

охоты. У них лапы посечены, морды нахлестаны, мышцы изнежены. А мы с тобой грубы и не просим пощады. Верно ведь, мы никогда и ни у кого не просим пощады.

Пес сучит лапами во сне. Дергаются веки, выкатываются пустые белки глаз. Все сны охоты видит этот старый пес. Бродяга пес. Убеденный бродяга. И неисчислимое потомство его по десяткам подмосковных деревень даже не подозревает, что за голубая аристократическая кровь в жилах их гуляки-папаши. Клыкастый свирепый король всех собачьих свадеб. Бродяга, для которого не свита цепь и не существует наказания. Мы дружим с ним, потому что бредим свободой осенних пустошей, обманами странствований, злой настойчивостью поиска. И звонкая промерзлая земля не раз была нам постелью, а холод заставлял спать в обнимку. И первым открытием поутру был иней на вялой траве, копне сена или настиле из еловых веток, покрытых гремящим от мороза заношенным плащом. И только то место, где мы спали, после темнело и парилось рассеянным жиденьким теплом. И тогда вспоминал, отчего ночью были так близки и обильны звезды, спокоен и колюч воздух и обжигающе прилипчивы стволы ружья подле изголовья. И свежесть пробуждения ошеломляла ясностью покоя, синью теней в падах, безмолвием розоватых озер и бледностью чеканных форм луны. И пухлы инеем были травы. И пес, теряя тепло сна, топча иней на травах, читал ночь. Ночь, которая оставила свои запахи. И эти запахи были новыми, потому что пес задумчиво водил мордой на всю эту тишину. И нетерпеливая небрежность пса, поглощенного заботой доискаться до всех запахов, оставленных ночью, делала его небрежным к моим словам и голоду. И, заглатывая куски промерзшего пеммикана,— как я называл проваренную овсянку с мясом, запасенную впрок и не прокисающую в холодные октябрьские скитания,— пес подолгу вглядывался в стену тростника и осоки, перекаленной осенью в сушильняк, и проступающую четкость озерного берега, заманчивость обманной тишины топей, обмелевших по осени и доступных.

И мы влопыхах собирали пожитки... Пес рвался к озеру. Я боялся свистеть и жестом возвращал его к себе. И глоток водки не был грехом, а возвращал мышцам тепло и подвижность.

И потом мы шли по-настоящему. Я слышал все свои шаги и угадывал тишину.

Я не скупился на плеть, потому что пес горячился и да-

леко уходил, а другого способа удержать не существовало. А важен был каждый метр дистанции. Тут пес должен быть рядом со мной. И первым утки должны услышать меня. Близкий выстрел решал эту охоту — охоту пугливого взлета жирующей птицы. И я должен был быть до предела близким к кромке воды.

Выстрел вспугивал птицу, которая была далеко и не знала точно, откуда грохот. И важно было затаиться, чтобы эти стаи прошли над тобой. И пес по темноватой воде выносил уток, и неестественно красными казались их лапы, а перья выбранно-чистыми, пригнанными. А сам выстрел еще был заметен — бледноватые розовые выплески обозначали концы стволов.

А воздух румянился, и стаи уже пролетали выше. И из мглы вдруг выступали облачка. Очень белые облачка, которые теряли сонливость и тоже трогались в путь. И клинья уток сосредоточенно резали воздух. А воздух уже был румян и над самой землей. И мы начинали большую охоту. Пес и я молились на нашу посадную утку Агашку. И ее страстные позывы даже по осени смущали грудастых селезней. И когда они начинали кружить над Агашкой, а та звала все страстнее, залиvistее, подружки селезней звали их назад в небо. Но стрелять было рановато. И наконец, селезень, увлекая за собой всю стаю, черно накрывал полосу света над камышами и выстрел опрокидывал его в зарю, разлитую по воде, а второй выстрел выбивал из стаи еще птицу. И пес жадно выгребал навстречу опрокинутой птице. Она ворочала крыльями в воде и вытягивала шею. А утка звала селезня и низко раз за разом заходила над водой. И я не стрелял ее, хотя видел ее так близко, что коричневато-рябоватое осеннее перо на грудке можно было различить по перышку. А Агашка заворачивала новые стаи. И как благодарен и нежен был я со своим ружьем...

И все это я вспоминаю сейчас. И эта память прочнее привязывает меня к жизни. Сулит мне радость других встреч.

— Эх, пес, пес... Можно, конечно, дрыхнуть. Это у тебя получается. Дрыхни. А вот обиду копишь зря. Сочтемся... Слушай, пожалуй, не стоит тащиться в деревню? Ну кому там нужны? Я мокр, до нитки мокр. Махнем-ка в лес. Соорудим огонек. Обсушимся, разберемся, как и где тянет утка. До ночки часа три. Обернемся ведь, а? А потемну на утку — ты не прочь, старина?.. Возьмем под-

садных. Агашка у нас исправно зовет. Такую подсадную не сыщешь. Любую стаю завернет или принизит. Чучел набрасаем... Пойдем, местечко приглядим? Ах, вы устали, сударь! Не изволите даже проснуться. А вот на зорьку завтра — это ты понимаешь?..

Я повышаю голос. Пес приоткрывает глаза, равнодушно-сонно смотрит из-под щелочек век.

— Согласен?.. Пошли... Забавно здесь называют чучела — чучалки. Рассадим-ка эти чучалки. И с Агашкой?!

Я встаю. Пес настороженно тарашится.

Я собираю вещи. Пес влаивает, прыжками ходит вокруг.

Отсюда с холма лиственный лес — он пониже елового — как вышит по мрачноватому фону. Пересечь болото — и я там. Это с километр. Пойду лесом вдоль озера.

Ветер покрепче. Это ладно: утка станет жаться к воде.

Стебель козлородника ломок и липковат. На пальцах бледно-желтые лепестки. Давний мой приятель: под Москвой зацветает в первых числах июля. И не брезгует самыми захудалыми дворами.

— Азартны мы с тобой, — говорю я. — Все, как новички. Слушай, а что все-таки слаще? Азарт, наверное, а? Опыт-то, старина, — это все же старость. Пусть даже когда немного лет. Чувствуешь-то иначе. Не согласен?..

Пес оглядывается. Даю отмашку, чтобы держал прямо.

Здесь на болоте о ветре можно лишь догадаться по протяжному гулу. Мы идем вдоль гряды леса над озером.

Сажусь на корточки. Зарываю ладонь в заросли клюквы и вместе с листочками вычесываю ягоды. Угощаю пса. Он не отказывается. Так и едим вперемежку. Пес фыркает и отбегает: сыт.

Мох уступчив и нежен под руками. И мошка не заедает. Лес полон запаха смолы. Горит лицо. И солнце в глазах отчетливее и знойнее изливает лавы своего жара. Я озираюсь на шелест леса, сглаженный расстоянием, на свежесть испарений этих ледниковых озер, влитых в раздолье ветра.

Здесь какой-то шабаш синих коромысел. Скорее всего, затишье дает уверенность их поиску. Впаянно-неподвижно виснут эти большие стрекозы в воздухе, а потом, отдаваясь его течению, внезапно срываются, и уже невозможно проследить их взглядом.

Это моя тишина. Заветная тишина полного согласия с собой.

Я поднимаюсь. И пес, услышав меня, зарыв нос в траву, припадая на больную ногу, кидается навстречу всем запахам.

Я мешаю ему. Я глуп. Я смешон. Я кричу: «Слушай, расскажи об этом!» И то, о чем я прошу его, что называю словом «это» — тот мир, который повсюду со мной. Он в городе, в реве чрезмерных усилий, в уступчивости ласк, в слиянии с ласками, в безбрежности лиц, в святости убеждений, и он есть то, для чего вся эта жизнь...

Пес «челночит». Ветер уводит его вправо. Я поглядываю на плеть и смеюсь. Все же распускать его нельзя. Что за радость тащиться там, где после поиска вот такого бродяги даже кочка скучает от одиночества?.. Я возвращаю пса свистками. Я не отцепляю плети, но грожу его псу. Я наклоняю голову, чтобы спрятать улыбку. Этот пес понимает улыбку. Он лает и бесшабашит тогда без удержу. Но, ей-богу, я бы на его месте тоже наслаждался всеми этими запахами. И какое дело тогда до всех запретов?..

Рокогом приборя надвигается таежный лес. Гуще аромат хвои. Выше лес. И ближе, чернее тени.

И я уже свой в этом шуме. И все деревья мерно клонят по ветру верхушки. И завитки коры опадают на землю. И внизу очень спокойно. Ярусы нижних ветвей слиты в неподвижность.

Берега озера запластованы мхом. Солнце, проблескивая между стволами, вытаптывает по зеркалу искристую тропу. В темной воде очень светлы палые листочки. Метрах в пятнадцати от берега осока и тростник. До чего уютны эти заводи с курчавыми наплывами длинной и путаной водоросли и листочками, мокнущими поверх воды. Этой зеленыю кормится кряква.

Я вдруг чувствую, как тянет мое ружье и тяжелы сапоги. И ноги стерты. Быстро нахожу место для отдыха. В траве чернеет старое кострище, а заросли лещины защищают от озерного ветра. Сваливаю в кучу поклажу. Сношу сушняк. Костер обсушит и отгонит мошку. Оборачиваюсь на плеск. Пес шлепает по воде. Взмученно плывет донная муть. Пес жадно лакает воду.

Запаливаю сушняк. Достаю хлеб, консервы. Ругаю пса. Он отряхивается, брызгами пачкая мне лицо.

Дым пронизывает лес, сине застаивается в елях. Пла-

мя бесцветно и жарко. Пес скребет задней лапой за ухом, позванивая ошейником. Потом ловит зубами травинки. Ни хлеб, ни консервы его не прельщают.

Солнце вразнобой высвечивает стволы деревьев.

Вожу пальцем по срезу пня. Пес сует морду в пальцы.

— Не мешай, вислоухий... Семьдесят восемь, семьдесят девять... девяносто три. Как тебе это нравится? Сколько же можно успеть, если вот так — девяносто три! Нам бы их. А славно здесь: вымороженная свежесть, чистые ветры. Славно же здесь зимой. И на лыжах-то, наверное, не пройдешь. И бело все. Ты только прикинь: лес — множество веток, пней, валежника — и все без движения. Бородатый иней. Сквозные ветры. И снег сорвется с ветки, а по сугробам оспины...

Пес заглядывает мне в глаза. Уныло, со стоном зевает.

— Гуляй, старина. Не держу — гуляй! — Я похлопываю его по холке. — Не хочешь? Давай ко мне, старина. Давай морду. Что, тепло?.. Улыбаешься... — Я трогаю мокро-бугристые брыли. Мну ладонью горячую морду. — Славно ведь вытянуться, а?.. Пьяные у тебя глаза. Коричневые и пьяные. Если тебе скажут, что ты не породный, не верь. Шерсть у тебя коротковата — это факт. Но глаза... Ты заглядывал себе в глаза?.. Вот у тех, что вырождаются, что слишком испорчены, — у них глаза рыжие со светлинкой. Поэтому не слушай знатоков. Знатоки всем поперек глотки. Ты пес что надо... Славно здесь, как славно!.. Да спи ты — это я сушнячка подбросил. Эка ты, брат, привереда. Что ж, мне и не пошевелиться? Сейчас одежды просушим. Но куда ты разлапился — подпалишь шубу... Вот так, старина, а то ведь нет другой... Не любишь тушонку? Врешь... Вот отдохнешь, будешь хвостом крутить. Нет, старина, я не могу так натошак. Вот в банке чаек согреем. А тепло здесь, тепло... Славный у нас денек, старина. Все дни славные. Знаешь, это здорово слышать, как вот рыжие плясуны перепаливают хворост. И подкидывать его приятно. И небо вот там, за елями, голубое. Нам бы его подольше видеть. А как тебе облака? Большие, белые и совсем бесшумные. Задвигают небо, и много их, и тяжелые, а ни звука!.. А как ветерок треплет траву. Все поля обомнет ветер. Ты зря воображаешь, будто один ты и знаешь толк во всех этих штуках... А как зыбь рвет облака и каждый предмет в зеркале воды чет-

че самого острого взгляда — это ты берешь в счет? А какие метелки у трав? А молчать и все это видеть?.. Ну что ж ты прав, помолчим. Молчать ведь славно...

Лежать на горбато-перекривленных досках неудобно, но та особенная тяжесть тела, когда даже пошевелить рукой неумоготу, делает блаженным миг, когда я вытягиваюсь, наконец, во весь рост. Сено, толсто постланное, опав, сразу дает почувствовать всю твердость пола...

По рассказам, в избе с этим вот сеновалом жил бравый артиллерийский унтер, который из самого Могилева привез весть о дележе господской земли, но в Петрограде еще сидел Керенский, а в волости, уезде и губернии новая власть держалась старых порядков, хотя тоже говорилось много новых слов. И этот унтер стал потом председателем колхоза. В сорок пятом году он раньше других вернулся по демобилизации. А через восемь месяцев этот человек, который не имел ни одного ранения — счастливец, по общему мнению, умер...

Я пил чай из самовара, принадлежащего семейству бравого унтера. На последней войне он был в армейской разведке. А жена его — а так умеют любить по деревням и селам России — умерла за ним. И этот самовар достался сестре бравого солдата, ибо все в рассказах этой ветхой старушонки, прежде, должно быть, статной и сильной женщины, замыкалось на одном слове — солдат. И я впервые понял тогда, что такое солдат для всей этой земли, которую по рождению привычно называю Россией. И на фотографиях, что иконно висели на стене, я разглядывал этого саженого в плечах усатого унтера, который из места царской ставки, с молебней, от которых все казалось святым и праведным, принес в эту деревеньку крамолу неподчинения. И памятью этого унтера, его рослой улыбочивой жены, впрягавшейся вместе с другими бабами в плуг, чтобы взрастить хлеб и отдать его разоренной и выжженной стране, памятью о трех сыновьях, убитых один за другим в августе сорок первого года, остались лишь фотография и самовар — этот двухведерный великан-самовар, на совесть надраенный и, однако же, тронутый зеленцой по вязи кокетливых ручек. И еще можно прочесть надпись под двуглавым орлом. И жар от его меди доходил до всех уголков избы. Старушка рассказывала, как кроваво кашлял ее брат. И как врач сказал ей по секрету, что от этой болезни нет лечения и

требовал лечь в больницу. А брат, потев даже в студеные дни, говорил, что больницей тут не поможешь. А уж, даст бог, родной воздух и выходит. И рассказывал, как в мартовский лед на реке долго выгребал на чужую сторону. И потом, на этой чужой стороне, обмерзая льдом, вылеживал «языка». И как потом тащил его через воду назад. А чтоб не умереть от холода, пил водку сам и давал ее «языку». И как снова и снова ходил уже за другие реки, озера, болота, потому что никто не мог надежнее его выкрасть «языка». Болезнь за восемь месяцев мирной жизни превратила его в скелет...

И теперь этот ничейный сарай был латан лишь ночью. Крыша прохудилась и сквозь кровлю и рвань обветшалой дранки я вижу небо. Я выключаю фонарик, и тишина поначалу кажется лохматой и навалистой. Сарай, небо, мои руки, высвобожденные из-под плаща,— неразличимы.

Я лежу долго, и звезды выступают за крышей. Погода я уже угадываю в их немощном отблеске балки, стены, жерди, гирлянды веников.

Я лежу и смотрю на небо, глубокое своей вымороженностью.

В чердачном оконце появляется пара зеленоватых глаз. Это сова. На сеновале она, наверное, промышляет мышами, а теперь я здесь для нее непонятен и ненужен. Эта пара глаз всякий раз появляется так бесшумно, что пес ни разу не уловил взмахов крыльев. Круглы и неподвижны глаза совы. Она представляется бесплотной, до того осторожна и беззвучно терпелива ее засидка в оконце. Она порождение ночи и бесшумна, как ночь...

Едка и щекотлива труха. И под острой крышей развесисты паутины. Днем, в затхлости зноя, их стерегут проворные пауки с белыми брюшками...

Неподвижны и пытливы глаза совы. Она слышит мое дыхание, сопенье пса. Но чердак писклив и суетлив мышами. Я нарочно прокашливаюсь, и чернота смывает огоньки глаз.

Мыши буравят труху. И в перебранках их писк пронзителен и тороплив. Мыши пробуют достать мешок. Срываясь, падают у меня в ногах. И тотчас возобновляется возня и брань. Мешок подвешен высоко и нет в нем ничего, кроме... запахов. Все спрятано от мышей в жесть коробок. И все эти коробки совсем в другой стороне сарая.

Я поворачиваюсь, неправдоподобно громко катится пластмассовый стаканчик. В сарае становится очень тихо. Впрочем, возня зверьков часа через полтора стихает сама по себе...

На сквозняке поскребывают листья веников. Щели кровли опалают хвосты звезд. И звезды, если лежать смиренно и держать их в этих щелях, все очень разные. Здесь и белые, и синевато-белые, и налитые багровым холодом, и каждая дышит. Я вижу эти переливы множества звезд. Звезды вкраплены раздельно и вьедливо.

Пыль после моего укладывания поудобнее оседает, и воздух опять студенно промыт. Слабеют запахи сена, неошкуренных перекрытий и веников, бог весть когда развешанных и обросших пылью. Днем я тронул один из них. Пыль густо ударила терпкой сушью дубовых листьев...

Поначалу я дрожу и тщательно подтыкаю под себя плащ. Затем согреваюсь и лежу неподвижно, сберегая тепло. Я измучен, но спать не могу.

Это распятие ночи, немота и даже не эта немота, а какая-то значительность покоя, в котором осознаешь силу, независимость силы, верность силы, величие и несокрушимость созидания заставляет меня цепенеть и испытывать наплывы счастья. И я уже по-мальчишески глуп надеждой в то, что мир — мой! Он для меня! И я его никогда не потеряю! Я бесконечен и бессмертен!

Я придремываю, и в забытьи звезды не гаснут у меня в памяти. Ночь в блестках бесконечных звезд блуждает в сознании с пустотами забытья, обрывками видений. Наконец, бред усталости смывает полная нечувствительность сна.

Я просыпаюсь. Я вижу угольно-черное небо и новые звезды. Сон сдвинул небо, и уже новые россыпи проглядывают за щелями. И колодезной тишиной скован лес за дорогой и поля по другую сторону дороги. Кора отшелушилась с перекрытий, и смутно бела гладь окостеневшего дерева. Задыхаясь, мускулясь, напирает на меня лапами пес.

Я засыпаю, и во сне огненные миры звезд продолжают странствовать в моем сознании. Покоем, замороженностью дышит эта ночь. Звезды осыпают небо от горизонта до горизонта.

В щели течет северный ветер. И отчужденность забытья не отнимает у меня ощущение этого неба, звезд

и благодатности покоя. Воздух морозен и вязок. Вязок ледящей студеностью озер, лесов и высоких звезд. Я не теряю ощущения неба. И родства с покоем. Я омыт этим воздухом. Я плыву в чистоте и тяжести этого ровного потока. Воздух невесом, воздух беспечен и доступен, а этот... этот студено осязаем и вязок. И я весь уже опален ледяным зноем звезд...

Пес, ища тепла, наваливается. Бок его жарок и беспокойен дыханием. Я подтыкаю плащ. Пес вскакивает, вертится волчком и, рухнув, вжимается в меня так плотно, что оказывается под плащом. И я, погружаясь в новый сон, слышу торопливость дыхания пса, его тугий бок и бугристость досок.

Мороз обозначает звезды, и они, крупные, яркие, застревают в щелях. И, приходя в себя, я смотрю на них. И мне кажется, я заглядываю в чистое лицо жизни...

А к утру звезды меркнут, хотя ночь еще в силе. Едва уловимая синь — еще почти непроглядная — чернит в расплывчатой зыбкости воздуха провалисто-неопределенную падь за чердачным настилом, за которой избяной сруб. Изба догнивает, и пол в ней в осколках кирпича, а единственная целая стена печи в трещинах и еще марка побелкой. А на стенах трепаные репродукции из «Огонька» и дорожный плакат «Будь внимательным! Переходи улицу в строго указанных местах!».

Я заглядываю на часы, чтобы не ошибиться с охотой и начать поиск тогда, когда трава еще не подсохла и памятьлива на следы. И наброды выводков пахучи, а синь еще стережет птицу. И они еще не боятся мест, открытых соколу, лисе или соболю. И настоянно долга эта синь...

Жаркое дыхание утробы вдруг обдаёт меня. Пес мажет меня горячим языком и влаивает. И тогда я угадываю очертания брылястой морды и лоскутно-безвольных ушей. Я посмеиваюсь этой неуклюжей лести, потому что оба мы уже там, на дымчато-сонных болотах и овсяниках.

Привычно наугад собираю снаряжение. Пес гремит по настилу лапами. И этот грохот bestолков и нетерпелив. На ощупь спускаюсь по лестнице. Иду по сенцам к двери. И переступив порог — порог этот высок врубленным бокастым бревном, — внезапно теряю себя. Эта ночь, уже заметно разжиженная синью, так морозно свежа, так одиноко просторна и глубока рассветом!

А пес, фыркая, опять познает все новое, что принесла

ночь. И уже невозможно отвлечь его. И когда, наконец, набрав шаг, начинаю трезво взвешивать шансы охоты, все равно поражаюсь ночи, вкрадчивой силе утра, уверенности тишины, слабости всех старых и новых звезд, движению этих звезд. И в бледной путанице звезд привычно узнаю Марс, ковш Большой Медведицы.

И уже тишина и мгла принимают меня. И память начинает метить этот мир своими словами. И эти слова — пустые символы понятий — сочны и преданы чувствам. И, щелкнув, стволы принимают первые патроны...

184

Поречьев позвонил мне утром. После турне по Франции и Финляндии он отказался работать со мной. С тех пор я тренировался самостоятельно.

Мы встретимся в кафе — на открытой террасе последнего этажа гостиницы «Москва». С того дня, когда он сказал, что уходит работать в другой клуб, мы не виделись. Я не сомневаюсь, что он избегал меня.

Я приехал раньше и жду в коридоре, как условились.

Поречьев выходит из лифта и подает мне руку, будто мы расстались вчера. Он смотрит снизу, широкоплечий, сутуловатый, в глазах все то же наигранное веселье, так хорошо знакомое мне.

Я вдруг чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Я испытываю нежность к этому человеку. Мне хочется сказать ему что-то доброе и очень родное.

Поречьев шутливо ощупывает мои руки, плечи, и мне вдруг кажется, что мы за кулисами спортивного зала и меня сейчас вызовут на помост. Его пальцы перебирают крепления мышц, узлы травм и перетренированных мышц.

— Недурны, — говорит Поречьев. — А «дельту» когда потянул? — Он надавливает на поясok дельтовидной мышцы. Полтора года назад я скверно разогрелся к тренировке и повредил передний пучок дельтовидной мышцы. Поречьев не ждет ответа.

— «Трапеции» тоже «закачены», — говорит он. — Злоупотребляешь жимами из-за головы. Смотри, потеряешь срыв с груди. Как съездил в Париж, светлейший?

— Всего несколько дней. Да, я видел Торнтонa! Он работает на Рэнделла. Я был, когда у него брали интервью.

— Что теперь Торнтон? После Праги тебя иначе и не называют, как чемпион чемпионов.

На террасе нас окружают шум города, огни и сырой тяжелый воздух. Прошел дождь. Каменный пол темнеет влагой, но под зонтом за столом сухо. Огни города яркие и чистые. Автомобили густым потоком изливаются вокруг здания гостиницы. За площадью я вижу приплюснутую коробку Манежа, корпуса Библиотеки имени Ленина, а слева — фонари в Александровском парке, стены и башни Кремля. Звезды башен скрывает низкий дождевой туман. У Кутафьей башни чернеет толпа. Очевидно, в Кремлевском театре сегодня спектакль.

— Не собираешься жениться?— спрашивает Поречьев.

— Нет.

— Самый сильный холостяк верен себе.

Поглядываю на Поречьева. Жду, когда заговорит о том, ради чего пригласил. Он в новом костюме, галстук зажимает массивная янтарная брошь — мой подарок после чемпионата мира в Чикаго. Тогда я выстоял в тяжелом поединке против Харкинса. Я знаю привычки Поречьева. Новые вещи, как и эту брошь, он обычно надевает лишь в исключительных случаях.

Официант принимает заказ. Поречьев просит бутылку сухого венгерского вина. Это тоже он позволяет себе в исключительных случаях.

Поречьев кивает на соседний стол:

— Шведы, туристы... А помнишь, как выступали в Стокгольме? Тогда ты был в большом порядке.

Южный ветер смахивает с зонтов теплые дождевые капли. Нынешняя осень необычайно долгая и мягкая. Окраины города завалены желтой листвой.

«А утрами небо ясное и голубое,— вспоминаю я.— И крыши, и окна, и мостовые отпотевают росой. А трава на газонах в косом утреннем освещении белая-белая...»

— Жарков тебя не оставляет в покое,— говорит Поречьев.

— Такой номер, какой он проделал с Сашкой Камневым, со мной не выйдет. Пока я сильнее других, не уступлю свое место в сборной. Пусть выигрывают на помосте.

Поречьев расспрашивает меня о Мэгсоне, Пирсоне, Альварадо, Ложье, Зоммере и тренере Зоммера Фихте. Потом расспрашивает о тренировках нашей сборной.

Я смолкаю, когда официант начинает расставлять тарелки.

— Это правда, что погиб Цорн?— спрашивает Поречьев.

— Да.

— Кто бы мог подумать?

— И Хенриксона нет в живых.

— Да ты что?

— У меня есть документальные подтверждения.

Поречьев долго молчит.

— Вы пригласили меня для какого-то дела,— говорю я.— Я слушаю.

— Как бы это сформулировать поточнее...

— А вы не мучайтесь формулировками, говорите.

— В общем, тебе пора уходить, Сергей. Ты ведь случайно не проиграл в Праге Зоммеру. И ведь когда на тебя обрушился Жарков в «Спортивных известиях», он же не так был неправ. Я думал, ты уйдешь. Это легко было сделать после чемпионата. На что рассчитываешь? Зоммер на двенадцать лет моложе тебя. Уйди с честью. Ты единственный, кто никогда не проигрывал на большом помосте. Какая слава! Нет в мире атлета с таким прошлым! Допустим, Зоммера ты сломаешь. А Пирсон, Альвараво, Ложье? Ведь всех нужно накормить! Ребята в самом расцвете. От них так просто не отделаешься. Сила нужна, новая сила! Метод тренировки по принципу экстремальных факторов — этот твой «экстрем» — дал прирост силы, но не тот, на который мы рассчитывали. Очевидно, издержки опыта отразились на здоровье. Эффект от тренировок не тот. Поначалу ты неплохо оторвался от всех. На чемпионате в Каире никто не мог конкурировать с тобой. Ты так много и неожиданно прибавил в результатах. За какие-то восемнадцать недель после турне. А потом? Они почти достали тебя. В ответ на твою силу они продолжали надевать свой вес. Теперь все они на двадцать-тридцать килограммов тяжелее тебя. Для жима и толчкового движения это очень много значит. Мало того, они формируют силу гораздо более сильными препаратами, чем препарат «зэт». Для этого у них теперь богатый выбор. При гораздо меньшей тренировке, чем твоя, это дает им постоянное увеличение силы. Получается так, будто ты бежишь, а они едут на автомобиле, но дистанция у вас одна и та же. И кроме того, они намного моложе. Рывок ты не можешь тренировать — ты теряешь скоростные качества из-за воз-

раста. В этом движении они вовсе сравнялись с тобой. А ты же измотан всеми своими экспериментами. Нет, сейчас ты выглядишь прекрасно, но усталости и потрясения в тебе. Они все время ограничивают рост силы. А на подходе уже новые ребята: ван дер Воорт, Руфенахт. И все время будут новые. Уходи! Одумайся, в чем твой шанс? Почему упорствуешь?

— На случайность уж я, конечно, не полагаюсь.

— Значит, будешь выступать. Можешь не объяснять. Убеждать ты умеешь. Ладно. Выпьешь со мной?

— Нет.

— Как ты говорил об этом?— Поречьев щелкает по бутылке пальцем.

— Это не я. Это говорил юнкеру Александрову капитан Фофанов по прозвищу Дрозд из романа Куприна «Юнкера»: пьют от скуки паршивые неудачники, а перед каждым из нас мир впереди, будь весел и пьян без вина.

— Сегодня я позволю себе выпить рюмку-другую, однако не отношу себя к паршивым неудачникам... А ты по-прежнему полагаешь, что у тебя впереди целый мир? Кстати, сколько лет ван дер Воорту?

— Двадцать три.

— А Руфенахту?

— Двадцать.

— Но ты не ответил еще на первый вопрос.

— У меня целый мир впереди, так?.. Да, я буду выступать. Я считаю, что далеко не исчерпал своих возможностей. А вот сколько — покажет будущее. И при всем том я не собираюсь зависеть от капризов обстоятельств. Когда я почувствую, что выработался, тогда поставлю точку, не раньше. Разумеется, жалким я тоже не собираюсь быть. Победа любой ценой тоже не устраивает. Я не одержим манией величия.

— Пойми правильно. Сейчас я незаинтересованная сторона. У меня не может сейчас быть никаких выгод в зависимости от твоего решения. Пойми. Еще раз все взвесь. Не ставь себя в такое положение, когда выхода нет и ты обязан выступать. Подумай, сколько раз ты перетренировался! Сколько же опытов перенес! Твой возраст надо увеличить за счет всех этих лет испытаний. И после ни одного из них ты не привел себя в порядок, не сделал передышку. Борьба требовала непрерывности работы. Ты ни разу не выпал из круговорота тренировок. Да, этого нельзя позволять. Пока выступаешь, этого нельзя се-

бе позволить. Большой спорт не богадельня — это ясно каждому, кто здесь. Да, силу ты добывал, но какой ценой! Ты представляешь, что за борьба ждет тебя? Ты ведь только будешь слабеть с годами. Годы не будут приносить тебе силы. Молодость позади. И даже немного осталось этих зрелых лет, годных для большого спорта. Я не запугиваю тебя. Прежде чем сказать «нет», ты должен представлять, что это такое. Ты уверен, что тебя хватит на эту жизнь? Ее пресс будет давить только сильнее. Гораздо сильнее, чем до сих пор. На что рассчитываешь? Никто скидок делать не станет. Скидок не будет вообще. Раньше тебе их давала молодость. Теперь не будет вообще... Допустим, выйдет по-твоему. Что тебе еще две-три победы? Что изменят?.. Впереди лишь новые нагрузки, новая гонка, новые соперники. Всегда новые соперники... Оставь немного жизни для себя. С такой славой это будет совсем не скучно. Вспомни турне? Где гарантия, что подобное не повторится. А если повторится и в более серьезной форме? Выползать будет очень сложно. Я знаю, что было тогда. Да, да... Поэтому я обязан тебе все сказать. Впереди только поединки и тренировки на пределах возможного! В большом спорте никто никого не ждет, не прощает промахов, не возвращает потерянного и считаются только с сильным.

— Не надо столько слов, Сергей Владимирович. Это не изменит моего решения.

— Тогда предложение! Я готов тебе помочь. Тебя ждет много тяжелого, неожиданного и несправедливого. Такова спортивная жизнь. Я не хочу, чтобы ты оставался один. Как ты на это помотришь?

— А знаете, что вас ждет?

Поречьев смеется:

— Могу представить.

— Быть тренером того, кто проиграет после многих лет побед, не велико счастье. Вам припишут все несуществующие ошибки.

— Проиграть? Это мы еще поглядим.

Теперь смеюсь я и смеюсь долго. Поречьев хлопает меня по ладони — его любимый жест:

— Так согласен?

— Да.— И я вспоминаю Ложье с его точно таким же жестом.

— Все сначала?

— Вот именно.

Последние годы я работаю над переводами с китайского — роман почти готов к публикации, а сборник повестей закончен лишь наполовину.

Я понимаю, что в качестве литературного переводчика начинаю свою жизнь от нуля. Я понимаю, что овладение словом — процесс бесконечный и очень сложный. В литературе я ничего не умею и ничего не значу. И для нее ничего не значат все мои победы и моя сила. Я вступаю в мир иных измерений и качеств. Мир, в котором вся моя огромная сила совершенно бесплодна. Все годы моей борьбы не нужны этой жизни, пусты и бесполезны. Я ничего не умею. Но и овладение техническими приемами еще не литература, а только обыкновенная русская грамотность. Надо уметь очистить свое видение мира от всех иных. Надо уметь подчинить свой темперамент законам искусства. Надо начинать все сначала. Я слышkom мало знаю.

И в литературе переводов, как и в спорте, через практику я осваиваю искусство владения словом. Практикой постигаю ошибки, практикой нащупываю дорогу. А это значит опять время. Мне нужно очень много времени. А кто даст его для учения?

Я работаю профессионально над своими рукописями. Я обрабатываю этот камень слов, сумасшедше твердую породу слов. Я дохожу до изнурения, но я должен учиться. У меня нет времени. Это отнимает энергию, которая прежде безраздельно принадлежала спорту. Мой тренер лишь отчасти прав. Самого главного он не знает: всю энергию я отдаю рукописям, учению. Я знаю, как далеко мне до настоящих книг. Как всегда мне будет далеко до настоящих книг!

Именно поэтому «экстрем» не дал расчетного прироста силы. Точнее, этот прирост был, но его съело мое новое увлечение. Без этой «экстремной» прибавки я, наверное, давно бы проиграл.

Я ищу новые формулы силы. Я понимаю, что рискую, но у меня нет другого выхода. «Служить двум богам нельзя», — говорили римляне. Я пытаюсь служить своим двум божествам: литературе и большому спорту. Это новое испытание. Возраст ограничивает мои физические возможности. Я не смею терять ни одного дня.

Каждое утро сквозь дурман усталости тренировок я пробиваюсь к образам своих героев. И погода я снова опьянен жизнью. Через страницы рукописей, удары по клавишам пишущей машинки жизнь находит меня. Никогда я не живу столь полно, как в эти часы.

Для меня литература — совершенно точная наука. В ней наиболее ценны кратчайшие решения, художественно и эмоционально кратчайшие решения. И я обязан решить эту задачу, подчиняясь темпераменту, своему видению мира и воспитанию.

186

Я вынужден сбрасывать со счетов скорость и гибкость — этого меня лишает возраст. Как никогда мой результат начинает зависеть лишь от силы. Но я не могу наращивать силу более мощными тренировками. Обращаться же к «экстремному» методу тренировки я не решаюсь.

С возрастом организм хуже справляется с большими объемами нагрузок и повышенной интенсивностью. И вообще ближе к сорока годам время «восстановления» значительно удлиняется.

Без учета всех этих обстоятельств моя тренировка будет обречена на неудачи. Потеря силы станет неизбежной. Кроме того, с возрастом нежелательны и сколь-нибудь длительные перерывы для отдыха.

И все же шанс у меня есть.

Я подвергнул ревизии все принципы тренировки. Я вынужден был сделать это. К основным выводам я смог прийти теоретически. Тем более эти выводы уже сложились у меня еще во время турне по Франции и Финляндии.

Уже с полгода я тренируюсь по новому методу. Я поставил организм в условия, оптимальные для моего возраста, и мышечная ткань отозвалась энергичным увеличением своего количества и качества.

Правда, далеко не все столь просто. Объемы нагрузок я вынужден определять на практике. Я должен ошибаться, чтобы нащупать правильный путь. И у меня нет времени для отдыха. Все физические и нервные последствия этих ошибок я должен перерабатывать в тренировках.

Я овладеваю новыми приемами, порываю со всем тем, к чему привык. Я расстаюсь со всем, что мешает движе-

нию, как бы мучительно это ни было. Движение, непрерывность движения — я подчиняюсь этому великому закону жизни. Я по-прежнему считаю, что впереди у меня мир. Великий ритм силы подчиняет мою жизнь.

Я умею на себя положиться, могу положиться; все перекладываю на свою волю и взнуздываю ее, взнуздываю! Борьба и цель есть существо и форма жизни. Выше риска и выше борьбы умение вести себя по жару обыденных дней, умение найти себя и не потерять в исходе обыденных дней. Я исключаю равновесие для создающей жизни. Я всегда нарушаю равновесие. Я неизменный и всегда другой. Я неизменен в своих целях, но я другой.

187

«Гибель королевы экрана.

В тридцатые и сороковые годы джазовый оркестр Бена Поллака был известен каждому в Соединенных Штатах Америки. Поллак был блестящим ударником и сформировал замечательный оркестр. Но когда на смену свингу пришли новые ритмы, Поллак был забыт. Поллак не выдержал испытаний и повесился. До недавнего времени Бен Поллак закрывал собой список знаменитых самоубийц. Его погубили те же причины, которые в последние годы привели к самоубийству таких голливудских звезд, как Мэрилин Монро и Джуди Гарланд. Теперь среди этих имен и имя несравненной Ингрид Сенф. Она застрелилась в понедельник около полуночи в своем роскошном номере отеля «Империял». Слава только пришла к ней...»

Нет Ингрид...

За неделю до этой заметки в газете я получил от Ингрид письмо. Она писала, что ей нужно обязательно встретиться со мной и как только покончит с делами, она вылетит в Москву. Это было единственное письмо от нее после нашей встречи в Хельсинки.

На мое письмо тогда сразу после встречи она не ответила. Письмо должен был передать ей Осборн...

Проспект забирается вверх к Ленинским горам. Там впереди он упирается в небо. Слева за деревьями главный корпус Московского университета.

Дорожки по газонам утоптаны. На липах жухлая прошлогодняя листва. Под старым снегом осели лапы елей. Прохожие обгоняют меня. Звучно похрустывает ледок. Крик вороны тягучий, перебиваемый размеренным горловым перестукиванием, таким же, как у желны. Наст скрепляет сугробы. Снег в рытвинах холодный, голубоватый.

Там, где перед сквером с фонтанами прерывается аллея, я поворачиваю направо и вижу желтенькие маковки Софийского собора. Небо над городом — узенькие белые облака, вкрапленные в бирюзу. Город придвигается ко мне, заполняет пространство между деревьями. Южный ветерок смыл дымку. Город близок и ясен. Очерчено каждое оконце.

Москва-река — снежная лента между серым камнем набережных. Справа по мосту катят крохотные автомобили. Тень достает противоположный берег верхушками старых лип.

Слева от смотровой площадки оградка кирпичной кладки. Столбы побелены. Металлическая решетка замазана зеленой краской. На столбах холмики снега. Раскрашенные святые смотрят на меня с церковной стены.

Не слышу голосов, шума экскурсионных автобусов. Вижу лишь город. Этот огромный город. Это чистое солнце и этот размах неба.

На центральных башенных часах университета полдень. Я снова здесь, чтобы увидеть город. Солнце дырявит снег на елях. За чугунной решеткой — корпуса обсерватории, справа — асфальт дороги, черный, закиданный тяжелыми опилками снега. На газонах под бледной поро-

шей синеет старый наст. Весь мир делят тени. Солнце вязнет в тенях.

Снег под деревьями испещрен тенями. Над снегом тонкие красные ветви. Костер красных ветвей. В снежных провалах темная мокреть. Воздух пахнет талым снегом. И мне кажется, что вкус у жизни — это вкус воздуха, напоенного запахом талого снега.

Не слышу грохота города. Не вижу заводских дымов. Бесконечный город передо мной. Солнце вздрагивает в такт с моим сердцем.

190

Ветер и снег забелили город. Улицы в молочных сумерках. Ветер раздувает желто-грязные плешивины на тротуарах. Автомобили буксуют, долго разъезжаются из-под светофоров.

Аллею не узнать — нижние лапы елей утонули в сугробах. Воздух шуршит, роится снегом. Иду по тропинке. Снег тает на губах, щеках, ресницах.

Бело и безмолвно на пересечении улицы Лебедева с Университетским проспектом. Черно мерцает наледь шоссе. Потом вижу размытые контуры парка над Москварекой, белую мглу реки, неверные очертания стадиона. Но города нет. Ветер туже и туже натягивает шнуры снега. Дымится земля...

191

За моими шагами глохнет перекресток. Солнце нагревает спину. Тротуар обледенело скользок. Моя тень, покачиваясь, размеренно смещается вперед.

В западном ветере свежесте утреннего мороза. Небо мелкое, неглубокое, бледной голубизны. Шеренги молодых лип уводят аллею в небо. Медью солнца вычеканены кора и ветви в этот час. Сугробы, подопрев, осели. Темны и пористы кучи снега. Слева за беспокойной вязью березовых ветвей университет.

Ловлю себя на том, что шагаю быстрее. Там за аллеей лежбище солнца, обилие незамутненного солнца,— я почти верю в это.

Льнет к снегам ветер, осторожно перебирает ветки кустарников.

Фасад университета запал в тень. И переходы этих

тений резкие, четкие, а сами тени хрупкие, серо-голубые. Солнце выхватило из тени полосу красного камня под крышей и основаниями башен. Ярки на солнце белые лужайки газонов, навощенные краской тарелки автомобильных знаков и синюшно-бледные плафоны фонарей.

Проглядывают из мглы розоватые очертания города. Пустынно Воробьевское шоссе. Крошится ледок под ногами.

Завис в дымке купол звонницы Новодевичьего монастыря. Тускл гранит ограждения смотровой площадки. Обжигает ветер. Москва в голубоватой дымке, уже совсем невидимая за линией Садового кольца. Белые дымы ТЭЦ ложатся на эту дымку.

Вязкостью и жаром созревает солнце.

192

Искрятся под карнизами сосульки. Вспыхивают отраженным солнцем окна. Холодно отливает в тенях снег. У стоящих автомобилей, парясь, скапывает с баллонов вода.

Снова выхожу на свою березовую аллею. В чистоте неба стынет каждая ветка. Дорожка из вытаявшего асфальта змеится седоватыми прядями.

Солнце истекает в небо — в голубое небо, размытое по горизонту зеленоватой бирюзой. Едва ощутим восточный ветерок.

Снег заставляет жмуриться: неисчислимые множества солнц в этом снегу. Торжество всех солнц.

По краям неба белые облачка. Смугловато коричневы молодые побеги лип. Под корой оживающая плоть. Солнечный жар оседает в этой плоти.

Я спешу на свидание с городом. С огромным солнцем, которое пожаловало в город. Боюсь пропустить каждый миг. Спугнуть каждый миг. Заворожено бреду по аллее. Долгая, долгая аллея в небо...

Липы, почти смыкаясь над тротуаром, оставляют открытой полоску неба. Аллея взбирается в небо, растворяется в небе.

Дорожка оторочена голубоватыми бликами. Посвистывают синицы. Смотрю на деревья. Угадываю жизнь в деревьях.

За скрещением ветвей деловитая скупость контуров университета. Солнце одарило его шпили блеском.

С улицы Лебедева я вижу университет незаслоненным — рисованно-строгий, дымчатый в своих тенях. Расточительно солнце. Прозрачен воздух. Причудливы сиреневые тени под белизной берез.

Мерцают куполки голубой церкви возле смотровой площадки. Снег сполз с ее скатов, и теперь они густо сиенеют в небе.

Святые на стенах голубой церковки протягивают лиловые руки навстречу живой жизни. На стенах церковки и колокольни тени деревьев. Изменчив нежный узор. Ветер отдувает веревки, привязанные к языкам колоколов. Подтаивают снежные наносы на кирпичных столбах.

Иду вдоль сквера, но Москву не вижу. Пепельная завеса прячет город. Лес справа — красновато-бурая масса ветвей и темных стволов.

Выхожу на смотровую площадку. Заводские дымы клубятся в грязноватой бирюзе неба.

Смотровая площадка без снега, сухая, серая. Красноват на солнце гранит перил.

Дымка до Садового кольца нежно-голубая, почти синяя, за Садовым кольцом — плотная, бурая. Но и за дымкой город светится розово и его режут глубокие тени.

Эта голубоватая дымка смешала рощицы возле лужниковского стадиона в расплывчатые пятна. Затяжной скат к Москва-реке исхлестан тропинками. Ветер холодит щеки. Жадно приглядываюсь к тому, что так часто вижу и что всякий раз не узнаю.

Оглядываюсь на университет — окон в тени не видно, ночные сумерки по всей стене, обращенной к городу.

Солнце нависает над городом.

1972—1975 гг.

Юрий Петрович Власов
СОЛЕННЫЕ РАДОСТИ

Редактор **Л. П. Орлова**
Художник **Е. В. Бекетов**
Художественный редактор **Е. Ф. Николаева**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректоры **Т. Б. Лысенко, М. Е. Барабанова,**
Т. В. Новикова и М. С. Никитина

Сдано в набор 7/VI-76 г. Подп. к печати 20/X-76 г.
Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 11,0. Усл. печ.
л. 18,48. Уч.-изд. л. 19,28. Изд. инд. ОИ-67. А07164.
Тираж 50.000 экз. Цена 78 коп. Бум. № 1 типогр.
Заказ № 1268.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли, г. Электросталь Московской
области, ул. им. Тевосяна, 25,

78 коп.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»